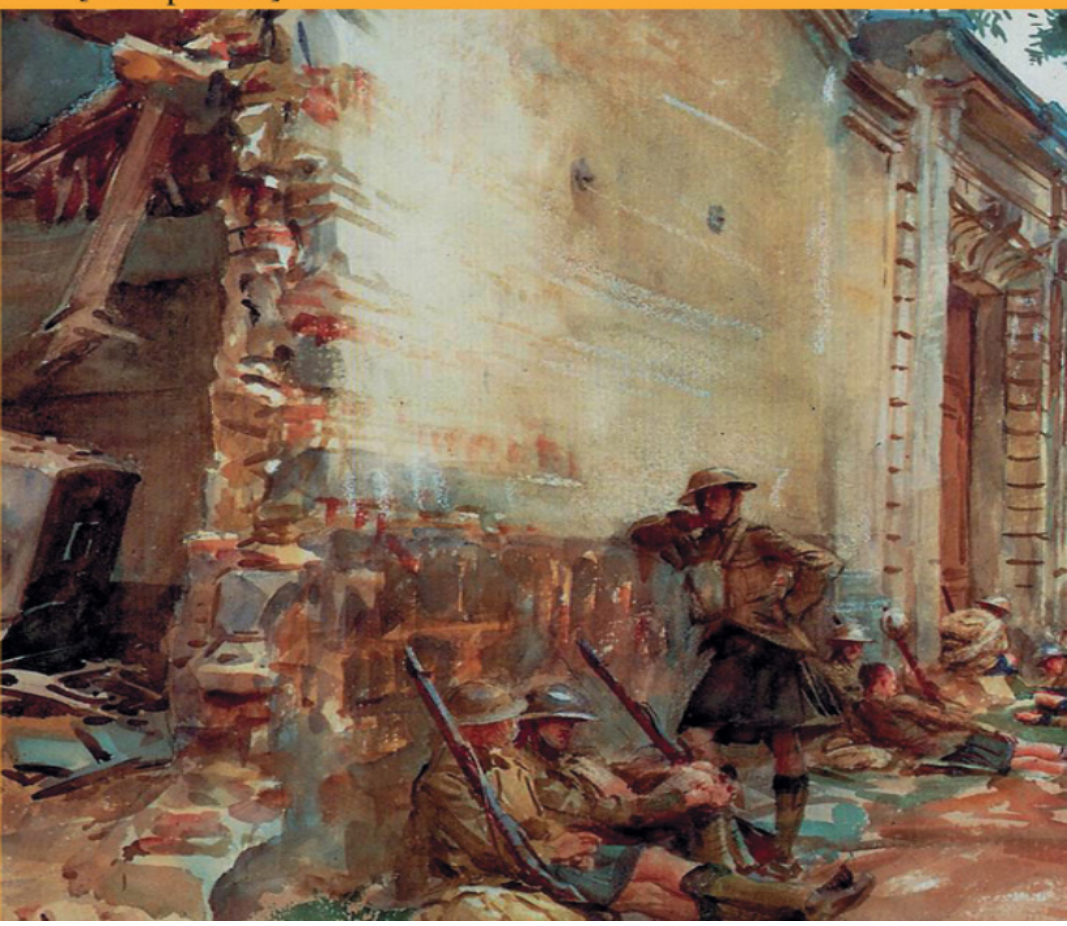
Джордж Оруэлл

XX век
The BEST

Памяти Каталонии
Эссе

[сборник]



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Документальная повесть «Памяти Каталонии» – впервые на русском языке без сокращений!

Гражданская война в Испании – глазами очевидца и участника боевых действий. Война во всей ее неприглядности, со всеми противоречиями, играми и ложью тех, кто пытался на ней нажиться, и отчаянной самоотверженностью тех, кто верил в то, за что сражался… Книга горькая, откровенная и честная. И еще – очень «неудобная» для многих политиков, а потому – прежде выходившая с серьезными купюрами.

В сборник также включены эссе Джорджа Оруэлла – откровенные, личные, острые, парадоксальные. До сих пор они вызывают множество споров и дискуссий, настолько злободневны вопросы, которые поднимает в них автор.

- Джордж Оруэлл
  -
  - Памяти Каталонии
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
    - Глава 8
    - Глава 9
    - Глава 10
    - Глава 11
    - Глава 12
    - Глава 13
    - Глава 14
  - Эссе
    - Убийство слона[64]
    - Воспоминания о работе в книжном магазине
    - Кое-что из испанских секретов[76]
    - Не считая черных[80]
    - Во чреве кита[81]
      - I
      - II
      - III
    - Моя страна, правая она или левая[89]

- Мысли в пути[92]
- Вспоминая войну в Испании[93]
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
- Антисемитизм в Британии[96]
- Размышления о Ганди[98]

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32

- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76

- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99

Джордж Оруэлл
Памяти Каталонии. Эссе

George Orwell
HOMAGE TO CATALONIA
ESSAYS

© George Orwell, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1942, 1945, 1949
© Перевод. В. И. Бернацкая, 2016
© Перевод. И. Я. Доронина, 2016
© Перевод. В. П. Голышев, 2010
© Перевод. А. М. Зверев, наследники, 2010
© Перевод. А. Ю. Кабалкин, 2010
© Перевод. А. А. Файнгар, наследники, 2010
© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

Памяти Каталонии

Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе
Не сделаться подобным ему;
Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал
Мудрецом в глазах своих.

Притч. 26: 4–5

Глава 1

В Барселоне, за день до записи в ополчение, я встретил в Ленинских казармах одного итальянца, бойца ополчения, он стоял у офицерского планшетного стола.

Это был молодой человек лет двадцати пяти – двадцати шести, крепкого сложения, широкоплечий и рыжеволосый. Кожаную кепку он лихо заломил набекрень. Молодой человек стоял ко мне в профиль и, уткнувшись подбородком в грудь, взирал с озабоченным видом на карту, развернутую одним из офицеров на столе. Что-то в его лице глубоко тронуло меня. Это было лицо человека, способного убить и в то же время отдать жизнь за друга? – такое лицо увидишь скорее у анархиста, хотя молодой человек наверняка был коммунистом. В его лице сочетались искренняя доброжелательность и жестокость, и еще благоговение, какое безграмотные люди испытывают перед теми, кто, по их представлению, стоит выше. Было видно, что он не умеет читать карту и считает подобное умение величайшим умственным достижением. Не знаю почему, но я мгновенно почувствовал к нему расположение, что случается очень редко – в отношении мужчин, я имею в виду. В разговоре, который велся у стола, кто-то упомянул, что я иностранец. Итальянец поднял голову и быстро произнес:

– *Italiano*?

– *No, Inglés. Y tú*?[1] – ответил я на скверном испанском.

– *Italiano*.

Когда мы выходили, он прошел через всю комнату и крепко пожал мне руку. Удивительно, какое чувство близости можно испытывать к незнакомцу! Словно наши души, мгновенно преодолев языковые и национальные барьеры, установили тесную близость. Надеюсь, я ему тоже понравился. Но мне было понятно: чтобы удержать первое впечатление, я не должен его видеть снова. Стоит ли говорить, что мы больше никогда не встречались. Такие краткие встречи типичны для Испании.

Я упомянул этого ополченца, потому что он особенно живо запечатлелся в моей памяти. Его потрепанная форма, страстное, трагическое лицо олицетворяют для меня характерную атмосферу того военного времени. Этот образ связывает мои воспоминания о том этапе войны – красные флаги на улицах Барселоны; мрачные, медленно ползущие поезда, набитые солдатами в поношенных униформах; серые, разрушенные войной города вблизи линии фронта; утопающие в грязи и холодные как лед окопы в горах.

Эта встреча состоялась в конце декабря 1936 года, с тех пор

прошло меньше семи месяцев, но кажется, она была в другой жизни. Последующие события изгладили из памяти то время больше, чем, к примеру, 1935 год или 1905-й. Я приехал в Испанию всего лишь с целью писать обзоры в газету, но почти сразу же вступил в ополчение: в обстановке того времени это казалось единственно возможным поступком. Власть в Каталонии принадлежала анархистам, и революция по-прежнему была в разгаре. Тем, кто находился здесь с самого начала, могло показаться, даже в декабре или в январе, что революционный период заканчивается, но человека, только что приехавшего из Англии, вид Барселоны потрясал и ошеломлял.

Впервые я попал в город, где рабочий класс выступал в первых ролях. Практически все здания, и большие, и поменьше, захватили рабочие, на этих домах развевались красные или черно-красные флаги – анархистов; на всех стенах были нацарапаны серп и молот и названия революционных партий; почти все церкви были ограблены, а изображения святых сожжены. Церкви повсюду методично разрушались рабочими группами. На каждом кафе или магазине висело объявление, что оно коллективизировано, коллективизировали даже будки чистильщиков сапог, а сами будки раскрасили в красно-черный цвет. Официанты и продавцы смотрели тебе прямо в лицо и обращались как с ровней. Услужливое и даже просто вежливое обращение временно исчезло. Никто не говорил «*señior*»[2] или «*don*»[3] или даже «*usted*»[4], все обращались друг к другу «товарищ» и на «ты» и приветствовали «*salud*»[5] вместо «*buenos dias*»[6]. По новому закону запрещалось давать чаевые; одно из первых моих впечатлений – выговор, полученный мной от управляющего отелем, за попытку дать на чай лифтеру. Личных автомобилей не было видно – их конфисковали, а все трамваи, такси и прочий транспорт раскрасили в красный и черный цвета. Рядом с развешенными повсюду на стенах ярко-синими революционными плакатами все остальные малочисленные объявления казались грязной мазней. На Рамблас, широкой главной улице города, где всегда толпится народ, из громкоговорителей непрерывно, и днем и ночью, звучали революционные песни. И, что самое удивительное, именно это влекло сюда людей.

Со стороны казалось, что богатых здесь совсем не осталось. Кроме немногих женщин и иностранцев, все жители были скверно одеты. Практически все ходили в грубой рабочей одежде, или синих комбинезонах, или в подобии униформы ополченцев. Странное, трогательное зрелище! Я многого в этом не понимал, что-то меня даже раздражало, но с первого взгляда было ясно, что

тут есть за что сражаться. Я верил, что все обстоит так, как кажется, и я действительно нахожусь в государстве рабочих, а буржуазия частично сбежала, частично погибла или добровольно перешла на их сторону. Мне не приходило в голову, что многие богачи просто залегли на дно, прикидываясь пролетариями.

Наряду со всем этим в воздухе витала нездоровая атмосфера войны. У города был запущенный вид – дома обветшалые; плохо освещенные улицы – из-за страха перед вражескими налетами; полупустые, убогие магазины. Недостаток мяса, отсутствие молока, нехватка угля, сахара и бензина, и самое важное – перебои с хлебом. Даже в то время очереди за хлебом тянулись подчас на сотни ярдов. И все же бросалось в глаза, что люди радуются и верят в будущее. Безработица отсутствовала, плата за жилье оставалась низкой. По-настоящему нуждающихся людей было мало, а попрошайничали только цыгане. Все трудности преодолевались верой в революцию и счастливое будущее, возможностью разом вступить в эру равенства и свободы. Люди старались быть людьми, а не винтиками в капиталистической машине. В парикмахерских висели анархистские предупреждения (большинство брадобреев здесь анархисты), в которых торжественно объявлялось, что парикмахеры больше не рабы. Яркие уличные плакаты призывали проституток отказаться от своего ремесла. Человека из очерствевшей, ироничной среды англоязычных народов могло смешить восторженное отношение идеалистически настроенных испанцев к затасканным революционным лозунгам. Тогда на улицах за несколько сантимов продавались революционные баллады с наивным содержанием, сводившемся к пролетарскому братству и нападкам на злобного Муссолини. Я часто видел, как какой-нибудь малограмотный ополченец покупал такую балладу, с трудом разбирал ее по слогам и, наконец, поняв что к чему, начинал распевать ее под подходящую мелодию.

Все это время я жил в Ленинских казармах, вроде бы готовясь к участию в военных действиях. Когда я вступил в ополчение, меня обещали отправить на фронт уже на следующий день, однако пришлось дожидаться набора следующей *centuria*. Рабочее ополчение, торопливо набранное профсоюзами в начале войны, еще не было организовано по армейскому принципу. Воинское соединение состояло из «секций» (около тридцати человек), «центурий» (около сотни) и «колонн» (на практике просто достаточно большое число людей).

Ленинские казармы – это квартал из красивых каменных домов, здесь есть школа верховой езды и множество мощенных булыжником внутренних двориков. Раньше тут были

кавалерийские казармы, их захватили во время июльского сражения. Центурия, в которую входил я, спала в одной из конюшен под каменными яслями, на которых сохранились клички лошадей. Всех лошадей конфисковали и отправили на фронт, но в конюшне все еще сохранялся запах конской мочи и гнилого овса. Я находился в казарме около недели. Больше всего мне запомнился неистребимый запах конюшни, надтреснутое звучание горна (все наши горнисты были любителями, и я впервые услышал настоящий звук испанского горна у оборонительного рубежа фашистов), топот тяжелых сапог во дворе казармы, невыразимо затянутые построения по солнечным морозным утрам, исступленные игры в футбол на манеже конной школы по пятьдесят человек с каждой стороны. В казарме жили не меньше тысячи мужчин и десятка два женщин, не считая жен ополченцев, которые стряпали на кухне. Женщины тоже служили в ополчении, хотя их было немного. Кстати, в первых боях они сражались бок о бок с мужчинами. Во время революции это только естественно. Но такое отношение менялось на глазах. Теперь ополченцев не пускали в здание школы, когда у женщин проходили строевые учения, потому что мужчины смеялись и подшучивали над подругами. А ведь несколькими месяцами раньше женщина с оружием в руках не вызывала насмешек.

Казарма была грязная и запущенная, ополченцы приводили в непотребный вид каждое занимаемое ими здание – похоже, таков побочный продукт революции. В каждом углу можно было наткнуться на завалы сломанной мебели, испорченные седла, кавалерийские латунные шлемы, пустые сабельные ножны и тухлую еду. Продукты гибли в пугающем количестве, особенно хлеб. Только из моего отделения после каждого приема пищи выбрасывали корзину хлеба – постыдная вещь, когда знаешь, что гражданским людям его не хватает. Мы ели за длинными дощатыми столами из засаленных жестяных мисок и пили из жуткой штуки под названием *porron* — стеклянного кувшина с длинным носиком. Если кувшин наклонить, из носика потечет тонкая струйка, и тогда вино можно пить на расстоянии, не прикасаясь губами к носику и передавая кувшин из рук в руки. Увидев *porron* в действии, я взбунтовался и потребовал для себя отдельную кружку. Этот сосуд напоминал мне стеклянную утку, особенно когда его наполняли белым вином.

Постепенно новобранцев снабжали униформой, но не надо забывать, что мы находились в Испании, и форма поступала по частям, так что никогда нельзя было знать, кто что получит. Многие необходимые вещи, вроде ремней и патронных ящиков, нам доставили в последний момент, когда мы чуть ли не

садились в отправлявшийся на фронт поезд. Возможно, говоря о «униформе», я выразился неточно. По существу, это была не униформа. Скорее «мультиформа». Замысел был один, но не было двух человек, которые носили бы одинаковую одежду. Практически у всех в армии были вельветовые бриджи, но на этом сходство заканчивалось. Некоторые пользовались портянками, другие надевали гетры, кто-то носил кожаные лосины или сапоги. Все куртки были на молнии, но одни – из кожи, другие – из шерсти, а уж цвета были самые разнообразные. И на каждом ополченце – свой, неповторимый головной убор, обычно украшенный партийным значком. Кроме того, почти каждый мужчина носил на шее красный или черно-красный платок. В то время колонна ополченцев со стороны воспринималась как разношерстный сброд. Но обмундирование все же поступало – в том виде, каким его шила фабрика, и, учитывая обстоятельства, оно было не таким уж плохим. Хлопчатобумажные рубашки и носки имели жалкий вид и совсем не предохраняли от холода. Не хочется даже думать, через что пришлось пройти ополченцам в первые месяцы революции, когда ничего не было толком организовано. Помнится, еще два месяца назад я прочел в газете слова одного из лидеров ПОУМ[7], побывавшего на фронте: он обещал лично проследить, чтобы у «каждого милиционера было одеяло». Каждый, кто когда-нибудь спал в окопе, содрогнется от этих слов.

На второй день моего пребывания в казарме началось то, что можно в шутку назвать «обучением». Вначале царил полный хаос. Среди новобранцев преобладали юноши шестнадцати-семнадцати лет с окраин Барселоны, их переполнял революционный азарт, но они не имели никакого представления о военных действиях. Даже построить в одну линию их было невозможно. Понятия дисциплины для этих ребят не существовало. Если кому-то из них не нравился приказ, он просто выходил из строя и начинал яростно спорить с офицером. Инструктировавший нас лейтенант – крепкий молодой человек с чистым, приятным лицом – раньше служил в регулярной армии, что было видно по его выправке и по опрятной униформе. Удивительно, но он был убежденный и пылкий социалист. Лейтенант настаивал на полном социальном равенстве даже больше, чем его подчиненные. Помню, как его огорчило, когда несведущий новобранец назвал его «сеньором». «Что? Сеньор? Какой я тебе сеньор? Разве мы все здесь не товарищи?» Сомневаюсь, что такое отношение облегчало его работу. Между тем новобранцы не приобретали тех необходимых военных навыков, которые могли бы помочь им в деле. Мне сказали, что иностранцам не обязательно посещать «инструктаж»

(похоже, испанцы искренне убеждены, что все иностранцы бóльшие знатоки в военном деле, чем они сами), но я, само собой, ходил на занятия вместе со всеми. Я очень хотел освоить пулемет, с этим оружием мне никогда не приходилось обращаться. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что обращение с оружием не входит в программу подготовки. «Инструктаж» сводился к давно устаревшей, примитивной муштре на плацу – поворот направо, поворот налево, кругом, хождение строевым шагом по трое в колонне и прочая бессмыслица, которую я освоил уже в пятнадцать лет. Трудно придумать что-либо более нелепое при подготовке армии ополченцев. Когда на подготовку солдата отводится всего несколько дней, его нужно учить тем вещам, которые пригодятся в первую очередь, – как занять укрытие, как передвигаться по открытой местности, как при необходимости затаиться и соорудить бруствер, а самое главное – умению обращаться с оружием. А эту толпу нетерпеливых детей, которых через несколько дней отправят на фронт, не научили даже стрелять из винтовки или выдергивать чеку из гранаты. Тогда до меня не доходило, что винтовок просто не было. В ополчении ПОУМ нехватка оружия была такой острой, что новые части, прибыв на линию фронта, получали ружья у бойцов, отправлявшихся на отдых. Думаю, во всей Ленинской казарме винтовки были только у часовых.

Через несколько дней, хотя по общепринятым стандартам мы по-прежнему оставались разношерстным сбродом, нас сочли достойными предстать перед публикой. Теперь по утрам мы поднимались к общественным садам на холме за площадью Испании и там маршировали на общем плацу вместе с корпусом карабинеров и первыми частями недавно созданной Народной армии. Для общественных садов это было необычное и поднимающее настроение зрелище. По всем дорожкам и перекресткам, мимо симметрично расположенных клумб четко маршировали туда и сюда разные воинские единицы; молодые люди выпячивали грудь и изо всех сил старались быть похожими на настоящих солдат. Ни у одного не было оружия, и редко кому перепадал полный комплект униформы, да и у тех она была в заплатах. Порядок действий никогда не менялся. В течение трех часов мы с важным видом ходили строем взад-вперед (у испанцев маршевый шаг очень короткий и быстрый), затем звучала команда «стой», строй рассыпался, и мы, томимые жаждой, бежали гурьбой в небольшой магазинчик на полпути вниз, где продавали дешевое вино. Ополченцы относились ко мне дружелюбно. Будучи англичанином, я вызывал любопытство, особенный интерес проявляли офицеры-карабинеры, угощавшие

меня выпивкой. Между тем я, как только удавалось отловить нашего лейтенанта, требовал, чтобы меня научили стрелять из пулемета. Вытащив из кармана разговорник Хьюго, я начинал мучить его своим чудовищным испанским:

– *Yo sé manejar fusil. No sé manejar ametralladora. Quiero apprender ametralladora. Quándo vamos apprender ametralladora*?[8]

Ответом мне всегда была смущенная улыбка и обещание, что обучение начнется *mañana*[9]. Надо ли говорить, что заветное *mañana* так и не наступило. Прошло несколько дней, и новобранцы научились маршировать в ногу и останавливаться почти точно по команде, но хорошо, если они вдобавок знали, из какого конца винтовки вылетает пуля. Однажды к нам подошел вооруженный карабинер и позволил осмотреть его винтовку. Оказалось, что во всем подразделении никто, кроме меня, не знал, как ее зарядить, не говоря уж о том, чтобы прицелиться.

Все это время я прилагал огромные усилия, чтобы продвинуться в испанском. Помимо меня, в казарме был еще один англичанин, и никто, даже в офицерской среде, не знал ни слова по-французски. То, что между собой мои товарищи обычно говорили на каталанском языке, не упрощало положение. Оставалось только повсюду таскать с собой разговорник, который я торопливо вытаскивал из кармана в затруднительных положениях. Но лучше быть иностранцем в Испании, чем в других странах. В Испании так легко найти друзей! Не прошло и двух дней, как десяток-другой ополченцев уже звали меня по имени, вводили в курс дела и ошеломляли своим гостеприимством. Я не пишу пропагандистскую книгу и не собираюсь идеализировать ополчение ПОУМ. Милицейская система имела серьезные недостатки, а ополченцы представляли собой разнородную массу, ведь к этому времени приток добровольцев спал, и лучшие были на фронте или в могиле. Среди нас встречались и совершенно бесполезные люди. Родители просили зачислить на военную службу пятнадцатилетних сыновей, не скрывая, что поступают так ради десяти песет – ежедневного жалованья ополченца, и хлеба, некоторое количество которого из милицейского изобилия юноша мог тайно передать родителям. Но могу поклясться: если кто-то, как я, окажется среди испанских рабочих – точнее, среди каталонцев, потому что в отряде было всего несколько арагонцев и андалузцев, – он будет покорен их врожденной порядочностью, а также прямотой и щедростью. Испанская щедрость, в прямом смысле этого слова, временами приводит в смущение. Если вы попросите у испанца сигарету, он всучит вам целую пачку. Но их щедрость имеет и другой, более глубокий смысл – щедрость души, которая открывалась мне снова и снова в самых трудных

обстоятельствах. Кое-кто из журналистов и прочих иностранцев, находящихся в Испании во время войны, заявляли, что в глубине души испанцы ревниво относятся к иностранной помощи. Лично я ничего подобного не замечал. Помнится, за несколько дней до того, как я покинул казарму, с фронта на передышку вернулась группа солдат. Они возбужденно рассказывали о том, что было с ними на войне, и восхищались французскими воинскими частями, сражавшимися с ними бок о бок под Уэской. Французы вели себя очень храбро, говорили они и восторженно прибавляли: «*Más valientes que nosotros*»[10]. Я стал было протестовать, но мне объяснили, что французы основательно преуспели в военном деле, больше знают о бомбах, пулеметах и так далее. Однако это о многом говорит. Англичанин скорее отрубит себе руку, чем скажет такое.

Каждый оказавшийся в ополчении иностранец в первые же недели не мог не полюбить испанцев, хотя кое-что в их характере могло взбесить кого угодно. На фронте мое возмущение иногда даже перерастало в ярость. Испанцы преуспевают во многом, но воевать они не умеют. Всех иностранцев одинаково повергает в ужас неэффективность их действий, напрямую связанная с их чудовищной непунктуальностью. Слово, с которым неизбежно сталкивается каждый иностранец, *mañana* – «завтра» (дословно – «утром»). Если возможно, дело всегда откладывается на завтра. Это уже стало общим местом, даже сами испанцы шутят по этому поводу. В Испании ничего не происходит в назначенный срок – ни прием пищи, ни сражение. Как правило, все откладывается, но иногда – на это, естественно, нельзя положиться – все вдруг происходит раньше, чем нужно. Если поезд должен отправиться в восемь, он обычно отходит от платформы где-то между девятью и десятью часами, но может так случиться, что по прихоти машиниста он вдруг как-нибудь отправится в половине восьмого. Такие вещи здорово действуют на нервы. Теоретически меня восхищает, что испанцы не заражены нашим северным неврозом по части времени, но, к сожалению, сам я им заражен.

После бесконечных слухов, *mañanas* и отсрочек нам внезапно объявили, что через два часа мы едем на фронт. Многое из материальной части было еще не получено, и потому в отделе хозяйственного снабжения начался страшный переполох, и все же в результате многим пришлось покинуть казарму без полной экипировки. Казармы как-то мгновенно наполнились словно появившимися из-под земли женщинами, они помогали своим мужчинам закатывать одеяла и паковать вещевые мешки. Я испытал смущение, что испанская женщина, жена Уильямса, еще одного англичанина среди ополченцев, показала, как надо

приладить мой новый кожаный патронташ. Этому нежному, темноволосому, исключительно женственному существу более пристало качать колыбельку, а она на самом деле принимала участие в июльских уличных боях и храбро сражалась рядом с мужчинами. Теперь она была беременна, и ребенок, родившийся спустя десять месяцев после начала войны, был, возможно, зачат за баррикадой.

Поезд должен был отойти в восемь, но только в десять минут девятого взмокшим от усталости офицерам удалось построить нас на площади перед казармой. Я помню эту сцену при свете факелов очень живо – всеобщий гул и волнение; развевающиеся красные флаги; плотные ряды ополченцев с рюкзаками за спиной и свернутыми одеялами на плечах наподобие бандольера; крики, стук каблуков и позвякивание жестяных кружек; и наконец громовой призыв к тишине, давший возможность политкомиссару на фоне огромного, бьющегося на ветру красного флага произнести речь на каталанском языке. Потом нас повели на вокзал самым долгим путем в три или четыре мили, чтобы весь город мог нами полюбоваться. На улице Рамблас нас остановили, и нанятый оркестр сыграл парочку революционных мелодий. И вновь победное настроение – восторженные крики, повсюду красные и черно-красные флаги, тротуары заполнены ликующими людьми, вышедшими из дома, чтобы посмотреть на нас, женщины машут из окон. Каким это казалось тогда естественным и каким далеким и невероятным кажется сейчас! В поезд набилось так много народу, что не только на скамьях, но и на полу не осталось свободного места. В последний момент жена Уильямса принесла откуда-то бутылку вина и связку той ярко-красной колбасы, которая отдает мылом на вкус и приводит к расстройству желудка. И поезд медленно, с обычной в военное время скоростью под двадцать километров в час потащился из Каталонии по направлению к Арагонской равнине.

Глава 2

Барбастро – хотя и расположен далеко от линии фронта – город унылый и неухоженный. Толпы ополченцев в потрепанных униформах слонялись по улицам, стараясь согреться. На разрушенной стене я увидел прошлогоднюю афишу, сообщавшую, что «шесть превосходных быков» будут заколоты на арене в такой-то день. Как жалко выглядело это поблекшее объявление! Где сейчас эти превосходные быки и красавцы тореадоры? Даже в Барселоне теперь не так легко их встретить: по необъяснимой причине все лучшие тореадоры на стороне фашистов.

Группу, в которую входил я, отправили на грузовиках в направлении Сиетамо и далее на запад в Алькубьерре, деревню, находившуюся близ линии фронта напротив Сарагосы. Сиетамо три раза переходил из рук в руки, прежде чем анархисты окончательно укрепились в нем в октябре. Часть города после артиллерийского обстрела лежала в руинах, а стены большинства домов изрешетили пули. Сейчас мы находились в полутора тысячах футов над уровнем моря. Было чертовски холодно, и к тому же неизвестно откуда поднимался, клубясь, плотный туман. Между Сиетамо и Алькубьерре наш водитель сбился с пути (это постоянно случалось на этой войне), и мы несколько часов провели в тумане. Мы въехали в Алькубьерре поздно вечером. Кто-то провел нас по вязкой грязи в стойло мулов, где мы, зарывшись в мякину, мгновенно уснули. Когда мякина чистая, на ней не так уж плохо спать, конечно, не так хорошо, как на сене, но уж лучше, чем на соломе. Однако при утреннем свете я разглядел в мякине черствые корки, обрывки газет, кости, дохлых крыс и покореженные жестяные банки из-под молока.

Теперь мы были близко от линии фронта, настолько близко, что в воздухе витал характерный запах войны – состоящий, по моему представлению, из запаха экскрементов и протухшей пищи. Алькубьерре в отличие большинства деревень рядом с линией фронта никогда не попадала под артиллерийский огонь, и потому была в лучшем состоянии. Однако не сомневаюсь: даже если вы окажетесь в этой части Испании в мирное время, вас поразит какая-то особенная запущенность арагонских деревень. Построены они по образцу крепостных сооружений: в центре всегда церковь в окружении жалких домишек, сложенных из камня и глины. Здесь даже весной вряд ли увидишь цветы: у домов не принято разбивать сад, существуют только задние дворы, где среди куч навоза бродит неухоженная домашняя птица. Погода стояла отвратительная – дождь чередовался с

туманом. Узкие грунтовые дороги утопали в грязи – местами она доходила до двух футов глубиной, – и, чтобы проехать по ним, грузовикам приходилось бешено месить грязь колесами, а крестьянам – цугом впрягать в свои нескладные телеги мулов, иногда по шесть в упряжке. Постоянные передвижения войск довели деревню до состояния крайней антисанитарии. В ней и так никогда не было уборных и какого-то подобия канализации, и нужно было внимательно следить, куда наступаешь. Церковь давно уже использовалась как отхожее место, да и все пространство на четверть мили вокруг тоже. Перебирая в голове первые два месяца моей военной жизни, я всегда вспоминаю унылую стерню, покрытую коркой замерзшего дерьма.

Прошло два дня, а оружие все не поступало. Если вы были в Военно-революционном комитете и видели в стене дырки от пуль – здесь стреляли залпами, казня фашистов, – можно считать, что вы видели в Алькубьерре все. На линии фронта было относительное затишье, оттуда поступало мало раненых. Большим сюрпризом было появление фашистских дезертиров, их привели в деревню под охраной. На стороне противника не все разделяли фашистские взгляды, ведь среди прочих были несчастные, которым повезло проходить военную службу как раз в то время, когда разразилась война, и они мечтали сбежать. Время от времени они группами, подвергаясь большому риску, пробирались через линию фронта к нам. Думаю, число перебежчиков значительно возросло бы, если бы их родственники не остались на территории, контролируемой фашистами. Эти дезертиры были первые «настоящие» фашисты, увиденные мною в жизни. Меня поразило, что их нельзя было отличить от ополченцев, единственная разница – верхняя спецодежда цвета хаки. Приходили они чудовищно голодные, и это было только естественно, принимая во внимание, что им день-другой приходилось прятаться на ничейной земле, но в нашем лагере это вызывало общий восторг как доказательство того, что фашистские войска голодают. Я сам наблюдал, как одного из них кормили в крестьянском доме. На это нельзя было смотреть без сострадания. Высокий парень лет двадцати, с обветренным лицом и в изрядно потрепанной одежде, сидел, нагнувшись над плитой, и с потрясающей скоростью поглощал из жестяной миски рагу. Все это время глаза его нервно бегали по окружившим его ополченцам, которые не сводили с него глаз. Думаю, в голове его бродили сомнения, не жаждут ли «красные» его крови и не пристрелят ли, как только он покончит с едой. Но охранники поглаживали его по плечу и говорили что-то ободряющее. В один памятный день прибыла группа из пятнадцати дезертиров. Их

торжественно провели по деревне, а перед ними ехал милиционер на белом коне. Мне удалось заснять эту сцену, но впоследствии снимок, довольно расплывчатый, у меня украли.

На третье утро нашего пребывания в Алькубьерре привезли винтовки. Сержант с грубым, темно-желтым лицом раздавал их в стойле для мулов. Увидев, *что* мне вручили, я пришел в смятение. То была немецкая винтовка «маузер» 1896 года – ее изготовили более сорока лет назад! Ржавая, с тугим затвором и потрескавшимся деревянным стволом! Одного взгляда в проржавевшее дуло было достаточно, чтобы понять: винтовка отслужила свое. Большинство винтовок было не лучше, некоторые даже хуже, и никому не приходило в голову дать лучшее оружие тем мужчинам, которые умели с ним обращаться. Но лучшее ружье, прослужившее всего десять лет, дали недоумку лет пятнадцати, которого все называли *maricóon* (гомиком). За пять минут сержант «проинструктировал» нас, объяснив, как заряжать ружье и разбирать затвор. Многие ополченцы никогда прежде не держали ружье в руках, и мало кто знал, для чего нужен прицел. Раздали патроны, по пятьдесят в одни руки, а затем построили нас в шеренги и шагом марш на передовую – в трех милях от деревни.

Наша центурия – восемьдесят человек и несколько собак – зигзагообразной линией двигалась по дороге. К каждой колонне был прикреплен хотя бы один пес – своего рода талисман. На одном несчастном животном, шедшем с нами, было выжжено крупными буквами клеймо – ПОУМ; пес шел крадучись, словно сознавал, что в его облике что-то не так. Во главе колонны под красным знаменем ехал на вороном коне команданте[11] Джордж Копп, бельгиец по происхождению; чуть впереди молодой человек из милицейской кавалерии (больше напоминавшей шайку бандитов) гарцевал взад-вперед на коне. На каждом подъеме он пускал коня в галоп и замирал на вершине в живописной позе. Великолепные лошади, принадлежавшие испанской кавалерии, были в большом количестве захвачены во время революции и переданы милиции, члены которой делали все возможное, чтобы заездить их до смерти.

Дорога вилась меж желтых бесплодных полей, заброшенных после прошлогоднего урожая. Впереди была невысокая горная цепь, соединяющая Алькубьерре и Сарагосу. Мы приближались к линии фронта – к бомбам, пулеметам и грязи. В глубине души я боялся. Сейчас там затишье, но в отличие от большинства мужчин, окружавших меня, я был достаточно взрослым, чтобы помнить Первую мировую войну, хотя и не настолько, чтобы принимать в ней участие. Для меня война означала рвущиеся

снаряды, взлетающие в воздух куски металла и еще – непролазную грязь, вшей, голод и холод. Удивительно, но холода я боялся больше, чем врагов. Мысль о холоде постоянно преследовала меня в Барселоне. Я не спал ночами, представляя, как буду мерзнуть в окопе, пробуждаться от холода на рассвете, часами стоять в карауле с ледяной винтовкой в руках и чувствовать, как стылая грязь липнет к голенищам сапог. И еще, должен признаться, меня охватывал ужас при взгляде на людей, с которыми я шагал в одном строю. Мы выглядели просто сбродом. Отара овец смотрится более сплоченной: мы не прошли и двух миль, а конец колонны уже исчез из виду. К тому же добрую половину бойцов составляли дети, и это не преувеличение – по большей части им было лет шестнадцать. Однако все испытывали радость и возбуждение при мысли, что наконец попадут на фронт. По мере приближения к линии фронта эти мальчишки, шедшие впереди под красным флагом, стали выкрикивать лозунги: «*Visca P.O.U.M.! Fascistas – maricones!*»[12] и все в таком духе. Эти крики, задуманные как боевой, угрожающий клич, вылетая из детских горлышек, звучали как жалобный писк котят. Грустно, что защитниками Республики предназначено быть толпе оборванных детей с негодными винтовками, из которых они не умеют стрелять. Помню, я подумал: если над нами окажется фашистский самолет, он вряд ли опустится до того, чтобы снизить высоту и дать по нам пулеметную очередь. Ведь даже сверху он поймет, что это не настоящие солдаты.

Когда дорога уперлась в горную цепь, мы свернули направо и стали взбираться по узкой, вьющейся вдоль горного склона тропе, по которой перегоняют мулов. Горы в этой части Испании имеют причудливую, подковообразную форму, плоские вершины, но очень крутые склоны, заканчивающиеся бездонными ущельями. Ближе к вершине ничего не растет, кроме чахлого кустарника и вереска, а из земли повсюду торчат, словно кости, белые выступы известняка. В горных условиях невозможно создать линию фронта из непрерывной цепочки окопов, она здесь складывалась из укрепленных постов, так называемых «позиций», сосредоточенных на вершинах. Вдали, на вершине «подковы» виднелась наша «позиция»: неровная баррикада из мешков с песком, развевающийся красный флаг и дым от очагов в блиндажах. При приближении оттуда стал доноситься сладковато-тошнотворный запах, который потом долго преследовал меня. В расщелине сразу за «позицией» устроили самую настоящую помойку и месяцами сбрасывали туда отходы – гниющий хлеб, экскременты и ржавые банки.

Бойцы, на смену которым мы пришли, укладывали свое

снаряжение. Они три месяца находились на передовой, их форма была заляпана грязью, ботинки развалились, щеки заросли бородой. Командующий укреплением капитан по фамилии Левински, которого все звали просто Бенджамин, польский еврей по рождению, но знавший французский язык как родной, медленно выбрался из землянки и тепло приветствовал нас. Это был невысокий молодой человек лет двадцати пяти, с жесткими черными волосами и бледным энергичным лицом, которое на войне просто не могло не быть грязным. Несколько шальных пуль просвистели над нашими головами. «Позиция» располагалась на полукруглом огороженном месте шириной приблизительно пятьдесят ярдов, по границе она была укреплена мешками с песком и частично кусками известняка. Ее территория, словно крысиными норами, была источена блиндажами, их число доходило до тридцати-сорока. Уильямс, я и испанский шурин Уильямса быстро нырнули в ближайший, незанятый блиндаж, казавшийся годным для жилья. Где-то неподалеку раздался одиночный выстрел, прокатившийся необычным эхом в горах. Мы как раз разбирали свое снаряжение и выбрались из блиндажа в тот момент, когда прозвучал еще один выстрел, и один из наших мальчишек отпрянул от бруствера с залитым кровью лицом. Он выстрелил из винтовки, ухитрившись при этом каким-то образом повредить затвор; разорвавшаяся патронная гильза превратила кожу его лица в кровавые лохмотья. Это был наш первый несчастный случай, и что характерно, случившийся по собственной вине.

Днем мы вышли на первое дежурство, и Бенджамин провел нас по лагерю. За бруствером шли узкие траншеи, высеченные из камня, с примитивными амбразурами из наваленного грудой известняка. В разных точках траншей и у бруствера стояли на охране двенадцать часовых. Траншеи были обнесены колючей проволокой, дальше склон уходил в бездонную по виду пропасть. Впереди были голые скалы, местами – отвесные, на этих холодных и серых камнях отсутствовала всякая жизнь, даже птицы сюда не залетали. Я внимательно всматривался вдаль сквозь амбразуру, стараясь увидеть фашистские траншеи.

– А где неприятель?

Бенджамин возбужденно махнул рукой: «Вон там». (Он говорил по-английски, но с ужасным произношением.)

– Где же?

Согласно моим представлениям об окопной войне, вражеские траншеи должны находиться в пятидесяти-ста ярдах. Однако я ничего не видел – похоже, фашисты удачно замаскировали траншеи. Но тут, к своему ужасу, я увидел место, куда указывал

Бенджамин: на противоположной вершине, по другую сторону ущелья, в семистах метрах по меньшей мере, слабо вырисовывалось огороженное место с красно-желтым флагом. То была «позиция» фашистов. Трудно описать мое разочарование. Мы были так далеко друг от друга! На таком расстоянии наши винтовки были ненужным балластом. В этот момент раздались восторженные крики. Два фашиста, казавшиеся на большом расстоянии крохотными серыми фигурками, карабкались по голому каменистому откосу. Бенджамин выхватил у стоявшего рядом бойца винтовку, прицелился и нажал на курок. Щелк! Осечка. Я счел это плохим предзнаменованием.

Стоило новым часовым оказаться в траншее, как они тут же стали палить наугад, как сумасшедшие. Мне было видно, как фашисты, казавшиеся с моего места мелкими букашками, осторожно перемещаются за ограждениями, иногда на мгновение голова одного из них черной точкой безрассудно высовывалась наружу. Однако стрелять было бессмысленно. Через какое-то время часовой слева от меня, бросив в типично испанской манере свой пост, украдкой приблизился ко мне и стал уговаривать открыть стрельбу. Я постарался объяснить ему, что на таком расстоянии, учитывая состояние наших винтовок, попасть в человека можно только случайно. Но этот ребенок продолжал указывать ружьем на одну из точек, нетерпеливо скаля при этом зубы, как собака, ждущая, чтобы ей бросили камешек. В конце концов я прицелился и выстрелил. Черная точка исчезла. Надеюсь, пуля пролетела рядом и боец успел отскочить. Впервые в жизни я разрядил ружье в человека.

Теперь, ознакомившись с положением на фронте, я испытал глубокое отвращение. И это называется войной! У нас практически не было контакта с неприятелем. Я даже не пытался укрыться за ограждением. Однако вскоре пуля со злобным свистом пролетела у моего уха и ударилась в тыльный траверс. Увы! Я мгновенно пригнулся. Всю жизнь я клялся, что не стану кланяться пулям, но инстинктивно поступил именно так, как поступает большинство из нас – по крайней мере, в первый раз.

Глава 3

В окопной войне есть пять вещей, без которых не обойтись: дрова, провизия, табак, свечи и неприятель. Зимой на Сарагосском фронте они были нужны именно в такой последовательности – враг стоял на последнем месте. Неприятеля никто не опасался – разве что ночью, когда можно предположить неожиданное нападение. Враги были какими-то далекими черными букашками, перемещения которых иногда замечаешь. Обе армии были озабочены одним – как бы не замерзнуть.

Должен признаться, что за все проведенное мною в Испании время я видел мало сражений. Я находился в Арагоне с января по май, и с января до конца марта на фронте почти ничего не происходило, за исключением битвы при Теруэле. В марте ожесточенные бои шли в районе Уэски, но лично я принимал в них мало участия. Позднее, в июне, было гибельное наступление националистов на Уэску, когда за один день полегло несколько тысяч человек, но я был ранен еще до этого и полностью недееспособен. Так что то, что обычно называют «ужасами войны», почти не коснулось меня. Рядом со мной не разрывалась сброшенная с самолета бомба, и вообще ни одна бомба не падала ближе пятидесяти ярдов. Только раз я участвовал в рукопашном бою (но, признаюсь, и это слишком много). Конечно, я часто попадал под интенсивный пулеметный обстрел, но обычно находясь на отдаленной позиции. Даже в Уэске можно было уцелеть, если сражаться с умом.

Но здесь, в горах под Сарагосой, царили скука и прочие неудобства позиционной войны. Жизнь без особенных происшествий – как у городского клерка и такая же размеренная. Караульная служба, патрулирование, земляные работы – и в обратном порядке: земляные работы, патрулирование, караульная служба. И так на каждой вершине. Будь то фашисты или лоялисты, и те и другие были всего лишь кучкой оборванных, грязных мужчин, которые тряслись от холода рядом со своим флагом, изо всех сил стараясь согреться. И днем и ночью над горной долиной шла бессмысленная перестрелка, но пуля лишь по чистой, почти неправдоподобной случайности могла кого-то ранить.

Часто, глядя на унылый пейзаж, я поражался, насколько все бессмысленно. К чему приведет такая война! Раньше, где-то в октябре, за эти горы жестоко бились, а затем из-за недостатка людей и оружия, особенно артиллерии, крупные операции стали невозможны, и армии окопались, заняв отбитые ими вершины.

Справа от нас был небольшой аванпост, тоже от ПОУМ, а слева – на отроге горы занимала место «позиция» ПСУК[13] – как раз напротив вершины с несколькими фашистскими укреплениями. Так называемая линия фронта шла зигзагами, и путь ее остался бы загадкой, если бы над «позициями» не развевались флаги. У ПОУМ и ПСУК они были красного цвета, у анархистов – черно-красные, у фашистов обычно – цвета монархистского флага (красный-желтый-красный), но иногда и Республики (красный-желтый-фиолетовый).

От красоты горных видов захватывало дух, если, конечно, удавалось отрешиться от того, что на каждой вершине военное укрепление и, следовательно, все вокруг загажено консервными банками и засохшими экскрементами. Справа от нас горная цепь отклонялась к юго-востоку и там уступала место широкой долине, которая тянулась до Уэски. Посреди долины были разбросаны маленькие кубики, словно кто-то играл в кости, – то был городок Робрес, занятый фашистами. Часто по утрам долину затягивал туман, из которого прорывались наружу плоские голубые вершины, что придавало пейзажу странное сходство с фотографическим негативом. За Уэской тоже были горы – той же формации, что и наши; испещренные полосами снега, они каждый день выглядели по-новому. А еще дальше, будто из ниоткуда, выступали огромные остроконечные вершины Пиренеев, где снег не тает никогда. Но даже внизу в долине все казалось мертвым и голым. Горы напротив были в серых складках, как кожа слона. И мне кажется, что я не бывал раньше в местах, где так мало птиц. Чаще всего здесь видишь сорок и стайки куропаток (они могут испугать ночью неожиданным стрекотом) и очень редко – орлов, медленно парящих над горами и никогда не обращавших внимания на посылаемые им вслед пули.

По ночам и в туманную погоду в низине между нашим расположением и фашистским лагерем ввели обязательное патрулирование. Это дежурство не пользовалось популярностью: ночью холодно, можно заблудиться, и вскоре я понял, что могу ходить в ночной дозор сколь угодно часто. Никаких проходов и тропинок в неровных скалистых спусках не было, и каждый раз приходилось искать новый путь, полагаясь на везение. По прямой между нашей и вражеской «позициями» было семьсот метров, но реальный путь был не меньше полутора миль. Мне доставляло удовольствие бродить по темной долине, слыша, как наверху со свистом проносятся шальные пули. Но еще больше мне нравилось патрулировать в густой туман, который часто на целый день зависал в горах. Обычно он опутывал вершины, оставляя долину свободной. Оказавшись вблизи от фашистского лагеря,

приходилось красться по-змеиному: по этим склонам меж трещавших веток кустарника и шуршавшего известняка очень трудно передвигаться бесшумно. Только с третьей или четвертой попытки мне удалось нащупать путь к фашистскому лагерю. Туман был очень густой, и я подполз к колючей проволоке и прислушался. Фашисты разговаривали между собой и пели. Потом, к своему ужасу, я услышал, как несколько человек спускаются по склону в мою сторону. Укрывшись за кустом, который в тот момент казался мне слишком низким, я постарался, как можно тише, взвести курок. Но фашисты свернули и прошли стороной. За кустом, где я прятался, оказались вещественные доказательства недавней битвы – горка пустых гильз, простреленная кожаная кепка и красный флаг – явно из нашего лагеря. Я отнес его на «позицию», где без лишних сентиментальностей его порвали на тряпки.

Как только мы попали на фронт, меня произвели в капралы, и теперь под моим началом была группа из двенадцати человек. Назвать синекурой эту должность было нельзя, особенно поначалу. Наша центурия представляла собой необученное сборище людей, преимущественно тинейджеров. В ополчении часто встречаешь детей одиннадцати-двенадцати лет, обычно из числа беженцев с фашистской территории, которых записали в милицию ради хлеба насущного. Как правило, их использовали на легкой работе в тылу, но иногда им удавалось просочиться на фронт, где они представляли реальную угрозу. Помнится, один недоумок бросил ручную гранату в огонь, разведенный в блиндаже. «Ради шутки», – оправдывался он. Не думаю, что в Монте-Посеро был кто-то моложе пятнадцати, однако средний возраст все же не дотягивал до двадцати. Юношей такого возраста нельзя пускать на фронт: они не переносят постоянного недосыпа, всегда сопутствующего окопной войне. Первое время охранять нашу «позицию» ночью было поистине невозможно. Несчастных детей из моей группы можно было разбудить только одним способом – вытаскивать из блиндажа за ноги. Но стоило повернуться к ним спиной, и они бросали свой пост в поисках укрытия или даже, несмотря на жуткий холод, прислонялись к стене траншеи и мгновенно засыпали. К счастью, наши враги были совсем непредприимчивыми. Были ночи, когда мне казалось, что наш лагерь могут захватить двадцать юных бойскаутов с пневматическими пистолетами или двадцать герлскаутов с колотушками.

В это время и много позже каталонская милиция по-прежнему действовала исходя из принципов, заложенных в начале войны. В первые дни поднятого Франко мятежа различные профсоюзы и

политические партии поспешно создали милицейские отряды; каждый отряд был в основе тоже политической организацией, лояльной как к своей партии, так и к центральному правительству. Когда в начале 1937 года была сформирована Народная армия, бывшая как бы «вне политики» и организованная на более или менее обычных принципах, партийные милицейские отряды теоретически должны были в нее влиться. Но довольно долго эти изменения существовали только на бумаге; войска Народной армии вступили на земли Арагона не раньше июня, и до этого структура ополчения оставалась неизменной. Главным принципом в ней было социальное равенство офицеров и солдат. Все – от генерала до рядового – получали одинаковое жалованье, питались с одного стола, носили одну форму и по-приятельски держались друг с другом. При желании вы могли хлопнуть по спине командующего дивизией и попросить сигарету, и это никого бы не удивило. Хотя бы теоретически ополчение было демократической, а не иерархической структурой. Было ясно, что приказы надо исполнять, но было также ясно, что даются они товарищем товарищу, а не вышестоящим офицером – подчиненному. Были старшие и младшие офицеры, но воинских градаций в привычном смысле не было – ни званий, ни знаков отличия, ни щелканья каблуками, ни отдания чести. Была предпринята попытка создать внутри ополчения что-то вроде временной рабочей модели бесклассового общества. Конечно, абсолютного равенства ополченцы не достигли, но лучшего я не видел и не думал, что такое возможно в условиях войны.

Но признаюсь, сначала положение дел на фронте меня ужаснуло. Как такая армия может выиграть войну? Тогда все так думали, и хотя дела так и обстояли, критика была все же неразумной. При сложившихся обстоятельствах ополчение не могло быть лучше. Современная, хорошо оснащенная армия не возникает ниоткуда, и если бы правительство дожидалось, когда в его распоряжении окажутся хорошо обученные войска, противостоять Франко было бы некому. Позже стало модно порицать ополчение, утверждая, что всему виной не отсутствие должной тренировки и недостаток оружия, а система уравниловки и панибратства. Действительно, новый набор в милиционные войска состоял из недисциплинированных солдат, но не потому, что офицеры называли рядовых «товарищами», а потому, что любые новобранцы всегда необученное сборище. На практике демократический, «революционный» тип дисциплины более надежен, чем можно ожидать. Теоретически в рабочей армии дисциплина держится на добровольных началах. В ее

основе – классовая солидарность, в то время как дисциплина в буржуазной армии, комплектуемой по призыву, держится в конечном счете на страхе. (Заменившая ополчение Народная армия стала чем-то средним между двумя этими типами.) В ополчении угрозы и оскорбления, типичные для обычной армии, невозможны. Ординарные военные наказания существуют, но они применяются только при очень серьезных проступках. Если ополченец отказывается выполнять приказ, его не сразу наказывают, а сначала убеждают в необходимости такого поступка во имя товарищества. Циничные люди без всякого опыта руководства людьми тут же заявляют, что это «не сработает», однако «работает», пусть и не сразу. Даже в самых худших наборах дисциплина со временем улучшалась. В январе, когда мне пришлось доводить до должного уровня двенадцать новобранцев, я чуть не поседел. В мае какое-то время я исполнял обязанности лейтенанта, под началом которого было около тридцати человек – англичан и испанцев. Мы месяцами находились под огнем противника, и все это время я не испытывал ни малейших трудностей, добиваясь исполнения приказа или в поиске добровольцев на трудное задание. «Революционная» дисциплина зависит от политической сознательности – от понимания, *почему* отдаются именно эти приказы и *почему* им надо подчиняться. Чтобы добиться этого, нужно время, но оно требуется и для муштровки на плацу. Журналисты, иронизирующие над ополчением, редко вспоминают, что именно милиция сдерживала наступление врага в то время, когда Народная армия вела учения в тылу. Надо отдать должное силе «революционной» дисциплины ополченцев, не покидавших поле сражения. Потому что примерно до июня 1937 года ничего, кроме классовой солидарности, их там не удерживало. Отдельных дезертиров можно было расстрелять – что и делалось время от времени, но если бы тысяча человек решила одновременно покинуть поле боя, никакая сила этому бы не помешала. Регулярная армия в подобных обстоятельствах – при отсутствии военной полиции – просто бы разбежалась. А вот ополченцы не разбежались, хотя и одержали мало побед, и дезертирство среди них было редким явлением. За четыре или пять месяцев моего пребывания в ПОУМ я слышал только о четырех дезертирах, причем двое из них почти наверняка были шпионами, засланными для получения информации. На первых порах очевидный беспорядок, необученность состава, необходимость по много раз повторять приказ, прежде чем его исполнят, доводили меня до бешенства. Я привык к порядкам в английской армии, а испанское ополчение сильно отличалось от

нее. Но опять же, учитывая обстоятельства, они воевали лучше, чем можно было ожидать.

Между тем дрова – всегда дрова. Если открыть мой дневник за этот период времени, всегда найдешь запись о дровах или, скорее, об их отсутствии. Мы находились где-то между двумя и тремя тысячами футов над уровнем моря, стояла зима, и холод был зверский. Температура особенно низко не опускалась, и заморозки были далеко не каждую ночь, а в середине дня частенько выходило на час зимнее солнце. Но даже если объективно холодно не было, уверяю, казалось, что это именно так. Иногда дули резкие ветры, они срывали головные уборы и трепали волосы; иногда опускались туманы и словно растекались по траншее, до мозга костей пронизывая нас; часто шел дождь, и тогда даже четверти часа хватало, чтобы сделать жизнь невыносимой. Тонкий слой земли поверх известняка становился скользким, словно его смазали жиром, и, спускаясь по склону, невозможно было удержаться на ногах. Темными вечерами я умудрялся несколько раз упасть на протяжении двадцати ярдов, и это было опасно – ведь можно забить грязью запор ружья. В течение нескольких дней наша одежда, ботинки, одеяла и ружья были заляпаны грязью. Я захватил с собой столько теплой одежды, сколько смог унести, но у многих с этим было туго. На целый гарнизон из ста человек было всего двенадцать шинелей, они переходили от часового к часовому, и у большинства бойцов было всего по одному одеялу. Одной холодной ночью я внес в свой журнал список взятой с собой одежды. Это представляет интерес, так как показывает, как много всего можно напялить на человеческое тело. Я носил теплое белье и кальсоны, фланелевую рубашку, два свитера, шерстяную куртку, кожаную куртку, вельветовые брюки, портянки, толстые носки, ботинки, плотный плащ, теплый шарф, кожаные рукавицы и шерстяную шапку. И все равно ужасно мерз. Правда, признаюсь, я плохо переношу холод.

Главным для нас были дрова. Все упиралось в то, что достать их было практически негде. Наша жалкая гора и в лучшие времена не отличалась обильной растительностью, а когда несколько месяцев назад ею завладели замерзающие ополченцы, все древесное, что было толще пальца, быстро сожгли. Если мы не ели, не спали, не дежурили и не были заняты хозяйственной деятельностью, то искали в долине за лагерем что-нибудь на топку. Из этого времени я помню только лазание по почти отвесным известняковым склонам, что вдрызг изнашивало ботинки, в жадных поисках даже тоненьких веточек. За пару часов трое мужчин могли набрать топлива на почти часовой обогрев блиндажа. Страстные поиски всего древесного превратили нас в

ботаников. Каждое растение мы оценивали прежде всего по его способности давать тепло. Растения из семейства вересковых и разные травы хороши для растопки, но сами сгорали за считаные минуты; дикий розмарин и мелкие кустики утесника поддерживали разгоревшийся огонь; карликовые дубки, меньше куста крыжовника, практически не горели. Замечательно разводить огонь сухим камышом, но он рос только на вершине слева от нашего лагеря, а добираясь туда, можно было попасть под огонь противника. Если фашистские пулеметчики замечали тебя, то осыпали градом пуль. Обычно они целились высоко, и пули пролетали над головой, словно птицы, но иногда они с треском ударяли в известняк и даже откалывали куски в непосредственной от тебя близости, так что приходилось припадать к камню лицом. И все же поиски камыша не прекращались – ничто не могло укротить желание согреться.

В сравнении с холодом все остальные неудобства отступали на второй план. Конечно, все мы были постоянно грязные. Воду, как и провизию, привозили на мулах из Алькубьерре, и на каждого человека приходилось около кварты в день. Вода была отвратительная, вряд ли прозрачнее молока. Теоретически она предназначалась только для питья, но я всегда похищал мисочку воды для умывания. Один день я умывался, на другой – брился. Одновременно сделать это было нельзя. По лагерю разносилась омерзительная вонь, а за бруствером все было загажено. Некоторые ополченцы регулярно испражнялись прямо в траншее, и ходить в темноте возле таких кучек было неприятно. Но к грязи я относился в целом терпимо. Люди придают чистоте слишком большое значение. Удивительно, как быстро привыкаешь обходиться без носового платка и есть из миски, которую используешь также и для умывания. Через пару дней не составляет труда и спать в одежде. Ведь невозможно раздеться и тем более снять ботинки, если знаешь, что в случае атаки тебя разбудят ночью. За восемьдесят ночей я снимал верхнюю одежду лишь три раза, зато иногда мне удавалось раздеваться днем. Для вшей было еще холодновато, но крысы и мыши имелись в большом количестве. Принято считать, что крысы и мыши не водятся в одном месте, но, поверьте, водятся, если пищи хватает на тех и других.

В других отношениях нам жилось не так уж и плохо. Кормили нас прилично, и вина было вдоволь. Сигареты по-прежнему выдавали по пачке в день, спички – через день, и мы даже получали свечки. Они, правда, были тонюсенькие, как на рождественском пироге, и мы предположили, что их умыкнули из церкви. Каждому блиндажу отпускали ежедневно трехдюймовую

свечу, которая сгорала примерно за двадцать минут. В то время еще была возможность покупать свечи, и я закупил несколько фунтов. Позже нехватка спичек и свечей превратили жизнь в ад. Трудно осознать важность таких вещей, пока они есть. Например, когда бойцов поднимают по тревоге и каждый пытается нащупать свою винтовку, наступая при этом на лицо соседа, зажженная спичка может спасти жизнь. Каждый ополченец имел при себе трут и несколько ярдов фитиля, смазанного горючим веществом. После винтовки это была самая необходимая вещь. Преимущество этого устройства в том, что его можно зажечь при ветре, однако он только тлеет, и костер с его помощью разжечь нельзя. Когда спички на исходе, единственный способ добыть огонь заключается в том, чтобы извлечь порох из патрона и дотронуться до него тлеющим фитилем.

Мы вели странную жизнь – странную жизнь на войне, если это можно назвать войной. Ополченцы громко выражали недовольство бездействием и желали знать, почему им не разрешают перейти в наступление. Однако было абсолютно ясно, что сражения не будет еще долго, если только его не начнет неприятель. При очередном инспектировании Джордж Копп был откровенен с нами: «Это не война… Это комическая опера с редкими смертельными случаями». Кстати, у затишья на Арагонском фронте были политические причины, о которых я ничего в то время не знал, хотя чисто военные трудности – не связанные с малочисленностью ополченцев – были очевидны каждому.

Начать с природы страны. Передовые позиции – и наши, и фашистов – находились в местах малодоступных, подобраться к ним можно было, как правило, только с одной стороны. А если еще выкопать траншеи, то такие места станут и вовсе недоступны для пехоты – разве что количество бойцов будет несметным. С нашей позиции, как и со многих других по соседству, дюжина ополченцев с двумя пулеметами смогла бы противостоять целому батальону. Торча на вершинах гор, мы могли бы стать легкой добычей для артиллерии, но никакой артиллерии не было и в помине. Иногда я окидывал взором пейзаж и мечтал – и как страстно! – о парочке пушек. Тогда мы могли бы уничтожить вражеские позиции одну за другой с той же легкостью, с какой разбиваем молотком орехи. Но пушек не было. Фашистам иногда удавалось привезти из Сарагосы пушку или даже две и выпустить по нам несколько снарядов, но снарядов было мало, фашисты не успевали пристреляться, и снаряды, не причинив нам вреда, падали в пропасть.

Против неприятельских пулеметов, не имея артиллерии,

было три способа противостояния: окопаться на безопасном расстоянии – примерно в четырехстах футах; пойти в открытое наступление и сложить головы; или время от времени делать ночные вылазки, что не изменит общую ситуацию. Собственно, альтернатива была: бездействие или самоубийство.

Помимо этого, у нас почти полностью отсутствовало военное снаряжение. Трудно вообразить, насколько плохо в то время было вооружено ополчение. Любое военное училище в Англии больше похоже на современную армию, чем ополчение ПОУМ. Убожество нашего оружия было столь вопиющим, что заслуживает подробного рассказа.

На нашем участке фронта вся артиллерия сводилась к четырем минометам с пятнадцатью снарядами для каждого орудия. Но слишком дорогие, чтобы из них стрелять, все они хранились в Алькубьерре. На пятьдесят человек приходилось примерно по одному пулемету, все достаточно старые, но на триста-четыреста метров стреляли достаточно точно. Кроме этого, были только винтовки, и все по большей части – железный лом. В употреблении находились три типа винтовок. Во-первых, «длинный маузер». Редко встречались экземпляры «маузера» не старше двадцати лет, польза от прицела у них была – как от сломанного спидометра; кроме того, большинство винтовок безнадежно проржавело, и, по сути, только одна из десяти на что-то годилась.

Был еще «короткий маузер», или «мушкетон», оружие, преимущественно применявшееся в кавалерии. Эта винтовка пользовалась большой популярностью: она меньше весила, не мешала в траншее, была относительно новой и выглядела надежнее. Но на самом деле она была почти бесполезна. Винтовка состояла из повторно собранных частей, ни один затвор не подходил к ней идеально, и у трех четвертей стрелявших после пяти выстрелов ее заклинивало.

Было также несколько «винчестеров». Из них приятно стрелять, но они отличаются неточностью, а так как обойма в них не предусмотрена, то за раз можно сделать лишь один выстрел. Боеприпасов было так мало, что каждому бойцу на линии фронта выдавали по пятьдесят патронов, и большинство из них ни к черту не годилось. Вторично заправленные испанские патроны могли испортить даже отличную винтовку. Мексиканские были лучше, и потому их берегли для пулеметов. Отличные немецкие боеприпасы поступали к нам только от пленных и дезертиров, так что их было немного. Я всегда хранил при себе на крайний случай обойму немецких или мексиканских патронов. Но на практике в критическом положении я редко стрелял – боялся, что

чертова штуковина откажет, а еще стремился сберечь хоть один патрон, который выстрелит.

У нас не было касок, штыков, револьверов или пистолетов, граната была одна на пять-десять человек. Эта граната, известная как ФАИ-граната[14], внушала ужас в действии; создали ее анархисты в самом начале войны. В ее основе лежал принцип гранаты Миллса, только рукоятка удерживалась не чекой, а лентой. Вы разрывали ленту, и тут надо было как можно быстрее отделаться от гранаты. Эти гранаты называли «справедливыми»: они убивали не только того, в кого их бросали, но и того, кто бросал. Существовали и другие типы гранат, они были примитивнее, но не такие опасные – для гранатометчика, я имею в виду. Только в конце марта я увидел нормальную гранату.

Но помимо оружия, у ополченцев не хватало и других – пусть и не столь важных – вещей, необходимых на войне. Например, у нас не было карт или чертежей. В Испании никогда не проводили полноценную топографическую съемку, и единственная детальная картина этой местности была на старых военных картах, почти все из которых находились в руках фашистов. У нас не было ни дальномеров, ни подзорных труб, ни перископов, ни полевых биноклей (кроме нескольких частных), ни сигнальных ракет Вери, ни проволокореза, ни прочих инструментов оружейников, даже чистящих средств в нужном количестве не было. Испанцы, похоже, никогда не слышали о шомполе и с удивлением смотрели на то, что я соорудил. А так, чтобы почистить винтовку, надо было отдать ее сержанту, тот чистил ее длинным латунным пробойником, который был всегда погнут и царапал нарезы. Отсутствовало даже ружейное масло. Если оказывалось под рукой оливковое, я смазывал ружье им, а в другое время прибегал к вазелину, кольдкрему и даже к свиному салу. Кроме того, у нас не было фонарей или карманных фонариков – в то время электрические фонарики еще не появились на нашем участке фронта, купить их можно было только в Барселоне, и то с трудом.

Время шло, иногда в горах грохотала бессистемная стрельба, а я со все более возрастающим скептицизмом задавался вопросом: может ли случиться нечто такое, что внесет немного жизни или, скорее, немного смерти в эту странную войну? Мы боролись с пневмонией, а не с неприятелем. Если траншеи расположены в пятистах ярдах друг от друга, убить можно только по случайности. Конечно, бывали несчастные случаи, но в основном по собственной вине. Если не ошибаюсь, первые пять раненых, увиденных мной в Испании, пострадали от собственных ружей – не намеренно, конечно, а по неосторожности или из-за неполадок с оружием. Опасность таилась в самих изношенных винтовках. У

некоторых была отвратительная особенность неожиданно выстреливать, если приклад легко задевал землю. Я знал человека, который таким образом прострелил себе руку. А в темноте новобранцы вечно палили друг в друга. Однажды вечером, когда только начинало смеркаться, часовой выстрелил в меня с расстояния двадцати ярдов, но сумел на ярд промахнуться. Один бог знает, сколько раз подобная испанская меткость спасла мне жизнь! В другой день я отправился патрулировать в туманную погоду, обстоятельно предупредив об этом начальника караула. Возвращаясь, я споткнулся о куст, испуганный часовой во весь голос заорал, что на подходе фашисты, и я имел удовольствие услышать, как начальник караула приказал открыть огонь в мою сторону. Естественно, я упал на землю, и пули пролетели надо мной, не причинив вреда. Ничто не может убедить испанца, особенно молодого испанца, что с огнестрельным оружием не шутят. Однажды, много позже, я фотографировал пулеметчиков с их пулеметом, который был нацелен прямо на меня.

– Только, чур, не стрелять, – сказал я шутливо, наводя фотокамеру.

– Конечно, какая может быть стрельба!

Но уже в следующее мгновение раздался страшный грохот, и пули пролетели так близко от моего лица, что частицы кордита обожгли щеку. Выстрел случился непреднамеренно, но пулеметчики сочли это хорошей шуткой. А ведь всего несколько дней назад они были свидетелями, как погонщика мула случайно застрелил партийный представитель, который, дурачась с автоматом, всадил в легкие погонщика пять пуль.

Тогда в армии любили использовать сложные пароли, что тоже представляло некоторую опасность. Это были утомительные двойные пароли, в которых на одно слово надо было отвечать другим. Обычно подбирали слова возвышенного и революционного характера, вроде *Cultura – progreso* или *Seremos – invencibles*[15], и часто безграмотным часовым было трудно запомнить эти напыщенные слова. Помнится, одной ночью пароль был *Cataluña – eroica*[16], и круглолицый крестьянский парень по имени Хайме Доменеч подошел ко мне с озабоченным лицом и попросил объяснить, что означает *eroica.*

– То же самое, что и *valiente*[17], – ответил я.

Чуть позже он споткнулся в темноте в траншее и сразу услышал голос часового:

– *Alto! Cataluña!*

– *Valiente!* – заорал Хайме, уверенный, что отвечает правильно.

Бах!

Часовой, к счастью, промазал. В этой войне при малейшей возможности все промахиваются.

Глава 4

Я уже провел три недели на передовой, когда ИЛП[18] послала в Испанию группу из двадцати-тридцати человек. Они прибыли в Алькубьерре, и нас с Уильямсом отправили туда же с целью собрать англичан в одно подразделение. Новая «позиция» была в Монте-Оскуро, на несколько миль западнее предыдущей, вблизи Сарагосы.

«Позиция» располагалась высоко, на остром известняковом хребте, а блиндажи тянулись горизонтально по крутому склону, как гнезда береговых ласточек. Внутри глубоко вырытых блиндажей было темно, хоть глаз выколи, а потолки такие низкие, что даже на коленях толком не встать – не то что во весь рост. На вершинах слева от нас стояли еще два лагеря ПОУМ, один являлся предметом зависти всей передовой: там работали поварихами три женщины. Эти женщины не блистали красотой, и все же руководство сочло необходимым поместить этот лагерь подальше от мужчин с других «позиций». В пятистах ярдах справа от нас, у изгиба дороги на Алькубьерре, находился пост ПСУК. Именно там дорога меняла хозяев. Вечерами можно было видеть свет фар грузовиков, везущих нам продовольствие из Алькубьерре, и одновременно свет от фашистских машин, идущих из Сарагосы. Можно было видеть и саму Сарагосу в двенадцати милях к юго-западу – тонкую цепочку огоньков, похожих на святящиеся иллюминаторы парохода. Правительственные войска смотрели на нее отсюда с августа 1936 года, смотрят и теперь.

Нас было около тридцати человек, включая одного испанца (Рамона, шурина Уильямса), и еще дюжина испанских пулеметчиков. За исключением одного-двух неизбежных зануд, всем известно, что война притягивает разных подонков – англичане оказались хорошей командой и в физическом, и в умственном отношении. Пожалуй, лучшим из них был Боб Смилли – внук знаменитого шахтерского лидера, его кончина в Валенсии в более позднее время была тяжелой и бессмысленной. В пользу испанского характера говорит тот факт, что испанцы хорошо ладят с англичанами, несмотря на языковой барьер. Мы выяснили, что все испанцы знают два английских выражения. Одно их них: «о'кей, бэйби», а другое барселонские шлюхи говорят при общении с английскими матросами, боюсь, наборщикам не хватит духу его напечатать.

На линии фронта все по-прежнему было без перемен: только случайные выстрелы и, очень редко, треск фашистских минометов, услышав который все дружно бежали в высоко

расположенную траншею, чтобы увидеть, где именно разорвутся снаряды. Теперь враг был немного ближе – на расстоянии трехсот-четырехсот метров. Ближайшее расположение фашистов было как раз напротив нашего, и амбразуры пулеметного гнезда постоянно искушали ополченцев, переводящих на них патроны. Фашисты редко стреляли из винтовок, зато, если кто-то из наших высовывался, целенаправленно били по нему пулеметным огнем. И все же прошло дней десять, а то и больше, прежде чем мы потеряли одного человека. Среди противостоящих нам войск были преимущественно испанцы, но дезертиры доносили, что там есть и несколько немецких сержантов. А еще недавно были и мавры – как, наверное, мучились от холода эти бедолаги! – на ничейной земле лежал убитый мавр, ставший одной из достопримечательностей этой местности. Так мы узнали об их присутствии на фашистской позиции. Слева, в миле или двух от нас, линия фронта прерывалась, там была густо поросшая лесом низина, не принадлежавшая ни нам, ни фашистам. И мы, и они устраивали там дневное патрулирование. Неплохое развлечение в духе бойскаутов, хотя лично я никогда не видел фашистский патруль ближе семисот метров. Впрочем, если долго ползти на животе, можно приблизиться к фашистскому лагерю почти вплотную и даже увидеть фермерский дом с монархистским флагом, где располагался неприятельский штаб. Иногда мы делали по нему несколько выстрелов и быстро уползали в укрытие, чтобы пулеметчики нас не нащупали. Надеюсь, нам удалось разбить несколько окон, однако штаб находился от нас в добрых восьмистах метрах, а с нашими винтовками не было уверенности, что мы на таком расстоянии попадем даже в дом.

Погода по большей части стояла холодная и ясная, иногда в середине дня показывалось солнце, но оно не грело. На склонах то тут, то там проклевывались зеленые побеги диких крокусов или ирисов; весна явно вступала в свои права, но делала это весьма неспешно. Ночи стали холоднее обычного. Выходя на дежурство в предрассветные часы, мы разгребали угли, сохранившиеся от вечернего костра, и вставали на них. Это было плохо для обуви, но хорошо для ног. Иногда великолепное зрелище рассвета в горах побуждало поскорее подняться даже в такое тяжелое время. Я не люблю горы, не люблю даже с живописной точки зрения. Но бывало, что утренняя заря, занимавшаяся позади нас среди горных хребтов, первые узкие золотые лучи, пронзавшие тьму, как мечи, нарастающий свет и наконец карминное море, разливавшееся повсюду, стоили того, чтобы ими любоваться, даже если ты не спал всю ночь, и ноги твои окоченели до колен, и в голове бродили мрачные мысли, что

нет никакой надежды на еду, по крайней мере, еще три часа. За время этой войны я встречал восход солнца чаще, чем за всю мою предшествующую жизнь, и, надеюсь, за всю оставшуюся – тоже.

Мы испытывали недостаток в людях, что для всех означало долгие дежурства и приводило к нарастающей усталости. Мне тоже стало не по себе от постоянного недосыпа, чего нельзя избежать даже в военное затишье. Помимо дежурств и патрулирования, по ночам нас постоянно поднимали по тревоге, но даже без этого – разве можно хорошо спать в мерзкой земляной норе, где ноги сводит от холода? За первые три-четыре месяца пребывания на фронте я вряд ли насчитаю больше дюжины дней совсем без сна, но, с другой стороны, ночей, когда бы я спал нормальное время, тоже не больше. Впрочем, результат такого режима не так уж плох, как можно ожидать. Конечно, понемногу тупеешь, лазать по горам становится труднее, но в целом самочувствие хорошее и аппетит пробуждается зверский – еще какой зверский! Вся еда кажется баснословно вкусной – даже неизменная фасоль, которую в Испании все со временем начинают ненавидеть. Воду для нас (если эту жидкость можно назвать водой) привозили издалека на мулах или на маленьких измученных осликах. По непонятной причине арагонские крестьяне хорошо обращались с мулами и отвратительно – с осликами. Если ослик упирался и не шел, считалось обычным делом пнуть его в яички.

К нам перестали поступать свечи, и спички были на исходе. Испанцы научили нас, как из консервных банок с помощью оливкового масла, патронной обоймы и тряпья делать лампы. Когда у тебя было оливковое масло (что случалось не часто), сооруженная конструкция мерцала коптящим пламенем, в четыре раза более тусклым, чем свеча, и все же достаточным, чтобы разглядеть винтовку.

Надежды на настоящее сражение почти не осталось. Когда мы уходили из Монте-Посеро, я пересчитал оставшиеся патроны и выяснил, что почти за три недели выстрелил по врагу всего три раза. Считается, что на убийство одного человека нужна тысяча пуль; выходит, мне с такой скоростью потребуется двадцать лет, чтобы уложить моего первого фашиста. В Монте-Оскуро мы стояли ближе к неприятелю и стреляли чаще, но я нисколько не сомневаюсь, что ни в кого не попал. Откровенно говоря, на этом участке фронта и на этом этапе войны реальным оружием была не винтовка, а мегафон. При невозможности убить врага оставалось только его ругать. Этот метод ведения войны настолько необычен, что на нем стоит остановиться подробнее.

Расстояние между позициями позволяло докричаться друг до

друга, и поэтому перекличка между траншеями была довольно интенсивная. «*Fascistas – maricones!*» — неслось из нашей. *«Viva España! Viva Franco!»*[19] – отвечали фашисты, а узнав, что среди ополченцев есть англичане, прибавляли: «Англичане, катитесь домой! Нам здесь иностранцы не нужны». В правительственном лагере стали регулярно устраиваться сеансы пропагандистского ора с целью подорвать моральные устои противника. При каждом подходящем случае бойцы, обычно пулеметчики, выбирались для исполнения этого долга и обеспечивались мегафонами. Обычно они выкрикивали заранее составленные тексты, полные революционного задора, где говорилось, что солдаты, воюющие за фашистов, – наемники международного капитализма, идущие против собственного класса, и так далее. Солдат призывали перейти на нашу сторону. Все это повторялось изо дня в день, одни люди сменяли других, иногда агитация продолжалась и ночью. Несомненно, это давало некоторый результат, все соглашались, что тонкая струйка дезертиров из фашистского лагеря частично проистекала из этого источника. Представьте себе замерзающего на посту несчастного часового – возможно, социалиста или анархиста, призванного на военную службу против его воли, – несущийся из темноты призыв «Не иди против своего класса!» не может не произвести на него впечатления. Встанет вопрос: дезертировать или нет? Но подобные действия не вписываются в английскую концепцию ведения войны. Признаюсь, я сам был в шоке. Не драться с врагом, а переманивать на свою сторону – каково! Теперь я думаю, что это был вполне разумный маневр. В окопной войне, не имея артиллерии, трудно нанести неприятелю удар, не получив в ответ такой же. Если можно вывести какое-то число людей из военных действий, склонив их к дезертирству, тем лучше: дезертиры полезнее трупов – они дают нужную информацию. Но поначалу такой подход смутил нас, нам казалось, что испанцы недостаточно серьезно относятся к своей войне. Большим артистом в деле переклички оказался один из бойцов ПСУК. Вместо простого выкрикивания революционных лозунгов он начинал рассказывать фашистам, насколько лучше мы питаемся. Наш рацион при этом он заметно приукрашивал. «Хлеб с маслом!» – гремел в пустом пространстве его голос. «У нас хлеб с маслом не переводится. Такие аппетитные бутерброды с маслом!» Не сомневаюсь, что он, как и все мы, неделями, а то и месяцами не видел масла, но в эту холодную ночь не у одного фашиста слюнки потекли при мысли о хлебе с маслом. Потекли они и у меня, хотя я и знал, что он лжет.

Однажды в феврале мы увидели в небе фашистский аэроплан.

Как положено, вытащили наружу пулемет, задрали дуло, а сами легли на спину, чтобы лучше видеть цель. На наше изолированное от других укрепление не стоило тратить бомбы, и потому редкие фашистские аэропланы обходили нас стороной, чтобы не попасть под пулеметный обстрел. Но в этот раз аэроплан пролетел прямо над нами на достаточной, недосягаемой для пулеметов высоте, и из него посыпались не бомбы, а белые блестящие листочки, крутящиеся на ветру. Несколько упало рядом с нами. Это были экземпляры фашистской газеты «Херальдо де Арагон», в которой сообщалось о сдаче Малаги.

Той ночью фашисты предприняли неудавшуюся атаку. Я, полумертвый от усталости, как раз валился спать, когда над головой засвистели пули и кто-то крикнул, заглянув в блиндаж: «Нас атакуют!» Я схватил винтовку и помчался на свой пост, находившийся на вершине укрепления рядом с пулеметом. Кромешную тьму разрывал адский шум. Думаю, в нас палили из пяти пулеметов, не меньше, и еще разорвалось несколько бомб, глупейшим образом брошенных фашистами за свои брустверы. Был полный мрак. В долине слева от нас я видел зеленоватые вспышки ружейных выстрелов, там небольшая группа фашистов, возможно, совершавших патрулирование, тоже примкнула к атаке. Вокруг в темноте со свистом пролетали пули. Несколько снарядов упали недалеко от нас, но никого не задели, и, что типично для этой войны, большинство из них не разорвалось. Однако мне стало не по себе, когда в нашем тылу сверху заработал еще один пулемет – впоследствии оказалось, что его доставили, чтобы нас поддержать, но тогда я решил, что мы в окружении. В результате наш пулемет заело, что происходило всегда, когда мы стреляли нашими испорченными патронами, а шомпол затерялся в темноте. Оставалось одно: неподвижно стоять и ждать, когда тебя пристрелят. Испанские пулеметчики считали ниже своего достоинства прятаться от пуль, более того, они сознательно открывались, и мне приходилось вести себя так же. Эта перестрелка была для меня интересным опытом. Строго говоря, я впервые оказался под огнем и, к своему стыду, здорово перепугался. Я заметил, что под сильным огнем такие ощущения переживаешь всегда – не столько оттого, что тебя могут ранить, сколько оттого, что не знаешь, куда именно тебя ранят. Из-за того, что ты постоянно думаешь, куда угодит пуля, твое тело обретает какую-то неприятную чувствительность.

Часа через два стрельба уменьшилась и вскоре совсем прекратилась. За это время мы потеряли одного бойца. Фашисты вытащили пару пулеметов на ничейную землю, но сохраняли достаточную дистанцию и не предпринимали попыток брать

штурмом наши окопы. То, что происходило, даже нельзя было назвать атакой, они просто переводили патроны и шумно кричали, празднуя взятие Малаги. Главное, что извлек я из этого происшествия: надо недоверчиво относиться к военным новостям в прессе. Ведь через пару дней в газетах и по радио сообщили о грандиозной атаке с кавалерией и танками (это по отвесному-то горному склону!), которую отбили геройские англичане.

Мы не поверили фашистским листовкам, говорившим о падении Малаги, но на следующий день эти сведения пришли из более достоверных источников, а дня через два их признали официально. Мало-помалу стала известна вся постыдная история: город был сдан без единого выстрела, и ярость вошедших в город итальянцев обрушилась не на покинувших город солдат, а на несчастное мирное население – некоторых преследовали и обстреливали на протяжении сотни миль. Эта новость вызвала негодование на передовой. Неизвестно, что произошло на самом деле, но все в ополчении не сомневались, что тут не обошлось без предательства. Так я впервые услышал о возможных предательствах и внутренних разногласиях. Это посеяло в моем сознании первые смутные сомнения относительно этой войны, хотя до этого казалось абсолютно ясным, кто прав, а кто виноват.

Мы покинули Монте-Оскуро в середине февраля, откуда вместе с остальными частями ПОУМ отправились в распоряжение армии, окружившей Уэску. Пятьдесят миль нас везли в грузовиках по неприветливой равнине, где подрезанные виноградные лозы еще не пустили почки, а побеги озимого ячменя только пробивались сквозь комковатую почву. В четырех километрах от наших новых траншей сверкала и переливалась Уэска, словно маленький кукольный городок. Несколькими месяцами раньше, когда взяли Сиетамо, генерал, командующий правительственными войсками, весело пообещал: «Завтра мы будем пить кофе в Уэске». Но вышло так, что он ошибся. В многочисленных атаках было пролито море крови, но город так и не пал, а фраза «Завтра будем пить кофе в Уэске» стала у армейских притчей в языцех. Если когда-нибудь еще поеду в Испанию, обязательно выпью чашечку кофе в Уэске.

Глава 5

До конца марта к востоку от Уэски ничего не происходило – почти в буквальном смысле слова. От врага мы находились примерно в километре и двухстах метрах. Когда фашистов загнали в Уэску, республиканская армия, удерживающая эту часть линии фронта, не проявляла особого усердия в наступлении, образовав своего рода карман. Позднее ей пришлось-таки перейти в наступление – нелегкое дело под огнем противника, – но пока враг будто не существовал, нас больше заботило, как бы согреться и хорошо поесть. В этот период происходили очень интересные для меня вещи, и я расскажу о них чуть позже. Но сейчас, если я попытаюсь дать представление о внутренней политической ситуации в республиканской среде, это поможет точнее передать порядок событий.

Поначалу я игнорировал политическую сторону войны, и только потом она привлекла мое внимание. Если вам не интересны кошмары партийной политики, пожалуйста, пропустите этот кусок. Именно из таких соображений я стараюсь выделить политические размышления в отдельные главы. Но в то же время невозможно писать об испанской войне только с армейской точки зрения. Прежде всего это была политическая война. Ни одно событие в ней – во всяком случае, в течение первого года – не будет понятно, если не принимать во внимание внутрипартийную борьбу в правительственных кругах.

Приехав в Испанию, я какое-то время не то что не интересовался политической ситуацией, а вообще ничего о ней не знал. Идет война – вот все, что мне было известно, и я понятия не имел, что это за война. Если б меня спросили, с какой целью я вступил в ополчение, я бы ответил: «Бороться с фашизмом», а если б поинтересовались, за что именно я воюю, ответил бы: «За общее благо». Я принял версию изданий «Ньюс кроникл» и «Нью стейтсмен», где говорилось, что идет борьба за цивилизацию с маньяками-мятежниками во главе с полковником Блимпом[20], действующим по указке Гитлера. Революционная атмосфера Барселоны меня захватила, но я не предпринял никаких попыток разобраться в ситуации. Меня правда несколько раздражал калейдоскоп политических партий и профсоюзов со скучными названиями – ПСУК, ПОУМ, ФАИ, СНТ[21], УГТ[22], ХСИ, ХСУ, АЛТ. На первый взгляд казалось, что Испания помешана на аббревиатурах. Я знал, что состою в объединении ПОУМ (в это ополчение я вступил, потому что прибыл в Барселону с рекомендациями от лейбористской партии), но даже не

подозревал, что между политическими партиями республиканцев есть серьезные расхождения. В Монте-Посеро мои сподвижники сказали, указывая на «позицию» слева от нас: «Там социалисты». «А разве мы все не социалисты?» – озадаченно спросил я. Мне казалось большой глупостью, что люди, рискующие своей жизнью, принадлежат к разным партиям. «Почему бы не оставить этот политический треп и не сосредоточиться целиком на войне?» Эта общепризнанная антифашистская позиция усердно распространялась английскими газетами главным образом для того, чтобы люди не задумывались над подлинной природой этой борьбы. Но в Испании, особенно в Каталонии, такую позицию нельзя было поддерживать бесконечно долго. Каждый, пусть и против своего желания, в конце концов принимал какую-нибудь сторону. Ведь даже если тебе безразличны разные политические партии и их несовместимые линии, нельзя не понимать, что в их противостояние вовлечена и твоя судьба. Будучи ополченцем, ты воюешь против Франко и в то же время являешься пешкой в борьбе двух политических теорий. Когда я выискивал дрова на горном склоне, задаваясь вопросом, действительно ли идет война или все это измышления «Ньюс кроникл», или увертывался от пулеметных очередей коммунистов во время беспорядков в Барселоне, или бежал из Испании, преследуемый полицией, – все это происходило со мной, потому что я был ополченцем ПОУМ, а не ПСУК. Вот какова разница между двумя аббревиатурами!

Чтобы понять расстановку сил в республиканском лагере, надо вспомнить начало войны. Когда она вспыхнула 18 июля, каждый европейский антифашист почувствовал прилив надежды. Наконец демократия преградила путь фашизму. Ведь долгие годы так называемые демократические страны уступали фашизму одну позицию за другой. С их молчаливого согласия японцы творили что хотели в Маньчжурии. Пришедший к власти Гитлер тут же расправился со всеми политическими оппонентами. Муссолини бомбил абиссинцев, в то время как пятьдесят три страны (кажется, их было пятьдесят три) ханжески его поругивали. Но когда Франко попытался свергнуть умеренно левое правительство, испанский народ неожиданно восстал. Казалось – возможно, так и было – наступил поворотный момент.

Однако некоторые стороны не были учтены общественностью. Начать с того, что Франко нельзя однозначно сравнивать с Гитлером или Муссолини. Он поднял военный мятеж, поддержанный аристократией и церковью, целью которого было, особенно вначале, не утверждение фашизма, а реставрация феодализма. Так Франко восстановил против себя не только рабочий класс, но и некоторые слои либеральной буржуазии – то

есть тех самых людей, которые поддерживают фашизм, когда он обретает более современную форму. Еще важнее то, что испанский рабочий класс оказывал сопротивление Франко не во имя «демократии» и статус-кво – как, возможно, было бы в Англии, – нет, это сопротивление сопровождалось – можно даже сказать, было – революционным бунтом. Крестьяне захватывали землю, профсоюзы взяли под свой контроль почти весь транспорт, церкви громили, а священников выбрасывали на улицу или убивали. «Дейли мейл», поддерживая католическую церковь, в то же время не гнушалась представить Франко патриотом, освобождающим свою страну от орды «красных злодеев».

В первые месяцы войны настоящим противником Франко было не столько правительство, сколько профсоюзы. На возникший мятеж организованные городские рабочие ответили всеобщей стачкой и потребовали – а потом с боем взяли – оружие из национальных арсеналов. Если б не их спонтанные и независимые действия, вполне возможно, что Франко не встретил бы никакого сопротивления. Полной уверенности в этом нет, но поразмышлять об этом стоит. Правительство не предприняло, по сути, никаких мер для предотвращения мятежа, хотя его можно было предвидеть, и когда грянул гром, оно действовало до такой степени вяло и нерешительно, что за один день пришлось сменить трех премьеров.[23] Более того, единственный шаг, который мог переломить ситуацию, – вооружение рабочих, был предпринят неохотно и то после шумных народных протестов. Наконец оружие раздали, и в больших городах восточной Испании фашисты потерпели крупное поражение от объединенных сил – вооруженных рабочих и тех воинских частей, которые остались верны республике. Такой пыл в борьбе мог исходить только от людей, преследовавших революционные цели, они верили, что сражаются за нечто большее, чем статус-кво. Говорят, что в нескольких центрах сопротивления за один день на улицах погибли три тысячи человек. Мужчины и женщины, вооруженные одними только динамитными шашками, заполняли площади и брали приступом каменные здания, охраняемые обученными пулеметчиками. Пулеметные гнезда, расставленные фашистами в стратегических точках, вдребезги сносились такси на скорости шестьдесят миль в час. Даже если не знать о захватах земли крестьянами, о создании местных Советов и так далее, можно понять, что анархисты и социалисты, главная опора сопротивления, затеяли эти беспорядки не ради сохранения капиталистической демократии, которую они, особенно анархисты, считали централизованной партией по обману трудящихся.

Пока в руках рабочих было оружие, они не собирались сдаваться. (Подсчитано, что даже через год у анархо-синдикалистов Каталонии было 30 000 ружей.) Во многих местах крестьяне захватили поместья богатых, профашистски настроенных помещиков. Наряду с коллективизацией промышленности и транспорта, предпринимались попытки создать зачатки рабочего правительства в виде местных комитетов; рабочих патрулей, сменивших прежнюю полицию; рабочее ополчение на основе профсоюзов и так далее. Конечно, этот процесс был неоднородным, и в Каталонии он зашел дальше, чем где бы то ни было. Находились места, где местное управление почти не подверглось изменению, были и другие, работавшие совместно с революционными комитетами. Кое-где возникли независимые анархистские коммуны, некоторые просуществовали около года, а затем были насильственно упразднены правительством. В Каталонии в течение первых месяцев реальная власть находилась почти полностью в руках анархо-синдикалистов, которые контролировали большую часть промышленного производства. То, что началось тогда в Испании, было, по существу, не просто гражданской войной, а началом революции. Вот это зарубежная антифашистская пресса всячески замалчивала. Проблему сузили и определили как «фашизм против демократии», а революционный аспект происходящего сознательно скрывался. В Англии, где пресса более централизована, а читатель более доверчив, чем в других странах, существовали две версии испанской войны: одна принадлежит правому крылу и гласит: христианские патриоты против большевиков с обагренными кровью руками; другая – левому крылу: цивилизованные республиканцы против военного мятежа. Но главная проблема успешно утаивалась.

Этому было несколько причин. Прежде всего профашистская пресса распускала слухи о чудовищных злодеяниях республиканцев, а газетчики из лучших побуждений отрицали, что Испания становится «красной», считая, что тем самым помогают испанскому правительству. Но основная причина была не в этом: весь мир, кроме небольших революционных организаций, существующих во всех странах, был нацелен на предотвращение революции в Испании. В частности, коммунистическая партия, за которой стоял Советский Союз, резко высказалась против революции. Коммунисты утверждали, что на этом этапе революция обречена и стремиться надо не к государству рабочих, а к буржуазно-демократическому строю. Нет нужды объяснять, почему «либералы» из капиталистических стран заняли ту же позицию. Иностранный капитал инвестировал

большие деньги в испанскую экономику. Например, в Барселонскую железнодорожную компанию англичане вложили десять миллионов, а тем временем профсоюзы конфисковали в Каталонии весь транспорт. Если бы революция продолжилась, никто не получил бы компенсацию или – очень небольшую, но, если бы верх взяла капиталистическая республика, инвестиции были бы спасены. А так как революцию в любом случае нужно подавить, проще притвориться, что она и не начиналась. Таким образом, подлинное значение событий скрывалось, каждый переход власти от профсоюзов к центральному правительству подавался как необходимый шаг в военной реорганизации. Ситуация становилась все более любопытной. За пределами Испании немногие понимали, что там вершится революция, а внутри страны, напротив, никто в этом не сомневался. Даже газеты ПСУК. Издания, контролируемые коммунистами, и те, что в разной степени поддерживали антиреволюционную политику, дружно говорили о «нашей славной революции». А тем временем коммунистическая пресса в зарубежных странах вопила, что в Испании нет никаких примет революции, нет ничего – ни захвата фабрик, ни создания рабочих комитетов и так далее, а если что и было, то это не имело «никакого политического значения». Как пишет «Дейли уоркер» от 6 августа 1936 года, те, кто говорит о том, что испанский народ сражается за социальную революцию или за что-то другое, кроме буржуазной демократии, – «отъявленные лгуны». А с другой стороны, Хуан Лопес, член правительства Валенсии, объявил в феврале 1937 года, что «испанский народ проливает кровь не за демократическую республику и ее конституцию, существующую только на бумаге… а за революцию». Так что получается, что в число «отъявленных лгунов» входили члены правительства, на чьей стороне нам предлагали воевать. Некоторые из зарубежных антифашистских газет опустились до жалкого вранья, сообщая, что на церкви нападают только в том случае, когда те являются оплотом фашистских сил. На самом деле церкви грабили повсеместно, прекрасно понимая, что испанская церковь – существенная часть капиталистического порядка. За шесть месяцев я видел в Испании только две не разграбленные церкви, и до июля 1937 года церкви не открывали и не разрешали проводить в них богослужения; это не касалось лишь одной-двух протестантских церквей в Мадриде.

Но все это было только началом революции, которая так и не свершилась. Даже когда рабочие, особенно в Каталонии, а возможно, и повсюду, обладали достаточной силой, чтобы свернуть или полностью заменить правительство, они этого не сделали. Понятно, что они и не могли этого сделать, когда

Франко наступал им на пятки и его поддерживала часть среднего класса. Страна находилась на перепутье – могла развиваться как в направлении социализма, так и капитализма. Крестьяне захватили большую часть земли и, если перевес в войне не случился бы в пользу Франко, оставили бы ее себе; основное промышленное производство было коллективизировано и таким бы и сохранилось, если бы не восторжествовал капитализм. Все зависело от того, на чьей стороне будет победа. В начале войны можно было с полной определенностью сказать, что и Центральное правительство, и Генералитет Каталонии (полуавтономное каталонское правительство) представляли интересы рабочих. В правительство, возглавляемое Кабальеро, социалистом из левого крыла, входили министры, представлявшие УГТ (профсоюзы социалистов) и СНТ (профсоюзы синдикалистов, контролируемые анархистами). Генералитет Каталонии на какое-то время был практически заменен антифашистским Комитетом обороны[24], состоящим преимущественно из делегатов профсоюзов. Позже Комитет обороны был распущен, а Генералитет восстановлен и реформирован с тем, чтобы в него вошли представители профсоюзов и различных левых партий. С каждой последующей перестановкой правительство смещалось вправо. Сначала из Генералитета исключили ПОУМ; семь месяцев спустя на место Кабальеро поставили Негрина, социалиста из правого крыла; вскоре из правительства изгнали СНТ и УГТ; затем СНТ исключили из Генералитета. Таким образом, спустя год после начала войны и революции правительство уже целиком состояло из социалистов правого крыла, либералов и коммунистов.

Начавшийся крен в правую сторону датируется октябрем-ноябрем 1936 года, когда СССР стал поставлять правительству оружие и власть постепенно переходила от анархистов к коммунистам. Никто, кроме России и Мексики, не выразил желания помочь испанскому правительству, а Мексика по вполне понятным причинам не могла в большом количестве осуществлять поставки. В результате русские оказались в положении, когда могли диктовать условия. Мало сомнений в том, какими были эти условия: «Остановить революцию, или оружия больше не будет», мало сомнений и в том, что первый шаг против революционных элементов, исключение ПОУМ из Каталонского Генералитета, был сделан по приказу Советского Союза. Прямое давление всегда отрицалось русскими, но это не так уж и важно: коммунистические партии всех стран всегда руководствовались политикой Советского Союза, и именно коммунистическая партия выступила сначала против ПОУМ, а

потом против анархистов и возглавляемого Кабальеро крыла социалистов, а в конечном счете и против революционной политики. Как только в испанские события вмешался СССР, победа коммунистов была обеспечена. Начать с того, что помощь России оружием и то, что коммунистическая партия, особенно с появлением интернациональных бригад, казалась способной выиграть войну, сильно повысило престиж коммунистов. Во-вторых, русское оружие распределялось через коммунистическую и дружественные ей партии, которые следили, чтобы политическим оппонентам перепадало как можно меньше оружия[25]. В-третьих, отказавшись от революционных целей, коммунисты привлекли к себе тех, кого пугали экстремисты. Например, легко было восстановить богатых крестьян против провозглашенной анархистами политики коллективизации. Численность партии возрастала не по дням, а по часам – в основном за счет среднего класса: лавочников, армейских офицеров, зажиточных крестьян и так далее.

Война обретала трехстороннюю направленность. Война против Франко продолжалась, но у правительства одновременно была и другая цель – вернуть себе ту власть, которая оставалась у профсоюзов. Это делалось посредством мелких акций – политики булавочных уколов, как кто-то выразился, и в целом весьма умно. Не предпринималось никаких очевидных контрреволюционных действий, и до мая 1937 года не было никакой нужды прибегать к силе. Рабочих всегда можно было усмирить, прибегнув к настолько банальному аргументу, что его не обязательно упоминать: «Если вы не сделаете вот это, это и еще это, мы проиграем войну». И каждый раз оказывалось, что из военных соображений надо было пожертвовать тем, что в 1936 году завоевали для себя рабочие. Но с такими аргументами не спорили: последнее, что хотели революционные партии, – это проиграть войну. Социализм и анархизм стали лишенными смысла словами. Анархисты – единственная революционная партия, достаточно большая, с которой приходилось считаться, теряла позиции одну за другой. Процесс коллективизации был остановлен, местные комитеты прикрыты, рабочий патруль отменен, вновь были призваны довоенные полицейские силы, значительно усиленные и мощно вооруженные, а промышленные предприятия, находившиеся под контролем профсоюзов, отобраны (один из примеров – телефонный узел Барселоны, захваченный еще в майских боях). И что самое важное – рабочее ополчение, созданное профсоюзами, постепенно распалось и влилось в Народную армию – аполитичную, частично на буржуазной основе, с разным жалованьем, привилегированной

кастой офицеров и так далее. При сложившихся обстоятельствах это имело решающее значение; в Каталонии такое случилось позже – там были сильные революционные партии. Единственной гарантией сохранения рабочими своих завоеваний было наличие у них военных подразделений. Развал ополчения происходил, как обычно, на фоне разговоров об усилении военной эффективности, никто не отрицал того, что нужна реорганизация армии. Можно было пойти по пути реорганизации ополчения, сделать его деятельность более результативной, оставив тем не менее под контролем профсоюзов, но изменения были задуманы с целью лишить анархистов собственной армии. Более того, демократический дух ополчения делал его рассадником революционных идей. Коммунисты это понимали и постоянно яростно нападали на ПОУМ и анархистские принципы равного жалованья для всех чинов. Шло повальное «обуржуазивание», сознательное разрушение эгалитарного духа первых месяцев революции. Все происходило так быстро, что люди, возвратившиеся в Испанию спустя несколько месяцев после первого приезда, не верили, что приехали в ту же страну: то, что недолгое время казалось государством рабочих, превращалось на глазах в обычную буржуазную республику с привычным разделением на богатых и бедных. К осени 1937 года так называемый социалист Негрин заявлял в своих публичных речах, что «мы уважаем частную собственность», а члены кортесов, покинувшие страну в начале войны из-за подозрений в фашистских симпатиях, возвращались в Испанию. Этот процесс легко понять, если вспомнить, что он ведет свое начало от временного союза, который фашизм в некоторых формах навязал буржуазии и рабочим. Этот союз, известный как Народный фронт, являлся, по сути, союзом врагов, и в нем с большой долей вероятности один из партнеров должен был проглотить другого. Но в испанской ситуации присутствовал один неожиданный момент, приведший к повсеместному непониманию в других странах: как случилось, что среди партий, поддерживающих правительство, коммунисты заняли вместо левой крайне правую позицию?

На самом деле это совсем не удивительно: ведь тактика коммунистической партии повсюду, особенно во Франции, дает ясно понять, что официальный коммунизм, пусть на какое-то время, должен рассматриваться как антиреволюционная сила. Политика Коминтерна подчинена (что простительно, учитывая международную обстановку) защите СССР, который связан системой политических альянсов. К примеру, союзник СССР – Франция, капиталистическая и империалистическая держава.

Этот союз мало что дает России, если капитализм во Франции занимает слабую позицию, поэтому французская компартия должна занимать антиреволюционную позицию. Это означает не только то, что теперь французские коммунисты маршируют под триколором и поют «Марсельезу», а еще и нечто более важное – прекращение активной агитации во французских колониях. Прошло меньше трех лет с тех пор, как Торез, секретарь французской коммунистической партии, заявлял, что французских рабочих нельзя обманом втянуть в войну с немецкими товарищами[26], а теперь он стал самым громкоголосым патриотом во Франции. Разгадка поведения коммунистической партии в любой стране заключается в том, в каком военном лагере – реальном или потенциальном – находится эта страна по отношению к СССР. Например, Англия еще не определила свою позицию, поэтому ее коммунистическая партия по-прежнему враждебна к национальному правительству и, по-видимому, противится перевооружению. Однако если Великобритания вступит в союз или найдет военное понимание с СССР, у английского коммуниста, как и у французского, не будет другого выбора, кроме как стать настоящим патриотом и империалистом, и этому есть предостерегающие знаки. В Испании на коммунистический курс, несомненно, повлиял тот факт, что Франция, союзник России, не приемлет в качестве соседа охваченную революцией страну и будет землю носом рыть, чтоб не допустить освобождения Испанского Марокко. «Дейли мейл» со своими рассказами о финансируемой Москвой красной революции ошибается даже больше обычного. На самом деле коммунисты как никто препятствовали развитию революции в Испании. Позже, когда испанскую политику уже определяли правые силы, коммунисты продемонстрировали желание пойти дальше либералов в поимке революционных лидеров[27].

Я попытался кратко обрисовать, как развивалась испанская революция в свой первый год, так как это может помочь разобраться в других ситуациях. Но я не хочу представить дело так, что в феврале у меня уже сложились те соображения, которые я изложил выше. Прежде всего события, которые пролили свет на многое, еще не произошли, и, кроме того, мои симпатии были несколько другими. Частично это связано с тем, что политическая сторона войны утомляет меня, и я, естественно, противостоял точке зрения, которую я слышал чаще всего, то есть точке зрения ПОУМ и ИЛП. Большинство англичан, среди которых я находился, состояли в ИЛП, только несколько из них – в СР, и почти все они разбирались в политике гораздо лучше меня. Во время затишья, когда в районе Уэски ничего не происходило, я

неделями присутствовал при политических спорах, которые практически никогда не кончались. Дискуссии о разногласиях партийных линий велись в продуваемом вонючем сарае фермерского дома, где мы стояли на постое; в душных темных блиндажах; морозными ночами у бруствера. У испанцев было то же самое, и главной темой большинства газет стала внутрипартийная борьба. И только глухой или слабоумный не уловил бы, какую позицию занимает каждая партия.

Что касается политической теории, то тут имели значение только три партии: ПСУК, ПОУМ и СНТ-ФАИ – последние две можно в целом назвать анархистскими. Первой я назвал ПСУК как самую значительную; именно она в конце концов одержала победу, да и раньше была на подъеме.

Необходимо объяснить, что, говоря о позиции ПСУК, всегда подразумевают позицию коммунистической партии. Изначально ПСУК – социалистическая партия Каталонии – была создана в начале войны путем слияния нескольких марксистских групп, включая Коммунистическую партию Каталонии, однако она не находилась целиком под коммунистическим контролем и была принята в члены Третьего Интернационала. Нигде в Испании не было формального объединения социалистов и коммунистов, однако взгляды коммунистов и правого крыла социалистов можно расценивать как идентичные. Грубо говоря, ПСУК была политическим органом УГТ, социалистических профсоюзов. Членами этих профсоюзов состояли полтора миллиона испанцев. В профсоюзах было много рабочих секций, но с началом войны туда влился большой поток представителей среднего класса: в эти ранние «революционные» дни самые разные люди считали нужным вступить в УГТ или СНТ. Эти два профсоюзные объединения по сути совпадали, но из двух СНТ с большей определенностью была организацией рабочего класса. Поэтому ПСУК являлась частично партией рабочих, а частично партией мелкой буржуазии – лавочников, служащих и зажиточных крестьян.

Позиция ПСУК, распространяемая коммунистической и прокоммунистической прессой по всему миру, была приблизительно такой:

«В настоящее время нет ничего важнее победы в войне, без этой победы все остальное теряет смысл. Сейчас не тот момент, когда стоит затевать разговоры о революции. Мы не можем оттолкнуть крестьян, навязав им коллективизацию, и не можем отпугнуть средний класс, который борется на нашей стороне. И, более того, ради успеха дела мы должны покончить с революционным хаосом. Вместо местных комитетов нам нужны

сильное центральное правительство и хорошо обученная, полностью оснащенная армия под единым командованием. Лучше ничего не делать, чем сохранять то, что осталось от рабочего контроля, и произносить трескучие революционные фразы – это не просто тормозящий момент, но даже контрреволюционный – он ведет к разобщению, а этим могут воспользоваться фашисты. На настоящем этапе мы сражаемся не за диктатуру пролетариата, а за парламентскую демократию. Тот, кто стремится перевести гражданскую войну в революционное русло, играет на руку фашистам и пусть не намеренно, но становится предателем».

Позиция ПОУМ кардинально расходилась со всем вышеизложенным, кроме, разумеется, необходимости победы в войне. ПОУМ относилась к тем диссидентским коммунистическим партиям, которые возникли за последние несколько лет во многих странах как результат противостояния сталинизму, выступающим за изменения, реальные или мнимые, в коммунистической политике. Частично ПОУМ состояла из бывших коммунистов, а частично из членов более ранней партии – Блока Рабочих и Крестьян. Из-за небольшой численности[28] ее влияние в основном ограничивалось Каталонией, а авторитет создавался за счет высокого процента политически сознательных членов. В Каталонии ее опорным пунктом была Лерида. ПОУМ не являлась объединением профсоюзов. Ополчение ПОУМ формировалось преимущественно из состава СНТ, но фактические члены партии в большинстве случаев принадлежали к УГТ. Однако только на СНТ ПОУМ оказывала какое-то влияние. Что касается позиции ПОУМ, то о ней говорят следующие строки:

«Смешно говорить, что буржуазная демократия противостоит фашизму. Буржуазная демократия, как и фашизм, – всего лишь иное название капитализма, и сражение с фашизмом от лица «демократии» означает, что одна форма капитализма идет против другой, причем в любой момент они могут поменяться местами. Единственно реальная альтернатива фашизму – власть рабочих. Если поставить меньшую задачу, вы или отдадите победу Франко, или впустите фашизм через черный ход. В то же время рабочим нужно крепко держаться за свои завоевания, если они в чем-то уступят этому наполовину буржуазному правительству, их обязательно обманут. Рабочее ополчение и полицейские силы должны сохраняться в теперешнем виде, и каждая попытка их обуржуазить должна пресекаться. Если рабочие не будут контролировать вооруженные силы, тогда вооруженные силы будут контролировать рабочих. Война и революция неразделимы».

Позицию анархистов определить не так легко. Во всяком

случае, широковещательное понятие «анархисты» включает в себя множество людей с весьма разными точками зрения. Крупное объединение союзов, образующих СНТ (Национальную конфедерацию труда), в которую входит около двух миллионов человек, имеет в виде политического органа ФАИ (Федерация анархистов Иберии), подлинно анархическую партию. Но даже членов ФАИ с отчетливым анархистским душком, как свой есть, может быть, почти у всех испанцев, нельзя назвать анархистами в полном смысле слова. Тем более что с начала войны они сместились в сторону социализма из-за обстоятельств, заставивших их участвовать в централизованной администрации и даже, нарушив свои принципы, войти в правительство. Тем не менее они кардинально отличались от коммунистов и, как и ПОУМ, стремились к власти рабочих, а не к парламентской демократии. Они принимали девиз ПОУМ: «Война и революция неразделимы», хотя не столь безапелляционно. Проще говоря, СНТ-ФАИ выступали за: 1. Непосредственный контроль рабочих за промышленным производством в определенной отрасли, например, в транспортной или в текстильной и так далее; 2. Управление посредством местных комитетов и сопротивление всем формам централизованного авторитаризма; 3. Бескомпромиссная враждебность по отношению к буржуазии и церкви. Последний пункт, хотя не четко обозначенный, был самым важным. Анархисты противопоставляли себя большинству так называемых революционеров в очень многих вещах, и хотя их принципы были довольно расплывчаты, но ненависть к привилегиям и несправедливости были неподдельными. С философской точки зрения коммунизм и анархизм – диаметрально противоположные категории. С практической – то есть избрания формы общества – разница в основном в акцентах, но они непреодолимы. Коммунисты ратуют за централизацию и эффективность, а анархисты за свободу и равенство. Анархизм пустил глубокие корни в Испании и, похоже, переживет коммунизм, когда русское влияние ослабеет. В первые два месяца войны именно анархисты сделали для спасения ситуации больше, чем остальные партии, а значительно позже анархистские ополченцы, несмотря на недисциплинированность, были, несомненно, лучшими бойцами среди испанских частей. Какое-то время, начиная с февраля 1937 года, у анархистов и ПОУМ было много точек соприкосновения для ведения совместных действий. Если бы анархисты, ПОУМ и левое крыло социалистов проявили здравый смысл и, с самого начала объединившись, проводили общую политику, течение войны могло бы быть другим. Но на раннем этапе, когда расстановка сил сложилась в пользу

революционных партий, это было невозможно. Между анархистами и социалистами было давнее взаимное недоверие; ПОУМ как марксистская партия скептически относилась к анархизму; а с точки зрения классического анархиста «троцкизм» ПОУМ был нисколько не лучше «сталинизма» коммунистов. Тем не менее коммунисты эти партии рассматривали в одном ключе. Когда ПОУМ присоединилась к кровавому майскому сражению в Барселоне, это объяснялось во многом стремлением поддержать СНТ, а позже, когда ПОУМ запретили, только анархисты подняли голос в ее защиту.

Итак, грубо говоря, расстановка сил была такая: на одной стороне находились СНТ-ФАИ и ПОУМ, а также та часть социалистов, что выступала за рабочую власть; на другой – правое крыло социалистов, либералы и коммунисты, стоящие за централизованное правительство и милитаризованную армию.

Легко понять, почему в то время я разделял коммунистический взгляд на ситуацию, а не позицию ПОУМ. У коммунистов были четкие практические цели – несомненно лучшая политика с точки зрения здравого смысла, когда планируешь только на несколько месяцев вперед. Что касается повседневной политики ПОУМ, пропаганды и так далее – это все никуда не годилось, иначе партия могла бы привлечь гораздо больше народу. И в довершение всего коммунисты – так мне казалось – активно вели войну, в то время как мы и анархисты теряли время. Тогда все так думали. Коммунисты набирали силу и возрастали численно, привлекая, с одной стороны, средний класс своим несогласием с революционерами, а с другой – тем, что только они, казалось, были способны победить в войне. Русское оружие и великолепная оборона Мадрида под руководством коммунистов сделала последних героями Испании. Как кто-то сказал, каждый русский самолет над нашими головами – коммунистическая пропаганда. Революционный пуризм ПОУМ, хотя я видел его логичность, казался мне безрезультатным. Ведь главное – выиграть войну.

Тем временем между партиями шла ожесточенная борьба – в газетах, в памфлетах, в плакатах, в книгах – всюду. В то время я чаще других читал «*La Batalla*»[29] и «*Adelante*»[30], газеты ПОУМ, и их придирчивые нападки на «контрреволюционную» ПСУК казались мне слишком самоуверенными и занудными. Позднее, подробнее ознакомившись с прессой ПСУК и коммунистов, я понял, что ПОУМ по сравнению со своими оппонентами являла собой образец порядочности. Помимо прочего, у ПОУМ было меньше возможностей. В отличие от коммунистов у партии не было выхода за рубеж, и внутри Испании она находилась в

невыгодном положении: цензура была в основном под контролем коммунистов, а это означало, что газеты ПОУМ, если в них находили крамолу, могли быть конфискованы или оштрафованы. Справедливости ради надо сказать, что хотя ПОУМ бесконечно проповедовала революцию и ее члены *ad nauseam*[31] цитировали Ленина, все же они не опускались до клеветы. И полемику вели по преимуществу в газетах. На больших цветных плакатах, предназначенных для широкой публики (плакаты важны в Испании, где большинство населения не умеет читать), они никогда не высмеивали своих оппонентов; эти плакаты были антифашистского или абстрактно революционного толка вроде песен ополченцев. Выпады коммунистов были совсем другими. Позднее я расскажу об этом подробнее. А сейчас я просто обозначу само направление коммунистических нападок.

На первый взгляд расхождения между коммунистами и ПОУМ были чисто тактического свойства. ПОУМ стояла за немедленную революцию, коммунисты были против. На каждой стороне были свои плюсы и минусы. Далее коммунисты утверждали, что пропаганда ПОУМ разделяет и ослабляет правительственные силы и таким образом ставит под угрозу победу в войне. И тут, хотя в целом с этим не согласен, было свое рациональное зерно. Но потом раскрылась особенность коммунистической тактики. Сначала осторожно, потом все более решительно стали раздаваться голоса, что ПОУМ не заблуждается, а осознанно раскалывает правительственные силы. ПОУМ объявлялась бандой замаскированных фашистов, играющих на руку Франко и Гитлеру и проводящих псевдореволюционную политику, чтобы помочь фашистам. ПОУМ – «троцкистская» организация и пятая колонна Франко. Это означало, что тысячи рабочих, включая восемь или десять тысяч солдат, мерзших в окопах на линии фронта, и сотни иностранцев, приехавших в Испанию, чтобы бороться с фашизмом, и часто жертвующих достатком и гражданством, – всего лишь предатели, нанятые врагом. А ведь эта версия посредством плакатов и так далее распространилась по всей Испании и раз за разом повторялась в коммунистической и прокоммунистической прессе всего мира. Если б я стал коллекционировать цитаты из подобных пасквилей, то мог бы составить из них несколько книг.

Оказалось, что все мы – троцкисты, фашисты, предатели, убийцы, трусы и шпионы. Должен сказать, в этом было мало приятного, особенно если подумать о некоторых людях, которые это заварили. Грустно видеть пятнадцатилетнего испанского мальчика, которого уносят на носилках с линии фронта, как он безучастно, с помертвевшим лицом смотрит из-под одеяла на

окружающих, и знать, что холеные мужчины в Лондоне или Париже в своих памфлетах доказывают, что этот мальчик переодетый фашист. Одна из самых ужасных особенностей войны – военная пропаганда, этот визг, и ложь, и ненависть, исходящие неизменно от людей, которые сами не воюют. Ополченцы ПСУК, знакомые мне по фронту, коммунисты из интернациональной бригады, которых я время от времени встречал, никогда не называли меня троцкистом или предателем; такие ярлыки были на совести только у тыловых крыс – журналистов. Люди, сочинявшие обличительные и порочащие нас статьи, благополучно сидели дома, в лучшем случае в редакциях Валенсии, в сотнях миль от пуль и грязи. Но и помимо клеветнических приемов внутрипартийной борьбы, вся обыденность войны пышно героизировалась, а врага обливали грязью все те же люди, которые не участвовали в войне и пробежали бы сотню миль, чтобы избежать встречи с ней. Одним из самых грустных разочарований этой войны стало понимание того, что левая пресса такая же фальшивая и бесчестная, как и правая[32]. Я отчетливо сознавал, что с нашей республиканской стороны эта война отличалась от обычных империалистических войн, хотя из военной пропаганды этого нельзя было понять. Война еще только началась, а правые и левые газеты тут же с головой нырнули в выгребную яму взаимных оскорблений. Нельзя забыть заголовок в «Дейли мейл»: «Красные распинают монахинь», а в «Дейли уоркер» говорилось, что Иностранный легион Франко «состоит из убийц, торговцев живым товаром, наркоманов и прочих отбросов из европейских стран». В октябре 1937 года «Нью стейтсмен» развлекал нас байками о фашистских баррикадах, сложенных из тел живых детей (крайне неудобный материал для подобной цели), а мистер Артур Брайант[33] оповестил всех, что среди испанских лоялистов «отпиливать ноги консервативно настроенным торговцам – обычное дело». Люди, которые такое пишут, никогда не воевали. Возможно, они считают себя воинами, когда пишут такое. На всех войнах происходит одно и то же: солдаты воюют, журналисты кричат, и ни один патриот не приближается к окопам – разве только с кратковременным пропагандистским заданием. Иногда меня утешает мысль, что самолет меняет условия войны. Возможно, когда наступит следующая большая война, мы увидим нечто невозможное: ура-патриот с дыркой от пули.

Если говорить о работе журналистов, то это, как и в любой другой войне, – бизнес. Но с одной разницей: обычно журналисты пускают отравленные стрелы во врагов, а в нашем случае коммунисты и ПОУМ писали друг о друге более язвительно, чем

о фашистах. Тем не менее в то время я не мог относиться к этому серьезно. Межпартийная вражда раздражала и даже вызывала отвращение и все же казалась, скорее, домашней склокой. Я не верил, что она может что-то изменить и что между отдельными партиями существуют непримиримые противоречия. До меня дошло, что коммунисты и либералы не хотят дальнейшего развития революции, но то, что они хотят повернуть ее вспять, в голове не укладывалось.

И тому были причины. Все это время я находился на фронте, а там социальная и политическая атмосфера не изменилась. Я покинул Барселону в начале января и до конца апреля не был в отпуске, и все это время – и даже больше – в районе Арагона, находившегося под контролем анархистов и ПОУМ, все оставалось по-старому, во всяком случае, на первый взгляд. Сохранялась та же революционная атмосфера. Генерал и рядовой, крестьянин и ополченец держались на равных; все получали одно жалованье, носили одинаковую одежду, ели одну и ту же еду и называли друг друга «ты» и «товарищ». Не было хозяев, не было слуг, не было нищих и проституток, не было адвокатов и священников, не было лизоблюдства и подхалимства. Я вдыхал воздух равенства и по наивности думал, что во всей Испании происходит то же самое. Я не понимал, что по чистой случайности оказался среди самой революционной части испанского рабочего класса.

Поэтому когда мои политически подкованные товарищи говорили, что нельзя подходить к этой войне только как к боевому противостоянию, а основной конфликт – революция или фашизм, у меня такая альтернатива вызывала улыбку. В целом я разделял точку зрения коммунистов, сводившуюся к следующему: «Мы не можем говорить о революции, пока не победим в войне», а не позицию ПОУМ, гласившую: «Мы должны наступать, или нас отбросят назад». Когда со временем я решил, что ПОУМ стоит на правильном пути, во всяком случае, на более правильном, чем коммунисты, это решение пришло не на уровне теории. Теоретически коммунизм выглядел безукоризненно, но беда в том, что в жизни коммунисты вели себя так, что было трудно поверить в благостность их намерений. Часто повторяющийся лозунг: «Первым делом – война, революция – потом», в который безгранично верил рядовой ополченец ПСУК, не сомневавшийся, что с окончанием войны революция продолжится, был надувательством. Коммунисты были заняты не тем, чтобы отложить испанскую революцию до более подходящего времени, а тем, чтобы ее совсем похоронить. Со временем это стало еще очевиднее, власть уплывала из рук рабочих, а революционеров

всех мастей все чаще бросали в тюрьму. Каждое действие совершалось якобы по причине военной необходимости – такое объяснение всегда сходило с рук, а на самом деле все делалось для того, чтобы лишить рабочих достигнутых привилегий, дабы по окончании войны они не смогли бы воспрепятствовать возрождению капитализма. Прошу обратить внимание, что все сказанное ни в коем случае не относится к рядовым членам партии, и меньше всего к тысячам коммунистов, геройски погибших в боях у Мадрида. Но не эти люди определяли политику партии. Что касается вышестоящих членов партии, нельзя поверить, чтобы они не ведали, что творят.

В конце концов, война стоила того, чтобы ее выиграть даже с утратой надежд на революцию. Но потом я стал сомневаться, приведет ли коммунистическая политика к победе. Мало кто задумывался над тем, что на разных этапах войны требуется своя политика. Анархисты, возможно, спасли положение в первые два месяца, но дальше их подвела неспособность к организованному сопротивлению; коммунисты, возможно, сделали то же самое в октябре-декабре, но для того, чтобы выиграть войну, требовалось нечто большее. В Англии военную политику коммунистов не подвергали сомнению, тех, кто пытался ее критиковать, почти не печатали, а планы коммунистов – покончить с революционным хаосом, ускорить производство и вооружить армию – выглядели реальными и действенными. Стоит обратить внимание и на свойственные им слабости.

Для того чтобы ограничить революционные тенденции и сделать войну как можно более обычной, приходилось отбрасывать благоприятные стратегические возможности. Я уже описывал, как мы были вооружены, а вернее, не вооружены на Арагонском фронте. Теперь уже мало сомнений в том, что оружие удерживалось намеренно, чтобы оно не попало в руки анархистов, которые впоследствии могли бы использовать его в революционных целях. В результате большое арагонское наступление, которое отбросило бы Франко от Бильбао и, возможно, от Мадрида, не случилось. Но это еще не все. Так как «испанская война» сузилась до «войны за демократию», стало невозможно апеллировать к помощи рабочего класса за границей. Если взглянуть в лицо фактам, придется признать, что рабочие всего мира настороженно относились к испанской войне. Десятки тысяч человек отправились воевать, но десятки миллионов отнеслись к событию равнодушно. Во время первого года войны британская публика пожертвовала на «помощь Испании» около четверти миллиона фунтов – меньше половины того, что ею тратится за неделю походов в кино. Однако рабочий класс в

демократических странах мог реально помочь своим испанским товарищам такими действиями, как забастовки и бойкоты. Но ничего подобного не произошло. Лидеры лейбористов и коммунистов утверждали, что об этом и помыслить нельзя, а как можно было «помыслить», когда они повсюду вопили, что «красная» Испания вовсе не «красная». Начиная с 1914–1918 годов «война за демократию» имела зловещий оттенок. После этого в течение многих лет сами коммунисты учили активных рабочих всех стран, что «демократия» – мягкий синоним капитализма. А говорить сначала «демократия – надувательство», а потом «сражайтесь за демократию», согласитесь, не самая хорошая тактика. Если бы, опираясь на мощный престиж Советской России, они призвали бы рабочих помочь не «демократической», а «революционной» Испании, трудно поверить, что не было бы отклика.

Но важнее всего то, что при отсутствии революционной политики было трудно, если не совсем невозможно, нанести Франко удар с тыла. К лету 1937 года под контролем Франко находилось больше народу, чем под контролем правительства – гораздо больше, если считать колонии, – хотя число людей под ружьем было почти равным. Как известно, когда в тылу у войска враждебные силы, невозможно держать армию в полевых условиях без дополнительной поддержки – военных частей, которые охраняли бы коммуникации, подавляли саботаж и так далее. Очевидно, что в тылу у Франко не было никакого народного движения. Трудно представить, чтобы люди на его территории – такие как городские рабочие и бедные крестьяне – симпатизировали Франко или хотели его победы, но престиж правительства с каждым колебанием падал вправо. Почему сложилась тупиковая ситуация в Марокко? Почему там не начались беспорядки? Франко установил в Марокко железную диктатуру, и все-таки мавры предпочли его, а не правительство Народного фронта. Вся правда в том, что никаких попыток поднять в Марокко восстание не было: ведь это внесло бы в войну революционную ноту. Чтобы убедить мавров в добрых намерениях правительства, следовало прежде всего предоставить Марокко свободу. Можно представить, как это порадовало бы Францию! Поэтому удобнее всего было отступить в тщетной надежде успокоить французских и британских капиталистов. Цель коммунистической политики заключалась в том, чтобы превратить эту войну в обычную – не революционную, и в этой войне преимущество было на стороне врага. Ведь такого рода война могла быть выиграна только с помощью технических средств, то есть в конечном счете неограниченных поставок

оружия. А СССР, главный правительственный поставщик, будучи географически удаленным от Испании, находился в невыгодном положении по сравнению с Италией и Германией. Возможно, лозунг ПОУМ и анархистов: «Война и революция неразделимы» – был не таким утопическим, каким казался.

Я объяснил, почему считаю коммунистическую антиреволюционную политику ошибочной, но по мере развития военных действий есть надежда, что я окажусь не прав. Тысячу раз на это надеюсь! Хочу, чтобы эта война была выиграна любой ценой. Сейчас мы еще не знаем, что произойдет. Правительство может снова качнуть влево, мавры могут поднять восстание по собственной инициативе, Англия может подкупить Италию, война может быть выиграна обыкновенным военным превосходством – ничего не известно. Я не отказываюсь от своего мнения, а прав я или нет – покажет время.

Но в феврале 1937 года все представлялось мне в ином свете. Я устал от бездействия на Арагонском фронте и особенно от сознания, что не вношу свою лепту в борьбу. Мне вспоминался плакат на призывном пункте в Барселоне, вопрошающий с осуждением: «Что ты сделал для демократии?» Что мог я на это ответить? Только: «Поедал ежедневный рацион». Вступив в ополчение, я дал себе обещание убить одного фашиста – в конце концов, если каждый убьет одного из них, фашистов скоро не останется. Но я до сих пор никого не убил, и шансов на это почти не было. И, конечно, я хотел оказаться в Мадриде. Все в армии, несмотря на разные политические взгляды, хотели попасть в Мадрид. Возможно, тогда пришлось бы перейти в интернациональную бригаду: ведь у ПОУМ в Мадриде было мало воинских частей, и анархистов там осталось не так уж много.

Пока, конечно, нельзя было оставлять прифронтовую полосу, но я всех предупредил: когда нас отведут на отдых, я постараюсь перейти в интернациональную бригаду, то есть окажусь под контролем коммунистов. Некоторые ополченцы пытались меня отговорить, но никто не вставлял палки в колеса. Для справедливости надо сказать, что в ПОУМ не преследовались инакомыслящие: если ты не был за фашистов, то мог придерживаться других политических убеждений. Находясь в ополчении, я резко критиковал позицию ПОУМ, но у меня не было из-за этого никаких неприятностей. Никто даже не настаивал на том, чтобы я вступил в партию, хотя, думаю, большинство ополченцев состояли в партии. Я так и не стал политическим членом ПОУМ, о чем впоследствии, когда ее запретили, сожалел.

Глава 6

А тем временем шла рутинная работа – дневные, реже ночные, обходы. Караульная служба, патрулирование, земляные работы. Грязь, дождь, резкий ветер и редкий снег. Только на подходе к апрелю ночи стали заметно теплее. Здесь, на плоскогорье, мартовские дни были почти такими же, как в Англии, – ярко-голубое небо и пронизывающий ветер. Снегу зимой выпало едва ли на фут, на вишневых деревьях формировались малиновые бутоны (линия фронта проходила по заброшенным садам и огородам), а по канавам уже распускались фиалки и дикие гиацинты, жалкое подобие колокольчика. Сразу за прифронтовой полосой бежал чудесный, свежий, бурлящий ручеек – первая прозрачная вода, увиденная мной на фронте. Раз, стиснув зубы, я медленно вошел в него, чтобы помыться первый раз за шесть недель. Надо сказать, что мытье оказалось очень быстрым: вода была обжигающе холодной, не намного выше точки замерзания.

А тем временем ничего не происходило, совершенно ничего. Англичане часто повторяли, что никакая это не война, а просто убийственная пантомима. Под прямым огнем фашистов мы не находились. Единственная опасность могла происходить от шальных пуль – причем с обеих сторон, так как мы располагались под углом. Все смерти тогда были случайными. Артур Клинтон пострадал от неизвестно откуда прилетевшей пули, которая раздробила ему левое плечо и, боюсь, навсегда повредила руку. Бомбили нас мало и всегда на редкость неудачно. Скрежет и грохот снарядов воспринимались нами как забавное развлечение. Фашисты никогда не попадали в наш бруствер. В сотне-другой метров за нами стоял загородный дом, по сути, поместье, с большими фермерскими постройками, которые сейчас использовались как склады, штаб и кухня для нашего участка фронта. Туда-то и целились фашистские стрелки, но они находились в пяти-шести километрах от нас, и меткости у них хватало лишь на то, чтобы в окнах треснули стекла, а в стенах появились зазубрины. Опасность могла подстеречь, только если ты поднимался в гору в тот момент, когда начинали бомбить, и снаряды рвались по обе стороны от тебя. Каким-то таинственным образом почти сразу понимаешь по звуку летящего снаряда, как близко он упадет. В тот период фашистские бомбы изготавливались очень плохого качества. После этих 150-миллиметровок образовавшаяся воронка была всего около шести футов шириной и четырех глубиной, а взрывалась только одна из

четырех. Как обычно, придумывались фантастические истории о саботаже на фашистских фабриках и о бомбах, в которые вместо заряда закладывали бумагу с надписью «Красный Фронт». Я лично ни одной такой бумаги не видел. На самом деле снаряды просто безнадежно устарели, кто-то подобрал медный колпачок от взрывателя с датой изготовления – 1917. Фашистские бомбы были такого же калибра, как и наши, и потому неразорвавшиеся снаряды часто приводили в порядок и посылали обратно. Говорят, что один такой старый, помеченный снаряд ежедневно путешествовал туда и обратно, но так и не взорвался.

По ночам патрули в небольшом составе посылались на ничейную землю и там лежали в канавах у фашистской передовой линии, прислушивались к идущим оттуда звукам (сигналам горна, автомобильным гудкам и так далее), говорившим об активности в Уэске. Происходило постоянное перемещение фашистских войск, и из докладов патрулей можно было представить, какое количество бойцов там находится. Нас обязали всегда прислушиваться к звону колоколов. Перед тем как выступать, фашисты, похоже, всегда посещали церковную службу. Посреди полей и садов остались заброшенные глинобитные хижины, и, высадив окно, их можно было безопасно осмотреть с помощью зажженной спички. Иногда там попадались ценные вещи вроде топорика или фашистской фляжки (лучше нашей и пользующейся большим спросом). Можно было ходить в разведку и в дневное время, но тогда приходилось ползать на четвереньках. Было странно красться по этим опустелым плодоносящим полям, где все замерло как раз накануне сбора урожая. Посевы зерновых прошлого года так и не собрали. Не подрезанные виноградные лозы змейками извивались на земле; початки кукурузы совсем окаменели; листовая и сахарная свекла превратились в огромные одеревеневшие кусты. Как, должно быть, крестьяне проклинали обе армии! Иногда группы мужчин с мотыгами появлялись на ничейной земле. Примерно в миле правее нас, как раз там, где линии фронта сближались, было небольшое картофельное поле, куда частенько наведывались и фашисты, и мы. Наши ополченцы ходили туда днем, а фашисты – только ночью, потому что этот участок обстреливался нашими пулеметами. Однажды, к нашему возмущению, они выбрались туда в большом количестве и вырыли весь урожай. Потом мы нашли еще один такой участок, но там практически не было никакого прикрытия, и картофель приходилось собирать лежа на животе – утомительная работенка, надо сказать. Если тебя замечал пулеметчик, приходилось впечатываться в землю, подобно крысе, когда она протискивается под дверь, а пули так и

взрезали землю вокруг. Но риск того стоил – во всяком случае, тогда так казалось. Картошка нам редко перепадала. Набрав мешок, можно было отнести его на кухню и обменять на фляжку с кофе.

По-прежнему ничего не происходило, и надежды на перемену не было. «Когда будет наступление? Почему мы не наступаем?» – эти вопросы постоянно звучали и от испанцев, и от англичан. Когда думаешь, каково сражение на самом деле, начинаешь удивляться, почему солдаты так его жаждут. В позиционной войне солдаты мечтают о трех вещах – наступлении, сигаретах и недельном отпуске. Теперь мы были вооружены лучше, чем раньше. У каждого было по сто пятьдесят патронов, а не пятьдесят, и со временем мы получили штыки, стальные шлемы и несколько гранат. Время от времени проносились слухи о предстоящих битвах, эти слухи, по моему разумению, сознательно распускали, чтобы поднять боевой дух. Не требовалось особых военных знаний, чтобы понять: никаких масштабных действий по эту сторону Уэски не будет – во всяком случае, в ближайшее время. Стратегически важным объектом была дорога на Хаку по другую сторону Уэски. Позднее, когда анархисты предприняли попытку занять эту дорогу, наша работа заключалась в том, чтобы сдерживать атаки и вынудить фашистов отвести оттуда войска.

За все это время, примерно недель шесть, мы предприняли только одну военную акцию. Тогда наши ударные части атаковали Маникомио, бывшую психиатрическую лечебницу, которую фашисты превратили в крепость. В ПОУМ служили несколько сотен немецких беженцев. Их объединили в специальный батальон, так называемый ударный батальон, по своим воинским характеристикам они заметно отличались от остальных ополченцев – подобных я видел разве что в ударных группировках и в некоторых интернациональных бригадах. Атака, как обычно, провалилась. Интересно, сколько военных операций со стороны правительственной коалиции не провалилось в этой войне? Ударная часть взяла Маникомио штурмом, но войска ополчения (не помню точно, какие), которые должны были их прикрывать, захватив соседний холм у Маникомио, были позорно отброшены. Стоявшего во главе ополченцев капитана, офицера регулярной армии, прислали к нам по распоряжению правительства, и его приверженность идеям ополчения была весьма сомнительна. Были то страх или прямое предательство, но он практически предупредил фашистов, метнув гранату, когда те находились в двухстах метрах от нас. Говорю не без удовлетворения, что солдаты пристрелили его на месте. Так что неожиданное нападение получилось совсем не неожиданным, и

ополченцы под ожесточенным огнем противника оставили злополучный холм, а ночью ударному корпусу пришлось покинуть Маникомио. Всю ночь автомобили «Скорой помощи» ездили по этой проклятой дороге, добивая тряской тяжелораненых.

За прошедшее время все мы обовшивели: несмотря на холод, насекомым было тепло. У меня большой опыт общения с разными нательными паразитами, но вши злее всех, с кем я встречался. Другие насекомые, москиты например, кусают сильнее, но они, по крайней мере, не живут на тебе. Человеческая вошь, как крошечный рак, и селится она преимущественно в брюках. Освободиться от них можно, только если сжечь всю свою одежду. В швах брюк вошь откладывает блестящие белые яйца, похожие на крошечные крупицы риса, они вылупляются и обзаводятся собственными семьями с чудовищной скоростью. Думаю, пацифистам стоило бы использовать в своих антивоенных памфлетах иллюстрации с увеличенным изображением вши. Вот уж герой войны! На войне все солдаты вшивые, во всяком случае, когда тепло. У тех, кто сражался под Верденом, Ватерлоо, при Флоддене[34], Сенлаке[35], Фермопилах, – у всех по мошонке ползали вши. С этими паразитами мы в какой-то степени справлялись, выжигая их яйца и моясь, как только предоставлялась возможность. Только вши могли загнать меня в ледяную воду реки.

Все портилось или заканчивалось – ботинки, одежда, табак, мыло, свечи, спички, оливковое масло. Наша униформа расползалась по швам, у многих не было ботинок – только веревочные сандалии. Повсюду валялись груды рваной обуви. Однажды мы двое суток обогревали блиндаж, сжигая старые ботинки, – неплохое, оказалось, топливо. К этому времени моя жена добралась до Барселоны, откуда посылала мне чай, шоколад и даже сигары, когда их удавалось добыть, но даже в Барселоне припасы истощались, особенно табак. Чай был просто божий дар, хотя у нас не было молока, а часто и сахара тоже. Бойцам нашей части постоянно шли посылки из Англии, но они никогда не доходили; еда, одежда, сигареты – все или отвергалось на почте, или перехватывалось во Франции. Удивительно, но единственным, кому удалось прислать пакетики чая моей жене – и даже коробку печенья по случаю, – был лондонский «Арми энд нэви сторз». Бедный военный магазин! Он достойно нес свою миссию, хотя, возможно, руководители чувствовали бы себя счастливее, если б припасы приходили к Франко, а не к нам. Хуже всего переносилась нехватка табака. Вначале мы получали по пачке сигарет в день, потом – по восемь сигарет, потом – по пять.

Наконец наступили десять невыносимых дней, когда табака совсем не было. И тогда я впервые увидел в Испании то, что ежедневно видишь в Лондоне: мужчины подбирали окурки.

В конце марта у меня воспалилась кисть, надо было вскрыть нарыв и наложить повязку. Пришлось обратиться в больницу, но из-за такой пустяковой операции в Сиетамо меня не направили, а оставили в так называемом госпитале в Монфлорите, который, по существу, являлся эвакуационным пунктом. Я провел там десять дней, частично валяясь в постели. Местные санитары украли практически все мои ценные вещи, включая фотоаппарат и фотографии. На фронте все воровали – неизбежное следствие всеобщего дефицита, но в больницах воровали по-черному. Позже, в барселонском госпитале один американец, приехавший вступить в интернациональную бригаду, рассказывал, как итальянская подлодка торпедировала корабль, на котором он плыл; его, раненого, вынесли на берег, и, когда грузили в «Скорую помощь», санитар стянул его часы.

Пока рука была забинтована, я провел несколько блаженных дней, блуждая по сельской местности. Монфлорите – обычное скопление глинобитных домов с кривыми улочками, настолько изрытыми грузовиками, что впадины на земле похожи на лунные кратеры. Основательно поврежденная церковь использовалась сейчас как склад боеприпасов. В окрестностях были только два фермерских хозяйства – ферма Лоренцо и ферма Фабиан, и два действительно больших дома, раньше принадлежащих, по-видимому, крупным землевладельцам, распоряжавшимся здесь всем; их богатство особенно подчеркивали жалкие крестьянские хижины. Сразу за рекой, ближе к фронтовой линии, стояла огромная мельница с пристроенным к ней домом. Стыдно было смотреть, как большое и дорогое оборудование бессмысленно гибнет, покрываясь ржавчиной, а деревянные мучные лотки идут на дрова. Позднее за дровами для ополченцев присылали издалека грузовики с солдатами, которые систематически обчищали место. Бросая гранаты, они крушили полы. Усадьба, где мы устроили склад и кухню, вероятно, прежде была монастырем. Там были просторные внутренние дворы и разные постройки, площадью больше акра, а также конюшни на тридцать или даже сорок лошадей. Усадьбы в этом районе Испании архитектурно не представляют интереса, но их сельскохозяйственные постройки с известковой побелкой, круглыми арками и великолепными стропилами выглядят исключительно благородно и построены в соответствии с планом, который, возможно, не менялся столетиями. Иногда при виде отвратительного обращения ополченцев с захваченными

помещениями в сердце непроизвольно прокрадывалась симпатия к их бывшим фашистским хозяевам. В нашем особняке каждая пустующая комната становилась уборной – пугающее зрелище экскрементов посреди раскуроченной мебели. В небольшой, примыкающей к дому церквушке с изрешеченными пулями стенами шагу нельзя было ступить, чтобы не угодить в дерьмо. В просторном дворе, где повара раздавали еду, была омерзительная свалка из ржавых консервных банок, отбросов, навоза и гнилой пищи. Здесь особенно убедительно звучала бы старая армейская песня:

Крысы, крысы…
Посреди кухни, как воры,
Больше самого кота-обжоры…

Наши крысы были на самом деле почти как коты, большие, жирные твари, шнырявшие посреди мусора, и такие нахальные, что прогнать их можно было только выстрелом.

Наконец пришла весна. Небо стало прозрачнее, воздух неожиданно наполнился ароматами. Лягушки шумно спаривались в канавах. У пруда, где пили воду деревенские мулы, я увидел удивительных зеленых лягушек размером с пенни, таких ярких, что молодая зелень рядом с ними казалась тусклой. Деревенские ребята охотились за змеями с ведрами, а потом жарили их живьем на железных листах. Как только погода улучшилась, крестьяне приступили к весенней пахоте. Из-за полной неразберихи в испанской аграрной революции я так и не понял, была эта земля коллективизирована, или крестьяне просто поделили ее между собой. Так как эта территория находилась под ПОУМ и анархистами, теоретически она должна быть коллективизирована. Во всяком случае, помещиков больше не было, поля обрабатывались, и крестьяне выглядели довольными. Меня не переставало удивлять дружелюбное отношение крестьян к нам. Тем, кто постарше, война должна представляться бессмыслицей – нехватка всего необходимого, унылое, тягостное существование для всех; даже при благоприятных обстоятельствах крестьяне терпеть не могли, когда у них стояли на квартирах военные. И тем не менее они были неизменно любезны. Я пришел к выводу, что такое поведение крестьян объяснялось тем, что при всей нашей невыносимости в некоторых вещах мы стояли между ними и их прежними хозяевами. Гражданская война – странная вещь. Уэска находился всего в пяти милях, это был город с базаром, у всех там жили родственники, раньше каждую неделю наши крестьяне ездили туда на базар

продавать птицу и овощи. А теперь уже восемь месяцев их разделяли колючая проволока и пулеметный огонь. Иногда они об этом даже забывали. Как-то я разговорился со старухой, которая несла маленькую железную лампу, в которую испанцы наливают оливковое масло. «Где я могу купить такую лампу»? – спросил я. «В Уэске», – ответила она машинально, и мы оба рассмеялись. Деревенские девушки были очаровательные, яркие, с черными, как смоль, волосами, покачивающейся походкой и прямой, откровенной манерой вести себя, что было, на мой взгляд, побочным продуктом революции.

Мужчины в поношенных синих рубашках, черных вельветовых штанах и широкополых соломенных шляпах пахали землю, идя за упряжками мулов, ритмично хлопавших ушами. Негодные плуги только царапали, а не бороздили землю. Все сельскохозяйственные орудия были, к сожалению, допотопные, что объяснялось дороговизной металла. Поломанный лемех, к примеру, чинился не один раз, пока не становился составленным из одних припаянных частей. Грабли и вилы были деревянные. Людям, которые редко имели ботинки, лопаты были не нужны, и они копали землю грубыми мотыгами вроде тех, которыми пользуются в Индии. Вид бороны отправлял нас прямиком в каменный век. Размером с кухонный стол – она состояла из сбитых вместе досок, в них были просверлены сотни дырочек, и в каждую вставлен кусочек кремня, обтесанный так, как это делали люди десять тысяч лет назад. Помню мое близкое к ужасу чувство, когда я впервые увидел это сооружение в заброшенном доме на ничейной земле. Я долго размышлял, что бы это могло быть, пока не догадался: предо мною борона. При мысли, какую огромную работу пришлось совершить мастеру, мне стало не по себе: бедность не позволила ему использовать железо вместо кремня. С тех пор я стал лояльнее относиться к прогрессу. Однако в деревне были два современных трактора, их, несомненно, стащили из поместья богатого помещика.

Раз или два я бродил по небольшому, обнесенному стеной кладбищу, расположенному примерно в миле от деревни. Убитых солдат обычно отправляли в Сиетамо, здесь же покоились жители деревни. Это кладбище разительно отличалось от английского. Никакого почтения к покойникам! Кладбище заросло кустарником и сухой травой, повсюду валялись человеческие кости. Но самым удивительным было полное отсутствие религиозных эпитафий на надгробиях, хотя поставлены они были до революции. Кажется, только раз я увидел «Молитесь о душе покойного» – такое обычно встречаешь на католических кладбищах. Большинство надписей были исключительно земные –

нескладные стишки о добродетелях усопшего. На одной из четырех-пяти могил был небольшой крест или формальное упоминание о загробном существовании, высеченное каким-нибудь старательным атеистом.

Меня поразило, что люди в этой части Испании, похоже, не испытывают искренних религиозных чувств – в традиционном смысле этого понятия. Любопытно, что за все время моего пребывания в Испании я ни разу не видел, чтобы кто-то перекрестился – хотя такое движение инстинктивное и никак не может быть связано с революцией или ее отсутствием. Несомненно, испанская церковь вернется (как говорится, ночи и иезуиты всегда возвращаются), но вспышка революции ее сломила, нанеся такой сокрушительный удар, какой был бы невозможен при сходных обстоятельствах по отношению к изжившей себя англиканской церкви. Для испанского народа – во всяком случае, в Каталонии и Арагоне – церковь была вымогательством в чистом виде. Возможно также, что христианскую веру до какой-то степени подменил анархизм, пользующийся большим влиянием, так как имел несомненный религиозный налет.

Из госпиталя я вернулся как раз в тот день, когда мы передвинули свою позицию примерно на тысячу метров вперед – где она и должна была на самом деле находиться, – к небольшой речушке в двухстах ярдах от фашистов. Эту операцию следовало провести еще несколько месяцев назад. То, что это сделали только сейчас, было связано с наступлением анархистов на дороге к Хаке – это могло заставить фашистов перенести внимание на нас.

Шестьдесят или семьдесят часов мы провели без сна; в моей памяти все смешалось, и теперь проступают лишь отдельные картины. Пост подслушивания на ничейной земле, в ста ярдах от Каза Франсеза, надежно укрепленного фермерского дома на фашистской линии фронта. Семь часов, проведенные в ужасном болоте, в пахнущей камышом воде, постепенно погружаясь все глубже и глубже: запах болота, леденящее оцепенение, неподвижные звезды в черном небе, резкое кваканье лягушек. Эта апрельская ночь была самая холодная из всех, что я провел в Испании. А всего в ста метрах позади шла непрерывная большая работа, шла в полной тишине под неумолчный хор лягушек. Только раз за всю ночь я услышал знакомый звук – это выравнивали лопатой мешок с песком. Удивительно, но иногда испанцам удается демонстрировать чудеса организации. Вся операция была прекрасно спланирована. За семь часов шестьсот человек проложили больше километра траншей и ограждений на

расстоянии от ста пятидесяти до трехсот ярдов от фашистской границы, проделав все в такой тишине, что противник ничего не услышал, и за всю ночь был только один несчастный случай. На следующий день их было, конечно, больше. А тогда каждому доверили свой пост, даже дневальным по кухне, и после работы нам вынесли несколько ведер вина, в которое добавили бренди.

Затем наступил рассвет, и тут фашисты с изумлением обнаружили наше новое расположение. Квадратный белый массив Каза Франсеза, хоть и был в двухстах метрах, казалось, нависал над новой позицией, а пулеметы из окон, защищенных мешками с песком, похоже, целились прямо в наши траншеи. Мы застыли, раскрыв рты, не понимая, почему фашисты медлят. Но тут градом посыпались пули, все дружно упали на колени и стали яростно копать, углубляя траншеи, а землю насыпали на бруствер. С забинтованной рукой я не мог копать и большую часть дня провел за чтением детектива Стэнли Сайка под названием «Пропавший ростовщик». Сам сюжет вылетел из моей памяти, но осталось яркое воспоминание о том, как я сижу в окопе и читаю, подо мной сырая глина, солдаты бегают туда-сюда, задевая мои ноги, а в полуметре над головой свистят пули. Томасу Паркеру прострелили бедро, что, по его словам, было даже больше, чем требуется для получения ордена «За боевые заслуги». Без потерь не обошлось, но их было бы гораздо больше, если бы нас обнаружили ночью. Позже один дезертир рассказал, что фашисты за проявленную в ту ночь халатность расстреляли пятерых. Даже сейчас они могли устроить настоящую бойню, если бы подключили несколько минометов. Переносить раненых в узкой, переполненной людьми траншее было очень неудобно. Я видел, как один несчастный в брюках, залитых кровью, свалился с носилок, задыхаясь в агонии. Раненых приходилось переносить на большое расстояние – милю, а то и больше: подъездная дорога существовала, но санитарные машины никогда не приближались к линии фронта. В противном случае фашисты начинали их обстреливать – и не беспричинно: в современной войне не считается зазорным перевозить в санитарных машинах оружие.

Помню, как на следующую ночь мы ждали в Торре Фабиан приказа наступать, но атаку в последний момент отменили радиограммой. В сарае, где мы сидели, лишь тонкий слой сена прикрывал высохшие кости – человеческие и коровьи вперемешку, – а поверх всего ловко сновали крысы. У этих мерзких тварей повсюду норы. Для меня нет ничего отвратительнее ощущения пробегающей по тебе в темноте крысы. Хуже этого нет ничего на свете! Впрочем, некоторое удовлетворение я получил, заехав кулаком по одной из них с

такой силой, что она взлетела в воздух.

Помню еще, как ждали приказа о наступлении в пятидесяти-шестидесяти метрах от фашистских ограждений. Мы лежали там, скорчившись, в канаве. Длинная цепь мужчин, держа в руках штыки, всматривалась вдаль, только белки глаз светились в темноте. Копп и Бенджамин сидели на корточках за нами вместе с ополченцем, у которого на плечах был закреплен радиоприемник. На западе через несколько секунд после розовых вспышек раздавались мощные взрывы. Потом приемник запикал, и по траншее стали шепотом передавать приказ выбираться отсюда, пока есть возможность. Мы так и сделали – правда, недостаточно быстро. Двенадцать несчастных мальчишек из Юношеской лиги ПОУМ (подобная есть и в ПСУК), которых поставили на караул всего в сорока метрах от фашистских укреплений, рассвет застал на посту, и им не удалось скрыться. Весь день они пролежали среди редких кустарников, и всякий раз, когда кто-то из них шевелился, фашисты открывали огонь. К ночи семерых убили, остальные уползли под покровом темноты.

Помню, как много дней подряд утро начиналось с атак анархистов на противоположной стороне Уэски. Звуки были всегда одни и те же. Неожиданно в предрассветные часы раздавался грохот бомб, взрывавшихся одновременно, – даже на расстоянии в несколько миль этот грохот производил жуткое впечатление. Потом он сменялся непрерывным гулом множества ружей, пулеметов, эти тяжелые раскаты удивительным образом напоминали барабанный бой. Постепенно в стрельбу втягивались и прочие части, окружавшие Уэску, и тогда мы прыгали в траншею и сидели, сонные, привалившись к брустверу, а над нашими головами бессмысленно свистели пролетавшие пули.

Днем пушки грохотали с перерывами. Торре Фабиан, ставший нашей кухней, обстреляли из артиллерии и частично разрушили. Любопытно – когда с безопасного расстояния следишь за артиллерийским огнем, всегда подсознательно хочешь, чтобы канонир попал в цель, даже если его цель твоя кухня и там могут быть твои товарищи. В это утро фашисты били точно – возможно, пушкарем был немец. Он явно нацелился на Торре Фабиан. Один снаряд перелетел, другой – не долетел, а потом свист и – бум! Стропила взмыли в воздух, а слой уралита полетел вниз, как сброшенная игральная карта. Следующий снаряд снес угол дома так ровно, словно это сделал ножом великан. А повара все же подали обед вовремя – настоящий подвиг.

Дни шли, и невидимые, но слышимые орудия постепенно обретали индивидуальность. В тылу у нас стояли две русские батареи с 75-миллиметровыми орудиями, и, думая о них, я

почему-то представлял толстяка, бьющего по мячу в гольфе. У этих снарядов была низкая траектория и очень высокая скорость, поэтому свист и взрыв происходили почти одновременно. Позади Монфлорите стояли два тяжелых артиллерийских орудия, они стреляли несколько раз в день, издавая низкий приглушенный звук, похожий на отдаленный лай сидящих на цепи чудовищ. Наверху в Маунт-Арагон, средневековой крепости, которую в прошлом году захватили республиканские войска (говорят, это удалось впервые за все время ее существования), и теперь она охраняла один из подступов к Уэске, тоже находилось тяжелое орудие, только изготовлено оно было еще в девятнадцатом веке. Его огромные ядра так медленно летели, что казалось вполне вероятным бежать с ними наравне, не отставая. Их свист был не громче свистка велосипедиста. А вот самые жуткие звуки издавали сравнительно маленькие минометы. Их снаряды были словно крылатые торпеды размером с квартовую бутылку и заостренные, как дротики – любимое развлечение в пабах; они выстреливали с ужасным металлическим скрежетом, будто гигантский шар из ломкой стали дробили на наковальне. Иногда пролетали наши самолеты и тоже сбрасывали бомбы, и тогда от огромного, раскатистого грохота земля дрожала на две мили вокруг. Фашисты палили в них из зениток, но снаряды в небе казались легкими тучками на плохой акварели, и я никогда не видел, чтобы они приближались на тысячу метров к самолету. А если самолет пикировал и начинал работать пулемет, его звук снизу казался трепетом крыльев.

На нашем участке фронта было довольно тихо. В двухстах метрах справа от нас фашисты располагались выше нашего лагеря, и оттуда снайперы уложили несколько наших товарищей. А в двухстах метрах слева на мосту через речку произошла стычка между вражескими минометчиками и нашими бойцами, строящими там бетонное ограждение. Несущие гибель маленькие мины молниеносно со скрежетом вылетали из орудия и, ударяясь об асфальт, издавали вдвойне страшный грохот. Но уже в ста ярдах можно было стоять в полной безопасности, глядя, как столбы земли и черного дыма взмывают в воздух, как волшебные деревья. Наши злополучные строители большую часть дня провели, прячась в небольших лазах, выдолбленных ими с наружной стороны траншеи. И все же несчастных случаев было меньше, чем можно было ожидать, и ограждение – бетонная стена толщиной два фута – постепенно росло, в нем были амбразуры для двух пулеметов и небольшого полевого орудия. Бетон был усилен металлическими остовами кроватей – единственным найденным для этой цели железом.

Глава 7

Как-то днем Бенджамин сказал, что ему нужны пятнадцать добровольцев. Отложенную в прошлый раз атаку на фашистский форпост перенесли на сегодняшний вечер. Я смазал десяток мексиканских патронов, замазал грязью штык (блеском он мог привлечь внимание врага), положил в рюкзак большой ломоть хлеба, кусок красной колбасы и присланную женой из Барселоны сигару, которую я берег до поры до времени. Нам раздали гранаты – по три на человека. Испанское правительство наконец-то созрело до производства приличных гранат. В их основу был положен принцип гранаты Миллса, только не с одной, а с двумя чеками. После того как вы выдергивали чеки, проходило семь секунд прежде, чем граната взрывалась. Но у нее имелся недостаток: одна чека была тугая, а другая, напротив, слишком податливая. У вас был выбор: не трогать чеки до нужного момента, хотя первая могла подвести, или выдернуть тугую чеку заранее и ходить в постоянном страхе, опасаясь, как бы граната не взорвалась прямо в кармане. Но сама граната была неплохая.

Незадолго до полуночи Бенджамин повел нашу группу из пятнадцати человек вниз к Торре Фабиан. С вечера лил дождь. Оросительные канавы были переполнены, и стоило оступиться, как вы оказывались по пояс в воде. В кромешной темноте мужчины стояли во дворе фермы под проливным дождем. Копп обратился к нам сначала на испанском языке, потом на английском и объяснил план атаки. Фашистские укрепления на этом участке были вытянуты в виде буквы L, и нам следовало атаковать бруствер, расположенный на возвышении в углу L. Примерно тридцать ополченцев, половина англичан, половина испанцев, под началом Хорхе Рока, нашего батальонного командира (батальон в ополчении – это примерно четыреста человек), и Бенджамина, должны вскарабкаться вверх по склону и перерезать проволоку. Потом по сигналу Хорхе, который бросит первую гранату, нам следует забросать бруствер гранатами, выгнать оттуда фашистов и занять его, пока те не опомнились. Одновременно с нашими действиями семьдесят бойцов ударной группы должны атаковать соседнюю фашистскую «позицию» в двухстах метрах справа от бруствера и соединенного с ней траншеей – ходом сообщения. Чтобы мы в темноте не перестреляли друг друга, нам собрались выдать белые нарукавные повязки. Но тут прибыл вестовой с сообщением, что белых повязок нет. Из темноты кто-то печальным голосом предложил: «А может, фашистам надеть белые повязки?»

У нас оставался час или два. Сеновал над стойлом для мулов был так разворочен снарядами, что ходить по нему в темноте было невозможно. Половина настила была вырвана, так что ничего не стоило свалиться на камни с двадцатифутовой высоты. Кто-то нашел кирку, раскурочил пол, извлек оттуда разбитые доски, и через несколько минут у разведенного костра мы уже сушили промокшую одежду. У кого-то нашлась колода карт. Прошел слух – такие слухи таинственным образом возникают порой в армии, – что нам дадут горячий кофе с бренди. Мы прямо скатились вниз по шаткой лестнице и стали бродить по темному двору, расспрашивая, где получить кофе. Увы! Никакого кофе не было и в помине. Вместо этого нас собрали, построили цепочкой, а потом Хорхе и Бенджамин устремились во тьму, и мы поспешили за ними.

Дождь не кончался, тьма сгущалась, но ветер стих. Мы брели по жуткой грязи. Тропинки через свекольные поля превратились в сплошное скользкое месиво, перемежающееся огромными лужами. Еще до того, как мы дошли до исходной позиции, откуда начинался наш поход, каждый из нас по нескольку раз упал, а наши ружья покрылись слоем грязи. В траншее нас ожидала небольшая группа людей: наш резерв, врач и стоявшие рядком носилки. Мы пробрались через дыру в бруствере и мигом очутились в очередной оросительной канаве. Плюх – и брызги! И опять мы в воде по пояс, а в ботинках – скользкая глина. Выбравшись на траву, Хорхе ждал, пока все мы не пройдем опасное место. Затем, согнувшись в три погибели, медленно двинулся вперед. Фашистский бруствер находился примерно в ста пятидесяти метрах. Наш единственный шанс добраться туда без проблем – идти полностью бесшумно.

Я шел сразу за Хорхе и Бенджамином. Пригнувшись, но с приподнятыми лицами, мы крались в почти полной темноте, и по мере приближения к цели шаг наш становился все короче. Дождь заливал нам лица. Оглядываясь назад, я видел тех, кто был ближе: скрюченные фигуры, похожие на большие черные грибы, медленно двигались вперед. Но всякий раз, как я поднимал голову, идущий рядом Бенджамин яростно шептал мне: «Опусти ее! Слышишь, опусти голову!» Зная по опыту, что в темную ночь нельзя разглядеть человека на расстоянии двадцати шагов, я мог бы попросить его не волноваться. Важнее – соблюдать тишину. Если нас услышат – это конец. Фашистам стоит лишь прошить темноту из пулемета, и нам останется только бежать или быть убитыми.

Но по размокшей земле идти бесшумно невозможно. Что тут поделаешь, если ноги утопают в грязи и каждый шаг слышен –

шлеп-шлеп. А хуже всего – ветер стих, и, несмотря на дождь, ночь была спокойная. Звуки разносились далеко. Был жуткий момент: я задел ногой консервную банку, и мне казалось, что на много миль вокруг каждый фашист это слышал. Однако нет, ни звука, ни ответного выстрела, никакого движения со стороны противника. Мы шли очень медленно, еле передвигая ноги. Не могу передать, как сильно я хотел дойти! Оказаться на расстоянии броска гранаты прежде, чем они заметят нас! В такое время страх отсутствует, остается только огромное, отчаянное стремление преодолеть последние метры. Такое чувство я испытывал, выслеживая дикого зверя, – мучительное желание оказаться на расстоянии выстрела и такая же подсознательная уверенность, что это невозможно. А как в таких случаях удлиняется расстояние! Я хорошо знал местность, да и идти-то всего сто пятьдесят метров, но на практике путь казался не меньше мили. Когда двигаешься с такой малой скоростью, то, подобно муравью, отмечаешь все изменения поверхности: восхитительное пятно гладкой травы, мерзкий ком вязкой грязи, высокий шуршащий камыш, который надо обойти, груду камней, при виде которой теряешь надежду: ведь без шума перебраться здесь просто невозможно.

Казалось, прошла целая вечность, и я даже подумал, что мы выбрали неправильный путь. Но тут в темноте стали вырисовываться параллельные черные линии – внешняя колючая проволока (у фашистов две линии заграждения). Хорхе опустился на колени и запустил руку в карман. Наши единственные кусачки были у него. Вжик-вжик. Мы осторожно раздвинули проволоку. Подождали, чтоб подтянулись остальные. Казалось, они производят ужасный шум. До фашистского бруствера теперь оставалось пятьдесят метров. Но шли мы по-прежнему – медленно и пригнувшись. Ступали так мягко, как кошка, приближаясь к мышиной норе. Остановка – прислушались, идем дальше. Один раз я поднял было голову, но Бенджамин молча положил руку мне на шею и с силой пригнул вниз. Внутренняя проволока шла примерно в двадцати метрах от бруствера. Казалось невероятным, что тридцать человек могут подойти туда незамеченными. Даже дыхание могло нас выдать. И все же мы добрались. Фашистский бруствер был виден – черная насыпь, нависшая над нами. Хорхе еще раз встал на колени и порылся в кармане. Вжик-вжик! Проволоку бесшумно не разрезать.

Итак, с внутренним заграждением было покончено. Мы проползли внутрь, изрядно прибавив в скорости. Все пошло бы хорошо, будь у нас время как следует разместиться. Хорхе и Бенджамин отползли вправо. Но тем, кто шел позади, пришлось

снова выстраиваться в цепочку, чтобы пролезть сквозь узкий разрыв в ограждении. В этот момент в фашистском бруствере сверкнул огонь и раздался выстрел. Наконец-то часовой заметил нас. Удерживая равновесие на одном колене, Хорхе размахнулся, как боулер, бросающий мяч. Бах! Граната разорвалась где-то над бруствером. И сразу, быстрее, чем можно было ожидать, из фашистских траншей загрохотали десять или двенадцать винтовок. Выходит, они нас ждали. При огненных вспышках стали видны защитные мешки с песком. Отставшие бойцы тоже бросали гранаты, но некоторые разрывались, не долетев до бруствера. Казалось, все амбразуры извергают потоки огня. Отвратительно вести бой в темноте – кажется, что каждая вспышка, предшествующая выстрелу, предназначена для тебя. Но хуже всего гранаты. Трудно представить весь ужас этого зрелища, если не видеть, как она взрывается близко от тебя в темноте. Днем ты слышишь только взрыв, а ночью его предваряет слепящая огненная вспышка. При первом же залпе я бросился на землю. Лежа на боку в грязной жиже, я отчаянно боролся с чекой гранаты. Эта чертова чека не поддавалась. Наконец я понял, что тяну не в ту сторону. Выдернув чеку, я встал на колени, бросил гранату и тут же снова упал на землю. Граната полетела вправо, не долетев до бруствера: страх помешал мне лучше прицелиться. В этот момент другая граната разорвалась прямо передо мной – я даже почувствовал жар от взрыва. Вжавшись в землю, я так плотно уткнулся лицом в глину, что повредил шею и решил, что ранен. Сквозь не стихающий гул я услышал, как кто-то позади тихо сказал по-английски: «Я ранен». Граната действительно ранила несколько человек, не задев меня. Встав на колени, я швырнул вторую гранату, но даже не помню, куда она попала.

Фашисты стреляли, наши – те, что были позади, – стреляли тоже, и я понимал, что оказался меж двух огней. Почувствовав рядом с ухом ударную волну, я осознал, что стреляют прямо из-за моей спины. Я приподнялся и заорал:

– Не стреляй в меня, чертов олух! – В этот момент я увидел, что Бенджамин, находившийся справа от меня в десяти-пятнадцати метрах, делает знак, чтобы я подошел. Я побежал к нему. Бежал я мимо извергающих огонь амбразур, прикрывая левой рукой щеку. Ничего не могло быть глупее – разве рукой сохранишься от пули? Но я чертовски боялся ранения в лицо. Стоя на одном колене, Бенджамин с довольным, озорным выражением лица, тщательно целясь, стрелял из автомата по ружейным вспышкам. Хорхе ранили с первого выстрела, и я не видел, где он лежал. Я опустился на колени рядом с Бенджамином, выдернул чеку из третьей гранаты и со всей силой

швырнул ее. Ого! На этот раз сомнений не было. Граната разорвалась внутри бруствера, как раз у пулеметного гнезда.

Неожиданно огонь со стороны фашистов ослабел. Бенджамин мигом вскочил на ноги и закричал: «Вперед! В атаку!» Мы бросились вверх по крутой, но невысокой горке, прямо к брустверу. Я сказал «бросились», но точнее было бы – «заковыляли»: нельзя передвигаться быстро, когда ты промок, с головы до ног в грязи и еще тащишь тяжелое ружье, штык и сто пятьдесят патронов. Я не сомневался, что на бруствере меня поджидает фашист. С такого расстояния промахнуться нельзя, и все же почему-то мне казалось, что стрелять он не станет, а пойдет на меня со штыком. Я представлял, как скрещиваются наши штыки, и гадал, чья рука окажется сильнее. Однако наверху никакой фашист меня не ждал. Со смутным чувством облегчения я обнаружил, что бруствер невысокий, а мешки с песком дают хорошую опору для ног. Обычно перелезть через них бывает трудно. Внутри все было разнесено, повсюду валялись расщепленные балки и большие куски уралита. Наши гранаты уничтожили все постройки и блиндажи. И ни одной души вокруг. Я подумал, что солдаты прячутся где-то под землей, и закричал по-английски (в тот момент я позабыл все испанские слова): «А ну, вылезайте! Сдавайтесь!» В ответ – молчание. Потом еле различимая в неясном свете фигура перепрыгнула через крышу одного из снесенных строений и метнулась влево. Я бросился вслед, тыкая без всякой пользы штыком куда попало в темноте. За углом разрушенной постройки я увидел мужчину – не знаю, того ли, что и раньше, или другого. Он бежал по траншее, ведущей к следующей «позиции» фашистов. Наверное, расстояние между нами было небольшое, так как я хорошо его видел. Он был с непокрытой головой, и, казалось, на нем вообще ничего не было, кроме одеяла, наброшенного на плечи. Если бы я выстрелил, то разнес бы его в клочья. Но нам приказали биться в бруствере только штыками – из страха, что мы перестреляем друг друга. Да я и не думал стрелять. Я вдруг вспомнил события двадцатилетней давности, когда школьный учитель физкультуры показал мне на уроке по боксу, как он в битве при Дарданеллах[36] заколол турка. Пантомима получилась очень живописной. Ухватившись за малый приклад, я нацелился мужчине в спину. Он ускользнул. Еще один выпад – и опять не достал. Некоторое время мы так и бежали – он вдоль траншеи, а я поверху, подгоняя его штыком в спину, но по-настоящему не доставая. Сейчас мне смешно об этом вспоминать, но, думаю, тогда ему было не до смеха.

Он, конечно же, лучше меня разбирался в местных условиях, и вскоре я его упустил. Вернувшись, я увидел, что вся «позиция»

заполнена восторженно орущими людьми. Шум выстрелов ослабел. Фашисты, правда, продолжали упорно обстреливать нас с трех сторон, но теперь уже с большего расстояния.

На какое-то время мы их прогнали. Помнится, я произнес пророческую фразу: «Полчаса нам удастся здесь продержаться – не больше». Не знаю, почему я назвал именно «полчаса». Глядя по правую руку от бруствера, можно было видеть множество зеленоватых ружейных вспышек, пронзающих темноту, но они были далеко – в ста или даже двухстах метрах от нас. Теперь предстояло обшарить «позицию» и забрать все, что того стоило. Бенджамин и еще несколько солдат уже рылись в развалинах большой хижины или блиндажа в центре «позиции». Через развороченную крышу возбужденный Бенджамин с усилием вытянул за веревочную ручку ящик с боеприпасами.

– Товарищи! Патроны! Много патронов!

– Не нужны нам патроны! – раздался чей-то голос. – Нам нужны винтовки.

Так оно и было. Половину наших винтовок залепила грязь, они не действовали. Можно было их почистить, но вытаскивать затвор в темноте опасно – а вдруг затеряется? У меня был с собой маленький электрический фонарик, который удалось купить моей жене в Барселоне, иначе мы не смогли бы ориентироваться в темноте. Несколько человек с нормальными винтовками вели беспорядочную стрельбу по далеким вспышкам. Никто, однако, не осмеливался вести беглый огонь: даже лучшие из винтовок могли отказать, если слишком разогреются. В бруствере нас было человек шестнадцать, в том числе один или двое раненых. Несколько раненых англичан и испанцев лежали за бруствером. Патрик О'Хара, ирландец из Белфаста, прошедший курсы оказания первой помощи, ходил между ранеными, перевязывал то одного, то другого, но каждый раз, когда он возвращался в бруствер, в него кто-нибудь стрелял, хотя он с возмущением кричал: «ПОУМ!»

Мы стали внимательно осматривать «позицию». Попадались убитые, но я их не обыскивал. Я искал пулемет. Когда мы лежали снаружи, я удивлялся, почему не работает пулемет. Я посветил фонариком в пулеметное гнездо. Горькое разочарование! Пулемета там не было. Стояла тренога, лежали ящики с патронами и запасные части, но самого пулемета не было. Должно быть, при первых признаках тревоги они его отвинтили и унесли. Поступили так фашисты, конечно, по приказу, но действия были трусливые и глупые: оставь они его на месте – всех бы нас положили. Мы были в ярости – очень уж рассчитывали захватить пулемет.

Шарили мы повсюду, но ничего особенно ценного не нашли. На земле остались в спешке брошенные фашистами гранаты – невысокого качества, они взрывались, если их потянуть за веревочку. Я положил парочку в карман – на память. Нельзя было не заметить убожества фашистских блиндажей. Там отсутствовали запасная одежда, книги, еда, личные вещи – все то, что повсюду валялось у нас; похоже, у этих фашистских рекрутов не было ничего, кроме одеял и нескольких кусков непропеченного хлеба. В дальнем конце траншеи находилась землянка, частично выступавшая над землей с крохотным окошком. Посветив фонариком в окно, мы дружно рассмеялись. К стене был прислонен цилиндрический предмет в кожаном чехле четыре фута высотой и дюймов шесть в диаметре. Несомненно, пулемет! Но когда мы вбежали в землянку и приступили к осмотру, в чехле оказался не пулемет, а нечто еще более ценное для нашей плохо оснащенной армии. Это был огромный телескоп на складной треноге с увеличением по меньшей мере в шестьдесят-семьдесят раз. У нас таких телескопов не было по определению, и мы в них отчаянно нуждались. С триумфом вытащив его наружу, мы поставили телескоп у края бруствера, чтобы захватить с собой при отходе.

Тут кто-то крикнул, что фашисты на подходе. И точно – стрельба усилилась. Было ясно, что с правой стороны контратаки не будет, ведь в этом случае фашистам пришлось бы пересечь ничью землю и штурмовать собственный бруствер. Если у них остался здравый смысл, они пойдут на нас с тыла. Я обошел «позицию», приблизился к другой ее стороне. С некоторой натяжкой можно сказать, что фашистская «позиция» была подковообразной формы с блиндажами, расположенными в середине. Выходит, слева нас тоже прикрывал бруствер. Оттуда по нам били сильным огнем, но это особенно не беспокоило. Самое опасное место находилось прямо впереди, где не было никакого прикрытия. Над нашими головами проносился непрерывный поток пуль. Должно быть, стреляли с другой, отдаленной фашистской «позиции»: значит, наши ударные части не сумели ее захватить. Такой непрерывный оглушающий грохот множества стреляющих винтовок я прежде слышал только на расстоянии, а теперь оказался прямо в эпицентре. Стреляли по всему фронту. Дуглас Томпсон, чья раненая рука беспомощно свисала вдоль туловища, прислонился к брустверу и, держа в здоровой руке винтовку, стрелял по вражеским огневым вспышкам. А другой боец, у которого винтовка не действовала, заряжал ему оружие.

На этой стороне нас было пятеро или четверо. Что делать –

ясно. Нужно перетащить мешки с песком с передней части бруствера на незащищенную сторону. И сделать это надо как можно быстрее. Пока пули летели поверх наших голов, но ситуация могла измениться в любой момент. По огневым вспышкам я прикинул, что против нас выступили сто, а то и двести человек. Мы выкручивали из бруствера мешки с песком, оттаскивали на двадцать метров в нужную сторону и складывали в кучу. Работенка не из легких. Мешки были большие, каждый – не меньше центнера, и требовалось напрягать все свои силы, чтобы сдвинуть его с места, а потом гнилая мешковина рвалась, и на тебя сыпалась сырая земля, попадая за ворот и набиваясь в рукава. Помню, какой ужас наводили на меня этот хаос, темнота, страшный грохот, грязь по колено, борьба с рвущимися мешками. Ружье страшно мешало, но я не решался его отложить, боясь потерять. Я даже крикнул кому-то, кто тащил вместе со мной мешок: «Ничего себе война! Это черт знает что такое!» Неожиданно несколько высоких мужчин перепрыгнули через передний бруствер. Когда они подошли ближе, нас охватила радость: на них была униформа ударных частей, и мы решили, что нам прислали подкрепление. Их оказалось всего четверо: три немца и один испанец.

Позднее мы узнали, что произошло с ударными частями. Они плохо ориентировались в местности, в темноте забрели не туда, куда надо, напоролись на фашистскую проволоку, и многих из них там положили. Эти четверо, к счастью для себя, потерялись. Немцы не говорили ни слова – ни по-английски, ни по-французски, ни по-испански. При помощи жестикуляции мы с большим трудом им объяснили, чем тут занимаемся, и предложили помочь нам в возведении баррикады.

На этот раз фашисты притащили пулемет. Было видно, как он извергает огонь в ста или двухстах метрах от нас, над нашими головами непрерывно с холодным треском пролетали пули. К этому времени мы уже натаскали достаточно мешков, чтобы сделать небольшой бруствер, за которым несколько человек могли стрелять из положения лежа. Я приготовился стрелять с колена. Минометный снаряд со свистом пронесся над нами и взорвался на ничейной земле. Еще одна опасность, но им потребуется несколько минут, чтобы нас нащупать. Теперь, когда закончилась возня с этими проклятыми мешками, все казалось не так уж плохо: шум, темнота, приближающиеся огоньки и лица товарищей, озаряемые вспышками. Можно было даже подумать. Помнится, я задался вопросом, страшно ли мне, и решил, что не страшно. А ведь снаружи, где меня не так остро подстерегала опасность, меня прямо подташнивало от страха.

Тут снова закричали, что фашисты подходят. Сомнений не было: ружейные вспышки заметно приблизились. Я видел вспышку всего в двадцати метрах. Они явно прошли смежной траншеей. Двадцать метров – подходящее расстояние для гранаты. Нас было восемь или девять человек, мы сбились в кучу, и метко брошенная граната разнесла бы нас в клочья. Боб Смилли, у которого из ранки на лице стекала кровь, привстал на одно колено и метнул гранату. Мы пригнулись, ожидая взрыва. Фитиль с шипящим звуком прочертил огненную черту в воздухе, но граната не разорвалась. (Примерно четверть всех гранат ни к черту не годилась!) У меня осталась только подобранная фашистская граната, но не было уверенности, что она сработает. Я крикнул, нет ли у кого лишней гранаты. Дуглас Мойл порылся в кармане и протянул мне одну. Я швырнул ее и упал ничком. Но по счастливой случайности, какая бывает раз в году, моя граната упала точно туда, где я видел вспышку выстрела. Прогрохотал взрыв, а потом сразу же раздались истошные крики и стоны. Одного, по крайней мере, мы вывели из строя. Не знаю, был ли он убит, но ранен точно тяжело. Несчастный бедолага! Услышав его вопли, я испытал к нему что-то вроде сочувствия. Но в то же время в слабом отблеске вспышек я увидел – или мне показалось, что увидел, – фигуру, стоящую возле того места, откуда блеснул выстрел. Я поднял винтовку и выстрелил. Еще один крик боли, но, возможно, это было следствием взрыва гранаты. Мы швырнули еще несколько гранат. Вспышки заметно отдалились – метров на сто или даже больше. Итак, мы их прогнали – во всяком случае, на время.

Послышались проклятия, все возмущались, что нам не прислали подмогу. С автоматом или двадцатью бойцами с исправными винтовками мы могли бы удерживать это место против целого батальона. В этот момент Пэдди Донован, помощник Бенджамина, которого посылали к нашим для получения дальнейших распоряжений, перелез через передний бруствер.

– Эй вы! А ну, вылезайте! Отходим!

– Как?

– Говорю – отходим. Выбирайтесь скорей!

– Почему?

– Это приказ. Мигом на старую «позицию».

Кое-кто уже перелезал через бруствер. Некоторые с трудом тащили ящик с боеприпасами. Я вспомнил о телескопе, который стоял, прислоненный к противоположной стороне бруствера. И в этот момент увидел, как те четверо из ударных частей, повинуясь, видимо, полученному ранее секретному приказу, побежали по

соединительной траншее, которая вела к соседней фашистской позиции. А это путь к верной смерти! Они уже растворялись в темноте, когда я бросился за ними, пытаясь вспомнить, как по-испански «отступать». Наконец я крикнул: «*Atrás! Atrás!*[37]», что, по моему разумению, было правильным переводом. Испанец меня понял и вернул остальных. Пэдди ждал нас у бруствера.

– Скорей! Поторопитесь!

– А как же телескоп?

– К черту телескоп! Бенджамин ждет нас снаружи!

Мы выбрались из бруствера. Пэдди отвел передо мной проволоку. Только мы покинули наше временное убежище, как сразу оказались под ураганным огнем, окружившим нас со всех сторон. Не сомневаюсь, что и наша часть приложила к этому руку – обстреливалась вся линия фронта. Куда бы мы ни поворачивали, в нас тут же начинали стрелять, мы кружили в темноте, как заблудившаяся отара овец. К тому же мы тащили с собой захваченный ящик с боеприпасами, в один такой ящик входит 1750 обойм, весит он около пятидесяти килограммов, а в придачу – еще ящик с гранатами и несколько фашистских винтовок. Вскоре, несмотря на смешное – около двухсот метров – расстояние между нашими ограждениями, мы сбились с пути. Плелись куда-то, утопая в грязи и зная только то, что в нас стреляют с обеих сторон. Луна скрылась за облаками, но небо стало понемногу светлеть. Наши части стояли к востоку от Уэски. Я предпочел бы дождаться рассвета, стоя на месте, но остальные возражали. Мы продолжали месить непролазную грязь, несколько раз меняли направление и поочередно волокли ящик с боеприпасами. Наконец перед нами обозначилась линия невысокого бруствера. Наш или вражеский? Никто не имел понятия, где мы. Бенджамин пополз на животе через высокую выцветшую траву и, остановившись в двадцати метрах от бруствера, окликнул часового. «ПОУМ», – крикнули в ответ. Вскочив на ноги, мы бросились к брустверу, по дороге еще раз окунулись в оросительную канаву – бултых! – и наконец оказались в безопасности.

Копп с несколькими испанцами ждал нас за бруствером. Врача и носилок уже не было. Всех раненых уже унесли, кроме Хорхе и одного из наших по фамилии Хидлстоун. Белый как бумага Копп ходил взад-вперед, даже складки на его затылке побледнели. Он не обращал никакого внимания на пролетавшие над низким бруствером пули, некоторые – совсем рядом с его головой. Мы же, прячась от пуль, сидели на корточках. Копп бормотал: «Хорхе! Дружище! Хорхе!» И потом по-английски: «Если Хорхе погиб, это ужасно, ужасно!» Хорхе был его

ближайшим другом и одним из лучших офицеров. Внезапно он повернулся к нам и попросил, чтобы пять добровольцев – два англичанина и три испанца – отправились на поиски пропавших людей. Вызвались мы с Мойлом и три испанца.

Когда мы вышли наружу, испанцы забормотали, что становится слишком светло, а это опасно. Действительно, небо светлело на глазах. Из фашистского редута доносились громкие, возбужденные голоса. Ясно, что теперь туда подтянулись дополнительные силы. Когда мы находились в шестидесяти или семидесяти метрах от бруствера, они, по-видимому, что-то увидели или услышали, и мощный огонь поверг нас на землю. Один из них швырнул гранату через бруствер – верный признак паники. Мы лежали в траве, дожидаясь, когда можно будет продолжить путь, но тут услышали, или нам показалось, что услышали – сейчас я не сомневаюсь: то был плод нашего воображения, но тогда это казалось вполне реальным, – что голоса фашистов звучат значительно ближе, чем раньше. Значит, они покинули бруствер и направляются к нам. «Беги!» – крикнул я Мойлу и вскочил на ноги. Боже, как я бежал! Ночью я думал, что невозможно бежать облепленным мокрой грязью и сгибаясь под тяжестью винтовки и патронов. Но теперь я понял, что можно бежать при любых обстоятельствах, если знаешь, что за тобой гонятся пятьдесят или сто вооруженных человек. Но если я бежал быстро, другие бежали еще быстрее. Что-то похожее на метеоритный дождь пронеслось мимо меня. То были три испанца. Они остановились только у нашего бруствера, там-то я их и нагнал. Правда заключалась в том, что нервы наши были ни к черту. Но я знал, что в предрассветной мгле одному человеку легче прокрасться незаметно, чем пятерым, и на этот раз один отправился к фашистскому брустверу. Я добрался до внешнего ограждения и постарался как можно тщательнее обследовать там землю, что было совсем не просто: ведь мне приходилось ползать на животе. Никаких следов Хорхе или Хидлстоуна не было, и я пустился в обратный путь. Впоследствии стало известно, что Хорхе и Хидлстоуна увезли на перевязочный пункт раньше. Хорхе легко ранили в плечо. У Хидлстоуна рана была серьезней: пронзившая левую руку пуля раздробила в нескольких местах кость. А когда он, беспомощный, лежал на земле, разорвавшаяся рядом граната нанесла ему дополнительные увечья. Я рад был услышать, что его вылечили. Позже он сам рассказывал мне, как пытался ползти, лежа на спине, а затем наткнулся на раненого испанца, и они чем могли помогали друг другу.

Становилось все светлее. Вдоль линии фронта на много миль вокруг гремела беспорядочная стрельба, напоминавшая дождь,

который продолжает идти, когда буря уже пронеслась мимо. Помню, как безрадостно все выглядело: повсюду вязкая глина, мокрые тополя, желтая вода в траншеях, усталые лица бойцов – небритые, грязные, черные от копоти. Когда я вошел в свой блиндаж, трое ополченцев, с которыми я делил это убогое жилье, уже крепко спали. Они рухнули на землю, не раздеваясь, в полном обмундировании, прижав к груди грязные винтовки. В блиндаже было так же сыро, как и снаружи. Проявив изрядное упорство, я собрал несколько сухих щепок и развел крошечный костер. Потом закурил хранимую мной сигару, которая по счастливой случайности уцелела в эту бурную ночь.

Позднее мы узнали, что при сложившихся обстоятельствах наша вылазка удалась. Ее затеяли, чтобы фашисты отвели часть войск от Уэски, где анархисты опять начали наступление. По моим подсчетам, фашисты направили подкрепление из ста или двухсот человек, но дезертир позже сообщил, что их было не менее шестисот. Склонен думать, что он врал: дезертиры обычно по понятным причинам стараются приносить добрые вести. Жаль, что так получилось с телескопом. Даже сейчас мысль о том, что мы потеряли такую прекрасную и нужную вещь, терзает меня.

Глава 8

Дни становились все жарче, и даже ночи были довольно теплые. На изрешеченной пулями вишне перед нашим бруствером стали завязываться ягоды. Купание в реке теперь было не мукой, а почти удовольствием. Дикие розы с большими бутонами – каждый размером с блюдце – росли по краям воронок вокруг Торре Фабиан. За линией фронта можно было встретить крестьянок с дикими розами в волосах. Вечерами крестьяне расставляли зеленые сети на перепелов. Сети расстилались поверх травы, а сами охотники устраивались по соседству и издавали звуки, подражая самочке перепелки. Если недалеко оказывался самец, он подбегал ближе и забирался под сеть, тогда в него бросали камешки, чтобы испугать, и он, взлетая, запутывался в сети. Видимо, так ловят только самцов, что показалось мне несправедливым.

По соседству с нами теперь стоял отряд андалузцев. Не знаю точно, как они попали на фронт. Поговаривали, что андалузцы так быстро бежали из Малаги, что проскочили Валенсию, но это по версии каталонцев, привыкших видеть в жителях Андалусии почти варваров. Андалузцы действительно были очень невежественные. Мало кто из них умел читать, и, похоже, они не знали даже того, что было известно каждому испанцу, – к какой партии они принадлежат. Считали себя анархистами, но не были в этом твердо уверены – возможно, они коммунисты. С виду это были грубоватые сельские жители, пастухи или работники на оливковых плантациях, с лицами, загорелыми дочерна на жгучем солнце далекого юга. Они принесли нам большую пользу своим исключительным умением сворачивать из сухого испанского табака самокрутки. Сигарет нам больше не привозили, но в Монфлорите иногда можно было купить пачки дешевого табака, который и по виду, и по качеству напоминал измельченное сено. Вкус был еще куда ни шло, но из-за сухости попытка изготовить некое подобие сигареты была обречена на провал: табак высыпался, оставляя пустую оболочку. Однако андалузцы ухитрялись скручивать превосходные сигареты, применяя особую технику и ловко подворачивая концы бумаги.

Два англичанина слегли от солнечного удара. Самые яркие воспоминания этого времени: невыносимый дневной зной; мешки с песком, которые я таскал голый до пояса, натирая плечи, и так уже изрядно обгоревшие на солнце; наша ветхая одежда и ботинки-развалюхи; борьба с мулом, привозившим нам еду, – он не боялся ружейных пуль, но мигом обращался в бегство,

услышав звук рвущейся шрапнели; москиты (только-только появившиеся) и крысы, ставшие настоящим бедствием, они пожирали даже кожаные пояса и патронные сумки. Ничего не происходило, если не считать случайных жертв от снайперской пули, случайных же залпов артиллерийского огня и воздушных налетов на Уэску. Теперь, когда деревья покрылись листвой, мы соорудили на ветвях тополей, растущих вдоль линии фронта, платформы для наших снайперов. На дальней стороне Уэски атаки понемногу стихали. Анархисты понесли тяжелые потери и не сумели полностью перекрыть дорогу на Хаку. Но им удалось расположиться вдоль дороги и, держа ее под пулеметным прицелом, не пропускать чужие машины. Однако фашисты воспользовались километровым прорывом в обороне и соорудили там полуподземную дорогу – что-то вроде огромной траншеи, по которой удавалось проскакивать грузовикам. По словам дезертиров, в Уэске было много боеприпасов, но очень мало продовольствия. Однако город не сдавался. Да и как его можно было взять, имея пятнадцатитысячную плохо вооруженную армию? Позже, в июне, правительственная коалиция перекинула часть войск с Мадридского фронта, сконцентрировав под Уэской тридцатитысячное войско и большое количество самолетов, но и тогда город взять не удалось.

Я отправился в отпуск, проведя на фронте сто пятнадцать дней, и тогда мне казалось, что проведенное там время – самое бесполезное время в моей жизни. Я вступил в ополчение, чтобы бороться с фашизмом, но то, что происходило до сих пор, вряд ли можно было так назвать: я просто существовал как пассивная единица и даже не отрабатывал положенное довольствие, только мучился от холода и недосыпа. Может, такова судьба многих солдат в большинстве войн. Но сейчас, оглядываясь назад, я уже не сожалею о потраченном времени. Конечно, хотелось бы принести испанскому правительству больше пользы, но с точки зрения моего собственного развития эти три или четыре месяца, проведенные на фронте, были не такими уж бесполезными. То была своеобразная пауза, очень отличавшаяся от всего прежнего в моей жизни и, возможно, от всего, что со мной еще произойдет. Это время научило меня вещам, которые я никогда не узнал бы другим путем.

Главное – все это время я находился в изоляции: на фронте практически все полностью изолированы от внешнего мира, даже о событиях в Барселоне мы имели лишь смутное представление, и это среди людей, которых можно в целом, хотя и не совсем точно, назвать революционерами. Во многом это было результатом системы ополчения, которая на Арагонском фронте не менялась

кардинально до июня 1937 года. Рабочее ополчение, созданное на базе профсоюзов и объединившее людей приблизительно одинаковых политических убеждений, послужило тому, что в одном месте соединились самые революционные силы страны. По чистой случайности я оказался в единственном в Западной Европе объединении, в котором политическая сознательность и неверие в капитализм представлялись более нормальными, чем прямо противоположные взгляды. Здесь, в Арагоне, я был одним из десятков тысяч людей, не всегда рабочего происхождения, и все они жили в одних условиях, на принципах равноправия. В теории это было полное равенство, но и на практике было почти так же. Было ощущение, что мы находимся в преддверии социализма, то есть, я хочу сказать, что мы жили в атмосфере социализма. Многие из обычных предпочтений так называемой цивилизованной жизни – снобизм, жажда наживы, страх перед хозяином и так далее – просто перестали существовать. Классовое деление общества полностью исчезло, а такое даже вообразить нельзя в пропитанном запахом денег воздухе Англии. Существовали только крестьяне и все остальные, и никто ни над кем не властвовал. Конечно, такое положение дел не могло долго продолжаться. Это был временный, местный эпизод в гигантской игре, охватившей весь земной шар. Но он продолжался достаточно долго и потому оказал влияние на всех участников. И те, кто в свое время ругал все подряд, позднее осознали, что присутствовали при чем-то удивительном и ценном. Мы находились в сообществе, где преобладала надежда, а не апатия или цинизм, а слово «товарищ» действительно говорило о духовном единстве, а не являлось пустым словом. Мы вдыхали воздух равенства. Я хорошо знаю, что сейчас принято отрицать, что социализм имеет что-либо общее с равенством. Теперь в каждой стране огромная армия партийных функционеров и лощеных профессоров-недоумков занята тем, что «доказывает»: социализм – не что иное, как плановый государственный капитализм, в котором жажда наживы по-прежнему сохраняется. К счастью, существует и другое представление о социализме. Идея равенства – вот пресловутая «мистика» социализма, притягивающая простых людей, которые готовы рисковать за эту идею жизнью; для большинства социализм означает бесклассовое общество, без этого социализма нет. Именно поэтому месяцы в ополчении так важны для меня. Ведь испанское ополчение, пока оно существовало, было своего рода бесклассовым обществом в миниатюре. В этом коллективе, где никто не старался пролезть вперед, во всем ощущался недостаток, зато не было ни привилегированных особей, ни подхалимов, у каждого было

предчувствие, какими могут стать первые этапы социалистического общества. И это не разочаровывало меня, а, напротив, чрезвычайно привлекало. Больше, чем раньше, мне хотелось видеть торжество социализма. Частично это могло быть связано с тем, что мне повезло жить среди испанцев с их врожденной порядочностью и вечным анархистским душком – они могут, если у них будет шанс, сделать привлекательными даже начальные стадии социализма.

В то время я вряд ли осознавал, какие во мне свершаются перемены. Как и все остальные, я мучился от скуки, жары, холода, вшей, грязи, нехватки почти всего и время от времени – опасности. Сейчас все воспринимается иначе. Теперь время, казавшееся таким пустым и бедным на события, приобрело для меня большое значение. Оно настолько разительно отличается от остальной моей жизни, что обрело некое волшебное свойство, которым окрашены только давние воспоминания. То время было действительно трудным, но теперь оно дает богатую пищу для размышлений. Хотелось бы мне суметь передать атмосферу тех дней. Надеюсь, в какой-то степени я сделал это в первых главах книги. Та прошлая жизнь навсегда связана в моей памяти с зимним холодом, потрепанной формой ополченцев, продолговатыми испанскими лицами, похожим на морзянку постукиванием пулеметных очередей, запахом мочи и гнилого хлеба и металлическим привкусом бобовой похлебки, жадно пожираемой из грязных мисок.

Этот период помнится с удивительной отчетливостью. Мысленно я еще раз проживаю события, которые могут показаться слишком незначительными, чтобы их вспоминать. Вот я снова в блиндаже на Монте-Посеро, лежу на выступе известняка, служащего постелью, а рядом похрапывает молодой Рамон, уткнувшись носом мне в лопатки. А вот я, спотыкаясь, бреду по грязной траншее в тумане, окутавшем меня, как ледяной пар. Или ползу по склону горы и, стараясь удержать равновесие, хватаюсь за корень дикого розмарина. А высоко над головой посвистывают случайные пули.

Или лежу, укрывшись в молодом ельнике в низине к западу от Монте-Оскуро вместе с Коппом, Бобом Эдвардсом и тремя испанцами. Справа от нас по голому серому склону карабкаются цепочкой, как муравьи, фашисты. Совсем близко из фашистского лагеря звучит горн. Подмигнув мне, Копп при этих звуках совсем по-мальчишески показывает фашистам нос.

А вот я на замусоренном дворе Ла-Гранха в окружении мужчин, которые, расталкивая друг друга, пробиваются с жестяными мисками к котлу с рагу. Толстый усталый повар

отгоняет их половником. Рядом за столом бородач с большим автоматическим пистолетом за поясом режет буханки хлеба на пять частей. А за мной кто-то поет на кокни (как оказалось, Билл Чэмберс, с которым я крепко поругался и который потом был убит под Уэской):

Повсюду крысы, крысы, крысы,
Большие, как коты…

С ревом пролетает снаряд. Пятнадцатилетние мальчишки кидаются ничком на землю. Повар прячется за котлом. Все поднимаются со смущенными лицами: снаряд упал и разорвался в ста метрах от нас.

Я патрулирую по обычному маршруту, надо мной склоняются темные ветви тополей. Рядом в канаве, полной воды, плещутся крысы, шума от них не меньше, чем от выдр. Когда по небу разливается золото рассвета, часовой-андалузец, прикрывшись плащом, заводит песню. А по другую сторону ничьей земли, в ста или двести метрах от нас, запевает фашистский часовой.

25 апреля, после обычных *manana* – завтра, нас сменила другая часть, и мы, сдав винтовки и собрав рюкзаки, отправились в Монфлорите. Фронт я покидал без жалости. Вши плодились в моих штанах быстрее, чем я успевал их уничтожать. Уже месяц у меня не было носков, а ботинки так прохудились, что я ходил почти что босиком. Я мечтал о горячей ванне, чистой одежде, сне под нормальным бельем с такой страстью, с какой только может мечтать человек, привыкший к нормальной, цивилизованной жизни. В Монфлорите мы проспали несколько часов на сеновале, еще до рассвета прыгнули в попутный грузовик, успели на пятичасовой поезд до Барбастро, потом нам повезло сесть на скорый в Лериде, так что в три часа дня 26-го мы были в Барселоне. И тут начались неприятности.

Глава 9

Из Мандалая, в Верхней Мьянме, можно добраться поездом в Меймьо, главную горную станцию провинции на краю Шанского нагорья. Впечатление необычное. Покидаете вы типичную атмосферу восточного города – палящее солнце, пыльные пальмы, запахи рыбы, специй и чеснока, сочные тропические фрукты, множество темнолицых людей, и вы так к ней привыкаете, что как бы захватываете эту атмосферу с собой в вагон. И когда поезд останавливается в Меймьо, на высоте четырех тысяч футов над уровнем моря, вы подсознательно все еще находитесь в Мандалае. Но, выйдя из вагона, вы словно попадаете на другой континент. Воздух неожиданно прохладный и свежий – такой может быть в Англии, вокруг – зеленая трава, папоротник, ели и краснощекие горянки, продающие корзины земляники.

Мне припомнилось это, когда я вернулся в Барселону после трех с половиной месяцев, проведенных на фронте. Та же резкая и поразительная перемена. Во время пути до Барселоны в поезде продолжала присутствовать военная атмосфера: грязь, шум, неудобства, рваная одежда, чувство обделенности и одновременно – товарищества и равенства. В наш поезд, и так уже набитый в Барбастро ополченцами, на каждой остановке подсаживались крестьяне, они везли с собой узлы с овощами; подвешенных вниз головой домашних птиц – неприятное, надо сказать, зрелище; а также связанные между собой и как бы прыгающие на полу мешки с втиснутыми внутрь живыми кроликами. В довершение всего по поезду бродили овцы, забивались в купе и вообще втискивались в любое более-менее свободное место. Ополченцы орали революционные песни, заглушая шум поезда, посылали воздушные поцелуи или махали красно-черными платками всем хорошеньким девушкам за окном. Из рук в руки переходили бутылки с вином, анисовой водкой и отвратительным арагонским ликером. Из кожаного испанского бурдюка можно пустить струю вина в рот приятелю в другой конец вагона, что значительно упрощает дело. По соседству со мной черноглазый паренек лет пятнадцати рассказывал о своих необычайных и, без сомнения, вымышленных подвигах на фронте раскрывшим от удивления рот двум старым крестьянам с дублеными лицами. Потом крестьяне развязали свои узлы и угостили нас тягучим темно-красным вином. Все были очень счастливы, так счастливы, что трудно передать. Но когда поезд, миновав Сабадель, въехал в Барселону, мы погрузились в атмосферу почти такую же чуждую и враждебную, как если бы

оказались в Париже или Лондоне.

Каждый, кто дважды приезжал во время войны в Барселону с интервалом в несколько месяцев, не мог не обратить внимание на разительные перемены в атмосфере города. Интересно: если впервые вы оказывались в Барселоне в августе, а возвращались в январе или, как я, первый раз – в декабре, а назад – в апреле, каждый раз происходило одно и то же – революционный дух падал. Для того, кто был в Барселоне в августе, когда кровь еще не высохла на улицах, а отряды ополченцев заняли лучшие гостиницы, для такого человека Барселона в декабре уже казалась обуржуазившейся. Для меня же, только что приехавшего из Англии, Барселона представлялась настоящим воплощением рабочего города. Теперь произошел дальнейший откат. Барселона превратилась в обычный город, слегка потрепанный войной, но без всяких примет господства рабочего класса.

Совершенно иначе выглядел и народ на улицах. Униформа ополченца и синие комбинезоны почти исчезли; похоже, все переоделись в опрятные летние костюмы, которые так хорошо удаются испанским портным. Повсюду – солидные, преуспевающие мужчины, элегантные женщины и дорогие автомобили. (Кажется, разрешения на приобретение личного автомобиля еще не было, но каждый, кто «что-то представлял из себя», мог его купить.) Поразительно, насколько выросло число офицеров новой Народной армии. Когда я покидал Барселону, их практически не было. Теперь в Народной армии на каждые десять солдат приходился один офицер. Некоторые офицеры раньше служили в ополчении и были отозваны с фронта для получения технических инструкций, но многие молодые люди пошли в военное училище, чтобы не вступать в ополчение. Их отношение к солдатам было не совсем такое, как в буржуазной армии, но определенное социальное различие – в жалованье, в униформе – существовало. Солдаты носили коричневые комбинезоны из грубой ткани, офицеры – элегантную форму цвета хаки с узкой талией, как у английских офицеров, только еще более приталенную. Из двадцати таких офицеров, может, один и побывал на фронте, но абсолютно все они носили у пояса автоматические пистолеты, которых нам так не хватало на войне. Когда мы шли по улице, я заметил, что люди обращают внимание на наш замызганный вид. Как все, кто провел несколько месяцев в окопах, мы представляли жуткое зрелище. Я ощущал себя пугалом. Моя кожаная куртка была в нескольких местах порвана, шерстяная кепочка потеряла форму и постоянно съезжала на один глаз, а от ботинок мало чего осталось помимо разошедшегося голенища. Мои товарищи были одеты примерно

так же, в придачу грязные как черти и небритые – неудивительно, что люди на нас пялились. Было как-то не по себе – я начинал понимать, что за эти три месяца случилось много чего.

За последующие дни по многочисленным признакам я понял, что мои первые впечатления были верными. В городе многое изменилось. Но две вещи определяли все остальное. Во-первых, гражданское население утратило интерес к войне. Во-вторых, возвращалось первоначальное деление на богатых и бедных, на высшие и низшие классы.

Удивительным и неприятным было всеобщее равнодушие к войне. Такое отношение ужасало людей, приехавших в Барселону из Мадрида и даже Валенсии. Частично это связано с удаленностью Барселоны от полей подлинных сражений. На нечто подобное я обратил внимание и в Таррагоне, где привычная жизнь модного курорта не претерпела никаких изменений. Знаменательно, что по всей Испании запись в добровольческие отряды с января неуклонно падала. В феврале в Каталонии прокатилась волна энтузиазма, связанная с призывом в Народную армию, но это не привело к значительному увеличению числа новобранцев. Война длилась всего шесть месяцев или около того, а испанскому правительству уже пришлось прибегнуть к мобилизации, что естественно, когда война ведется за пределами страны, и совершенно неприемлемо в войне гражданской. Без сомнения, это было связано с неверием в успех революционных идеалов, которые прежде заставляли многих идти на войну.

Члены профсоюзов, объединившиеся в ополчение и прогнавшие фашистов обратно в Сарагосу, добились этого, так как верили, что сражаются за создание рабочего государства. Но теперь становилось ясно, что рабочий контроль – дело несбыточное и нельзя валить вину на простой народ, особенно на городской пролетариат, составляющий основную силу в любой войне, в том числе и гражданской, что он проникся некоторым равнодушием. Никто не хотел проиграть эту войну, но большинство мечтало, чтобы она поскорей закончилась. И это чувствовалось повсюду. Куда бы вы ни шли, вас ждал один и тот же вопрос: «Когда же придет конец этой ужасной войне?» Политически просвещенные люди были больше осведомлены о внутренней борьбе анархистов и коммунистов, чем о борьбе правительственной коалиции с Франко. Для обывателей самым главным был продовольственный вопрос. «Фронт» стал представляться каким-то далеким, почти мифическим местом, куда отправлялись молодые люди, а месяца через три-четыре одни из них пропадали навсегда, зато другие возвращались, и в карманах у них звенели денежки. (Ополченцам выплачивали

денежное пособие при уходе в отпуск.) На раненых, даже если они прыгали на костылях, никто особого внимания не обращал. Служить в ополчении уже не считалось почетным. Это было видно по магазинам – барометрам общественного настроения. Когда я впервые оказался в Барселоне, бедные, обшарпанные магазины торговали в основном военным снаряжением. В витринах были выставлены пилотки, куртки на молнии, офицерские портупеи, охотничьи ножи, фляжки, кобура для револьверов. С того времени магазины стали выглядеть приличнее, но военные принадлежности были задвинуты куда-то вглубь. Когда перед возвращением на фронт я занялся своей экипировкой, то многое из необходимого отыскал с трудом.

Тем временем велась систематическая пропаганда Народной армии, направленная против ополчений разных партий. Сложилась любопытная ситуация. С февраля все вооруженные силы теоретически входили в состав Народной армии. На бумаге ополчение также было приписано к Народной армии с разным жалованьем для солдат и офицеров, введением чинов и так далее. Дивизии состояли из смешанных бригад, в которые предположительно входили как бойцы из Народной армии, так и бойцы из ополчения. Но на самом деле изменились только имена. Если раньше войска ПОУМ назывались Ленинской дивизией, теперь они стали 29-й дивизией. До июня лишь немногие части Народной армии прибыли на Арагонский фронт, и потому ополчению удалось сохранить свою особую структуру и собственный характер. Но на каждой стене правительственные агенты начертали надписи: «Нам нужна Народная армия!», а по радио и в коммунистической прессе все чаще появлялись злобные нападки на ополчение, которое представлялось плохо тренированным, недисциплинированным сборищем, в то время как Народную армию все чаще называли «героической». Из такой информации могло сложиться впечатление, что вступать в ополчение постыдно – гораздо почетнее ждать повестки в армию. А тем временем, пока новобранцы Народной армии обучались в тылу, ополчение на фронте сдерживало натиск врага, но этот факт замалчивался. Возвращавшиеся на фронт ополченцы теперь не проходили по улицам с развевающимися знаменами под барабанный бой. В пять часов утра их украдкой вывозили из города поездом или на грузовиках. Зато немногие части Народной армии отправлялись на фронт с большой помпой, они торжественно шествовали через весь город, однако прежнего ликования все равно не было: народ потерял интерес к войне. Так как ополчение на бумаге составляло часть регулярной армии, официальная пропаганда искусно пользовалась этим в своих

целях. Все успехи ополчения автоматически приписывались Народной армии, а военные неудачи сваливались на ополчение. Случалось так, что одни и те же войска хвалили в одном качестве и ругали в другом.

Помимо этого, произошла удивительная перемена в социальной обстановке, что трудно почувствовать, если ты не был этому свидетелем. В мой первый приезд в Барселону я решил, что в этом городе вряд ли существуют классовые различия и большая разница в имущественном положении. Во всяком случае, так казалось. Шикарная одежда была большой редкостью, никто не раболепствовал и не брал чаевых, официанты, цветочницы и чистильщики обуви смотрели тебе прямо в глаза и называли «товарищем». Мне не приходило в голову, что это могла быть смесь надежды и притворства. Верившие в революцию рабочие не были едины, а перепуганная буржуазия на время прикинулась сочувствующей народным интересам. В первые месяцы революции, должно быть, тысячи людей намеренно, чтобы спасти свою шкуру, надели синие комбинезоны и выкрикивали революционные лозунги. Теперь все возвращалось на круги своя. Шикарные рестораны и гостиницы заполнили богачи, пожирающие дорогие яства, в то время как для рабочих цены на продукты взлетели до небес, а жалованье, напротив, было заморожено. Помимо всеобщего подорожания, были постоянные нехватки то одного, то другого, и это опять сильнее всего било по беднякам. По-видимому, рестораны и гостиницы без труда доставали все необходимое, а в рабочих кварталах очереди за хлебом, оливковым маслом и прочими насущными товарами выстраивались на сотни метров. Раньше в Барселоне меня поразило отсутствие нищих, теперь их было множество. Возле гастронома на Рамблас всегда крутилось множество босоногих детей, которые окружали тех, кто выходил из магазина, и шумно выпрашивали хоть кусок хлеба. «Революционные» обороты речи постепенно выходили из употребления. Теперь незнакомые люди уже не обращались к тебе на «ты» и не называли «товарищем». Преобладало обращение на «вы» и «сеньор». *Buenos dias*[38] заменило *salud*[39]. Официанты снова щеголяли в накрахмаленных рубашках, а продавцы изгибались перед потенциальными покупателями. Как-то мы с женой зашли в галантерейный магазин, чтобы купить чулки. Продавец кланялся и потирал руки – так уже лет двадцать-тридцать не ведут себя даже в английских магазинах. Как-то само собой вернулся обычай давать чаевые. Рабочие патрули распустили, и на улицы опять вышли полицейские. В результате снова открылись кабаре и шикарные бордели, которые в свое время были закрыты рабочими

патрулями[40].

Вот небольшой, но показательный пример того, что произошла переориентация в пользу богачей. Была острая нехватка табака. Многие курильщики дошли до того, что покупали на улице сигареты, набитые измельченным солодовым корнем. Я сам как-то купил такие. (Многие тогда их попробовали.) Франко захватил Канары, где выращивается весь испанский табак. Довоенные запасы табака находились в распоряжении правительства. Они быстро истощались, и потому табачные лавки открывались только раз в неделю. Простояв в очереди пару часов, вы могли, если повезет, купить небольшую пачку табаку. Официально правительство не разрешало покупку табака за границей, чтобы не расходовать золотой запас страны, необходимый для приобретения оружия и прочих важных вещей. Но в действительности ввоз контрабандных дорогих сигарет вроде «Лаки страйк» не прекращался, что открывало большие возможности для спекулянтов. Контрабандные сигареты можно было открыто приобрести в дорогих гостиницах, не составляло труда купить их и на улице, если вы могли заплатить десять песет (дневной заработок ополченца) за пачку. Полиция смотрела на это сквозь пальцы: ведь такая контрабанда была на руку богачам. Если у тебя водились денежки, ты мог достать практически все и в любых количествах, за исключением хлеба, который распределялся достаточно строго. Такой явный контраст между богатыми и бедными был невозможен всего несколько месяцев назад, когда ситуацию контролировали, или казалось, что контролируют, рабочие. Но было бы несправедливо объяснять эти перемены только сдвигами в политической власти. Здесь сказалась и безопасная жизнь в Барселоне, где о войне напоминали лишь редкие воздушные налеты. Те, кто побывал в Мадриде, рассказывали совсем другое. Там постоянная опасность порождала между людьми разных сословий чувство товарищества. Толстяк, поедающий перепелок на глазах детей, выпрашивающих кусок хлеба, – отвратительное зрелище, но когда гремят пушки, у вас меньше шансов такое увидеть.

Помнится, через день или два после уличных боев я проходил по одной из фешенебельных улиц и остановился у кондитерской, в витрине которой увидел роскошные торты и конфеты по баснословной цене. Такой ассортимент можно встретить в кондитерских на лондонской Бонд-стрит или на парижской Рю де ла Пэ. Я пережил смешанное чувство ужаса и удивления, что в голодной, измученной войной стране кто-то тратит деньги на такие роскошества. Но и я, видит бог, был не лучше других. После нескольких месяцев лишений меня охватило непреодолимое

желание есть вкусную еду, пить хорошие вина и коктейли, курить американские сигареты и тому подобное, и, каюсь, я не отказывался от тех удовольствий, на которые хватало денег. В течение недели, предшествующей возобновлению уличных боев, меня поглотили некоторые обстоятельства, которые любопытным образом наложились друг на друга. Во-первых, как уже было сказано, я погрузился в комфортабельное состояние. Во-вторых, из-за переедания и большого количества алкоголя я всю неделю чувствовал себя неважно. Полдня я валялся в постели, потом вставал, ел больше чем надо и снова чувствовал себя больным. В то же время я вел тайные переговоры по поводу покупки револьвера. Револьвер был нужен до зарезу – при схватке в траншее он удобнее винтовки, а достать его было почти невозможно. Правительство выдавало их полицейским и офицерам Народной армии, но отказывалось снабжать ополченцев, поэтому револьверы приходилось покупать нелегально у анархистов, имевших тайные склады. После долгой волокиты и нервотрепки одному знакомому анархисту удалось раздобыть мне маленький, 26-миллиметровый пистолет, жалкое оружие, стреляющее только на пять метров, но и такой лучше, чем ничего. Кроме того, я вел предварительные переговоры по переходу из ополчения ПОУМ в другую часть, чтобы попасть на Мадридский фронт.

Я уже давно открыто всем говорил, что хочу покинуть ПОУМ. Мои предпочтения склонялись к анархистам. Члену СНТ можно было попасть в ополчение ФАИ, но, по слухам, бойцов оттуда посылали на Теруэльский, а не Мадридский фронт. Чтобы попасть в Мадрид, следовало вступить в интернациональную бригаду, но для этого нужно было получить рекомендацию от члена компартии. Отыскав приятеля из коммунистов, приписанного к испанской санитарной части, я объяснил ему свою ситуацию. Он горячо отозвался на мою просьбу и предложил, если получится, перетащить в бригаду еще нескольких англичан. Будь я тогда в лучшем физическом состоянии, я бы, наверное, согласился. Теперь трудно сказать, как все обернулось бы. Вполне возможно, меня послали бы в Альбасете еще до начала уличных боев в Барселоне; тогда, не будучи очевидцем событий, я поверил бы в официальную версию. С другой стороны, если бы я сражался в Барселоне в рядах коммунистов, оставаясь в то же время приятелем фронтовых товарищей по ПОУМ, мое положение было бы ужасным. Но у меня оставалась еще неделя отпуска, и я всеми силами старался восстановить здоровье перед отправкой на фронт. Кроме того – а такие мелочи всегда определяют нашу судьбу, – я дожидался, когда сапожник сошьет мне пару новых

походных ботинок. (Во всей испанской армии не нашлось умельца сшить пару ботинок, которые были бы мне впору.) Я сказал другу-коммунисту, что займусь практическими делами немного позже. Мне хотелось немного отдохнуть. Мы с женой даже подумывали, не поехать ли нам на два-три дня к морю. Придет же такое в голову! Политическая ситуация должна была надоумить меня, что вряд ли сейчас время для таких поездок.

За внешним благополучием города с роскошной жизнью и одновременно растущей нищетой, за царящим на улицах весельем, цветочными киосками, многоцветными флагами, пропагандистскими плакатами и оживленными толпами безошибочно угадывались политическая конкуренция и ненависть. Люди самой разной политической ориентации предсказывали: «Надо ждать беды». Источник опасности был понятен и прост: противостояние тех, кто жаждал развития революции, и тех, кто хотел бы ее затормозить или вообще остановить, то есть в конечном счете – анархистов и коммунистов. Теперь вся политическая власть в Каталонии принадлежала ПСУК и ее либеральным союзникам. Но была еще одна не поддающаяся оценке сила, а именно СНТ, вооруженная хуже своих конкурентов и с менее определенными целями, но все-таки достаточно многочисленная и занимающая влиятельное положение в некоторых ключевых отраслях промышленности. При таком соотношении сил столкновение было неизбежным. С точки зрения ПСУК, находившейся под контролем правительства, ей для укрепления своих позиций следовало отобрать оружие у рабочих – членов СНТ. Как я уже говорил, попытка снизить влияние партийных ополчений говорила о намерении вообще с ними покончить. В то же самое время довоенные полицейские вооруженные формирования, такие как гражданская гвардия и тому подобные структуры, были вновь восстановлены, усилены и вооружены. Это могло означать только одно. Та же гражданская гвардия была обычной жандармерией континентального типа, которая вот уже почти столетие охраняла интересы имущих классов. Одновременно издали декрет, обязывающий всех частных лиц сдать оружие. Естественно, никто этому приказу не подчинился: у анархистов оружие можно отобрать только силой. В это же время ходили слухи, всегда невнятные и противоречивые из-за вмешательства военной цензуры, о небольших стычках, проходивших по всей Каталонии. В ряде районов вооруженные полицейские отряды нападали на опорные пункты анархистов. В Пучсерду, на границе с Францией, был послан отряд карабинеров для захвата таможни, которую контролировали анархисты, в этой схватке погиб известный анархист Антонио Мартин.

Похожие инциденты имели место в Фигерасе и, насколько мне известно, в Таррагоне. В Барселоне тоже случались стычки в рабочих кварталах. Между членами СНТ и УГТ дело доходило до кровопролития и убийства, и тогда похороны жертв превращались в пышные, провокационные траурные процессии с намеренным желанием подогреть политические страсти. Незадолго до моего возвращения в Барселону за гробом убитого члена СНТ шли сотни тысяч человек. А в конце апреля, когда я уже был в Барселоне, был убит, по-видимому, кем-то из СНТ Ролдан, видный член партии УГТ. Тогда по распоряжению правительства закрыли все магазины и было организовано впечатляющее траурное шествие в основном из бойцов Народной армии. Оно продолжалось два часа. Я без энтузиазма следил за этим из окна гостиницы. Несомненно, так называемые похороны были просто демонстрацией силы – и могли привести к еще большему кровопролитию. Той же ночью нас с женой разбудила стрельба на площади Каталонии в сотне или двухстах метрах от гостиницы. На следующий день стало известно, что застрелили члена СНТ – предположительно это сделал кто-то из УГТ. Конечно, все эти убийства могли совершить провокаторы. Об отношении иностранной прессы к вражде между коммунистами и анархистами можно судить по тому факту, что убийство Ролдана широко освещалось в газетах, а ответное убийство осталось незамеченным.

Приближалось Первое мая, и шли разговоры об огромной праздничной демонстрации, в которой должны принять участие как члены СНТ, так и члены УГТ. Руководители СНТ, более умеренные, чем многие из их сторонников, стремились к примирению с УГТ; их главной целью было объединить оба союза в мощную коалицию. Смысл заключался в том, чтобы сторонники СНТ и УГТ прошли по улицам города вместе, демонстрируя солидарность. Но в последний момент демонстрацию отменили. Было ясно, что она приведет к очередному столкновению. Так что Первое мая никак не отметили. Это выглядело более чем странно. Барселона, так называемый оплот революции, была, наверное, единственным городом в нефашистской Европе, где этот день не праздновали. Но, признаюсь, я испытал облегчение. В рядах ПОУМ должен был идти отряд ИЛП, и все ожидали беспорядков. Меньше всего мне хотелось быть втянутым в какую-нибудь бессмысленную уличную драку. Маршировать по улице под красными знаменами с возвышенными лозунгами, а потом погибнуть от автоматной очереди, выпущенной из верхнего окна совершенно незнакомым человеком, – нет, так бессмысленно умирать я не хотел.

Глава 10

Около полудня 3 мая один мой приятель небрежно сказал в вестибюле гостиницы: «Слышал, на телефонной станции произошла какая-то разборка». Тогда я не обратил внимания на его слова.

Тем же днем, между тремя и четырьмя часами, где-то посреди улицы Рамблас я услышал за спиной несколько выстрелов. Обернувшись, я увидел несколько молодых людей с винтовками и черно-красными шейными платками анархистов, кравшихся по улочке, идущей от Рамблас к северу. У них явно шла перестрелка с кем-то, засевшим в высокой восьмиугольной башне – церкви, наверное, – возвышавшейся над местностью. «Началось!» – подумал я. Это меня особенно не удивило: последнее время все ждали чего-нибудь «этакого». Я понимал: нужно возвращаться, чтобы убедиться, что с женой все в порядке. Но группа анархистов на перекрестке отсылала жестом прохожих назад, не давая пересекать линию огня. Перестрелка продолжалась. Пули из башни простреливали улицу, и охваченные страхом люди бросились бежать по Рамблас в разные стороны. Было слышно, как продавцы – лязг-лязг – опускают стальные ставни витрин. Я видел, как два офицера Народной армии осторожно отступали, прячась за деревьями и не выпуская из рук револьверы. Передо мной толпа, ища укрытия, ринулась к входу в метро в центре Рамблас. Я моментально принял решение не следовать их примеру. Так можно проторчать под землей несколько часов.

Ко мне подбежал врач-американец, знакомый мне еще по фронту, и схватил за руку. Он был очень взволнован.

– Пойдемте скорее в гостиницу «Фалкон». – Эта гостиница была чем-то вроде общежития для ополченцев ПОУМ, получивших отпуск. – Там сбор всех наших. Беда! Надо держаться вместе.

– Да что, черт возьми, случилось? – спросил я.

Доктор продолжал тянуть меня за руку. Он был слишком взволнован, чтобы дать вразумительный ответ. Из его слов следовало, что он находился на площади Каталонии, когда к телефонной станции, на которой работали в основном члены СНТ, подъехало несколько грузовиков с вооруженными жандармами, и те неожиданно начали стрелять. Вскоре подоспела группа анархистов, и тут завязалась перестрелка. Тут я смекнул, что «заварушка», о которой я слышал утром, произошла из-за требования правительства сдать станцию, с которым анархисты не согласились.

Пока мы шли по улице, мимо нас в обратном направлении промчался грузовик, набитый вооруженными анархистами. Впереди на груде матрасов лежал растрепанный паренек, сжимая ручки легкого пулемета. Когда мы добрались до гостиницы «Фалкон», расположенной в конце Рамблас, в холле уже толпился народ. Была всеобщая суматоха – никто не знал, что нужно делать; кроме того, все были не вооружены, кроме нескольких бойцов из ударных частей, охранявших здание. Я перешел улицу и вошел в местный комитет ПОУМ, находившийся почти напротив гостиницы. На втором этаже, где обычно ополченцам выплачивали жалованье, гудела оживленная толпа. Высокий, бледный, довольно привлекательный мужчина лет тридцати в гражданской одежде пытался навести порядок, он раздавал ремни и коробки с патронами, сваленные в углу комнаты. Винтовок пока что не было. Доктора я не увидел – должно быть, его уже вызвали к раненым, зато появился еще один англичанин. Тут из внутреннего помещения высокий мужчина с помощниками вынесли охапки винтовок и стали их раздавать. На нас, англичан, смотрели с подозрением и поначалу винтовок нам не предлагали. Но тут пришел ополченец, знакомый мне по фронту, он узнал меня, и тогда нам без особого желания выдали винтовки и по нескольку обойм с патронами.

Вдали раздавались выстрелы, и улицы совсем опустели. Все считали, что по Рамблас сейчас пройти нельзя. Жандармы заняли удобные позиции и стреляли по каждому прохожему. Я рискнул бы вернуться в гостиницу, но многие полагали, что жандармы могут в любой момент напасть на здание местного комитета, и нам лучше оставаться на местах. Люди заняли все помещения и лестницы, они стояли небольшими группками даже на тротуаре у здания и возбужденно разговаривали. Похоже, никто толком не понимал, что происходит. Я знал только, что жандармы заняли телефонную станцию и другие стратегически важные здания и могли контролировать объекты, принадлежащие рабочим. Создавалось впечатление, что жандармерия преследует СНТ и рабочий класс в целом. Но на этом этапе, надо заметить, никто не обвинял в случившемся государство. Бедняки Барселоны видели в гражданской гвардии что-то вроде «черно-рыжих»[41] и верили, что жандармы действуют по собственной инициативе. Услышав, как обстоят дела, я почувствовал облегчение. Расстановка сил была понятна: с одной стороны СНТ, с другой – полиция. Я не питаю особой любви к «идеализированному» рабочему – порождению коммунистического сознания в буржуазном обществе, но когда вижу, как рабочий из плоти и крови вступает в конфликт с его естественным врагом – полицейским, я не

задумываюсь, какую сторону принять.

Прошло довольно много времени, а в нашем конце города ничего не менялось. Мне не пришло в голову позвонить в гостиницу и узнать, все ли в порядке с моей женой: я был уверен, что телефонная служба прекратила работу, хотя, как выяснилось, она не работала всего пару часов. В двух зданиях собралось около трехсот человек – преимущественно бедняки с боковых улиц у набережной, среди них были и женщины, некоторые с детьми, и кучка маленьких оборвышей. Думаю, мало кто из них представлял, что происходит, они просто прибежали в ПОУМ, ища защиты. Там были находящиеся в отпуске ополченцы и несколько иностранцев. Я прикинул, что на руках у всех нас около шестидесяти винтовок. Комнату наверху постоянно осаждала толпа людей, требовавших винтовки и получавших только один ответ – винтовок нет. Молоденькие ополченцы, видевшие в ситуации возможность повеселиться, шныряли повсюду, пытаясь выманить или стянуть винтовку у тех, кому повезло. Довольно скоро один хитростью увел у меня винтовку и скрылся. И я опять стал безоружным, если не считать автоматический пистолетик с единственной обоймой.

Стемнело. Хотелось есть, но во «Фалконе», похоже, еды не предвиделось. Мы с приятелем решили добраться до его гостиницы, благо она была недалеко, и поужинать. На улице было темно и пустынно – ни души, стальные шторы опущены во всех магазинах. Баррикад еще не было. После долгих препирательств нас все-таки впустили в гостиницу, открыв замки и засовы. После возвращения в «Фалкон» я выяснил, что телефонная станция работает, и поднялся наверх, чтобы позвонить жене. Удивительно, но во всем здании не нашлось телефонного справочника, а я не знал номера «Континенталя». Наконец, обшарив комнату за комнатой, на что ушло около часа, я нашел путеводитель по городу, где оказался номер моей гостиницы. Поговорить с женой не удалось, но я застал Джона Макнейра, представителя ИЛП в Барселоне. Он успокоил меня: в гостинице никто не пострадал, и спросил, как дела у нас в местном комитете. Все было бы отлично, сказал я, только сигарет не хватает. Я просто пошутил, но тем не менее через полчаса появился Макнейр с двумя пачками «Лаки страйк». Он не побоялся пройти по темным улицам, где его дважды останавливали патрули анархистов и проверяли документы. Никогда не забуду этот героический поступок. Сигареты нас очень порадовали.

У каждого окна поставили вооруженного часового, а внизу на улице небольшая группа бойцов из ударного батальона останавливала малочисленных прохожих и проверяла документы.

Подъехала, щетинясь винтовками, анархистская патрульная машина. Рядом с шофером сидела красивая темноволосая девушка лет восемнадцати с пулеметом на коленях. Чтобы убить время, я бродил по хаотично построенному зданию, ориентироваться в котором было невозможно. Тут был обычный беспорядок, искореженная мебель, клочки бумаги – похоже, неизбежные спутники революции. Повсюду спали люди, в коридоре на поломанном диване мирно посапывали две бедно одетые женщины с побережья. Раньше, до вселения сюда ПОУМ, это был театр-кабаре. В некоторых комнатах сохранились театральные помосты, на одном из них сиротливо стоял концертный рояль. Наконец я нашел то, что искал, – оружейный склад. Не зная, как пойдут события, я отчаянно нуждался в оружии. Я часто слышал, что соперничающие партии ПСУК, ПОУМ и СНТ-ФАИ заготавливают в Барселоне оружие, и потому не верил, что в двух главных оплотах ПОУМ хранились только те пятьдесят-шестьдесят винтовок, что я видел. Комната с оружием никем не охранялась, а дверь была настолько непрочной, что мне и второму англичанину не составило никакого труда ее взломать. Но, оказавшись внутри, мы поняли, что нам говорили правду: оружия не было. Тут остались лишь две дюжины малокалиберных винтовок устаревшего образца, несколько дробовиков и – никаких патронов. Я пошел в штаб и спросил, нет ли у них лишних патронов. Патронов не было. Одна анархистская патрульная машина привезла несколько ящиков с гранатами. Я захватил с собой парочку. Это были примитивные гранаты, они взрывались, если потереть верхушку чем-то вроде спички. Не исключено, что они могли сработать и сами по себе.

На полу спали люди. Где-то, не переставая, плакал ребенок. Хотя на дворе стоял май, ночь была холодная. На одном помосте бывшего кабаре по-прежнему болтался занавес. Срезав занавес ножом, я завернулся в него и так проспал несколько часов. Помнится, сон мой был неспокойный: я боялся, что, если начну ворочаться, эти проклятые гранаты могут разорвать меня на куски. В три часа ночи меня разбудил высокий красивый мужчина – по-видимому, глава обороны, – выдал мне ружье и поставил дежурить у одного из окон. Он сказал мне, что начальник полиции Салас, ответственный за попытку захвата телефонной станции, заключен под стражу. (На самом деле, как мы узнали позднее, его всего лишь сняли с поста. Тем не менее эта новость подкрепила общее мнение, что жандармерия действовала самовольно.) На рассвете люди стали возводить на улице баррикады: одну – у входа в местный комитет, а другую – у гостиницы «Фалкон». Улицы Барселоны вымощены квадратным

булыжником, из которого легко построить стену, а под ним – гравий, им удобно набивать мешки. Удивительное это занятие – возведение баррикад, – все бы отдал, чтобы это сфотографировать. За серьезно задуманное дело испанцы принимаются со страстной энергией. Длинные ряды мужчин, женщин и даже маленьких детей выворачивали булыжники, грузили их на неведомо где добытую тачку, тащили, пошатываясь, тяжелые мешки с гравием. В дверях местного комитета стояла девушка, по виду немецкая еврейка, она утопала в форменных штанах ополченца и, улыбаясь, смотрела на эту картину. Через пару часов баррикады были в человеческий рост, у амбразур стояли часовые, а за одной баррикадой развели огонь и жарили яичницу.

У меня опять отобрали винтовку, и делать мне было нечего. Мы с англичанином решили вернуться в «Континенталь». Вдалеке продолжали стрелять, но на Рамблас было спокойно. По дороге мы заглянули на рынок. Торговали только на нескольких прилавках – их осаждала толпа людей из рабочих кварталов к югу от Рамблас. Только мы вошли на рынок, как снаружи так сильно громыхнуло, что стеклянная крыша дрогнула, и народ кинулся бежать. Впрочем, несколько торговцев остались на месте. Нам удалось выпить по чашечке кофе и купить кусок овечьего сыра, который я втиснул между гранатами. Спустя несколько дней этот сыр очень пригодился.

На углу улицы, где днем раньше я видел стреляющих анархистов, теперь высилась баррикада. Стоявший за ней мужчина (я шел по другой стороне улицы) крикнул, чтоб я был осторожнее. Засевшие на церковной колокольне жандармы стреляли без разбора по каждому прохожему. Немного выждав, я пробежал открытое место, но пуля все-таки пролетела в опасной близости. Находясь все еще на противоположной стороне улицы, я почти подошел к штабу ПОУМ, когда мне опять крикнули что-то предупреждающее стоявшие в дверях бойцы из ударного батальона. Тогда я их не расслышал. Между мной и штабом росли деревья и стоял газетный киоск (на улицах такого типа посредине проходит широкая аллея), и я не понимал, на что они указывают. Войдя в «Континенталь» и убедившись, что все в порядке, я умылся и направился в штаб ПОУМ (он был всего в ста метрах от гостиницы) за дальнейшими указаниями. К этому времени доносившиеся со всех сторон выстрелы и пулеметный огонь сливались в такой грохот, что казалось, идет настоящий бой. Только я нашел Коппа, чтобы узнать, как нам действовать дальше, как внизу один за другим раздались оглушительные взрывы. Грохот был настолько силен, что я не сомневался: по нам палят

из пушек. Но оказалось, это рвались ручные гранаты: когда они бьют по камню, шум удваивается.

Копп глянул в окно, заложил за спину стек и сказал: «Пойдем посмотрим». По лестнице он спускался в своей обычной непринужденной манере. Я шел следом. В дверях стояли бойцы из ударного батальона, они скатывали гранаты по наклонному тротуару, словно играя в кегли. Гранаты взрывались метрах в двадцати, каждая – как сокрушительный удар грома, к которому присоединялась ружейная пальба. Посреди улицы из-за газетного киоска торчала, как кокос на ярмарке, голова американского ополченца, которого я хорошо знал. Только позднее я понял, что случилось. В соседнем со штабом ПОУМ здании была гостиница, и на ее первом этаже кафе под названием «Мокка». За день до начала боев в кафе пришли двадцать или тридцать вооруженных жандармов, и когда началась перестрелка, они неожиданно захватили здание и забаррикадировались в нем. Возможно, они получили приказ это сделать, чтобы потом использовать кафе для атаки на штаб ПОУМ. Рано утром они предприняли попытку выйти наружу, снова началась перестрелка, бойца из ударного батальона тяжело ранили, а одного жандарма убили. Так называемая гражданская гвардия опять укрылась в кафе, но когда жандармы увидели шедшего по улице американца, то открыли по нему огонь, хотя он был безоружен. Американец спрятался за киоском, а бойцы из ударного батальона пытались гранатами удерживать жандармов внутри кафе.

Копп с одного взгляда оценил ситуацию, протиснулся вперед и удержал от дальнейших действий рыжего немца, который как раз собирался вытащить зубами чеку гранаты. Он крикнул, чтобы все отошли от двери, и на нескольких языках потребовал избежать кровопролития. Затем ступил на тротуар и на глазах жандармов нарочито вынул пистолет и положил на землю. Два испанских офицера последовали его примеру, а потом все трое медленно направились к дверям, за которыми толпились жандармы. Такое я не сделал бы и за двадцать фунтов. Безоружные, они шли навстречу к до смерти перепуганным людям, державшим в руках заряженные винтовки. Из кафе на переговоры вышел полумертвый от страха жандарм в рубашке с засученными рукавами. Он, возбужденно размахивая руками, указывал на две не разорвавшиеся гранаты, лежащие на тротуаре. Копп вернулся и сказал, что будет лучше избавиться от этих гранат, угрожающих всем прохожим. Один боец выстрелил в гранату и взорвал ее, потом выстрелил во вторую, но промахнулся. Я попросил у него винтовку, встал на колено и выстрелил по второй гранате. Увы, не хочется признаваться, но я

тоже промазал.

То был мой единственный выстрел за время беспорядков. Тротуар густо покрывали осколки от разбитой вывески кафе «Мокка» и двух припаркованных рядом автомобилей. Представительская машина Коппа была вся изрешечена пулями, а ветровое стекло вдребезги разбито.

Мы с Коппом поднялись наверх, и он прояснил ситуацию. В случае атаки нам предписывалось защищать здания ПОУМ, но руководители партии прислали распоряжение не открывать огонь без крайней необходимости, а стараться держать оборону. Напротив нас располагался кинотеатр «Полиорама», над ним музей, а еще выше выступала над городскими крышами маленькая обсерватория с двумя куполами. Оттуда наши бойцы могли отразить любую атаку на ПОУМ. Работники кинотеатра – члены СНТ – не мешали нам передвигаться по зданию. С жандармами в кафе «Мокка» теперь тоже проблем не было: им не хотелось лезть в драку, они предпочитали жить и давать жить другим. Копп повторил, что приказано открывать огонь только в случае нападения на нас или наши помещения. Я догадался и без его помощи, что руководители ПОУМ в ярости, что организацию втягивают в это дело, но они не могли пойти против СНТ.

На крышу обсерватории поставили часовых. Три следующих дня и три ночи я провел на крыше «Полиорамы», изредка спускаясь вниз, чтобы наскоро перекусить в гостинице. Опасности я не подвергался, меня донимали только голод и скука, и все-таки я вспоминаю этот период как один из самых невыносимых в моей жизни. Трудно представить себе что-то более тошнотворное, угнетающее и, наконец, нервирующее, чем эти дни уличных боев.

Сидя на крыше, я удивлялся про себя глупости происходящего. Из маленьких окошек обсерватории открывался вид на мили вперед – высокие, стройные здания, стеклянные купола, причудливо изогнутые крыши, крытые ярко-зеленой и коричнево-красной черепицей, а дальше к востоку сверкающие голубые воды. Так я впервые со времени приезда в Испанию увидел море. А весь огромный город с миллионным населением сковала инерция, кошмар из звуков без движения. На залитых солнцем улицах не было ни души. Не происходило ничего, только из-за баррикад и из окон, заслоненных мешками с галькой, летели и летели пули. Движение транспорта также остановилось. На Рамблас кое-где стояли одинокие трамваи: вагоновожатые бросили их, когда началась пальба. И все это время, подобно тропическому ливню, непрерывно слышались дробные удары, отдававшиеся эхом в тысячах каменных домов. Трах-та-та, бум, бум – иногда грохот затихал и раздавались одиночные выстрелы,

но потом он усиливался с новым азартом и никогда не умолкал до самой ночи, а утром возобновлялся снова.

Что, черт возьми, происходило, кто с кем воевал и кто побеждал – все это поначалу понять было очень трудно. Жители Барселоны уже привыкли к уличным боям, город знали, как свои пять пальцев, и потому инстинктивно угадывали, какие улицы и какие дома находятся в ведении той или иной политической партии. У иностранца такого преимущества не было. Из обсерватории мне было видно, что по Рамблас, одной из главных улиц города, проходит разделительная линия. Справа, где располагались рабочие кварталы, был оплот анархистов, слева в основном преобладали части ПСУК и гражданской гвардии, хотя на боковых улочках происходили стычки непонятно кого с кем. В нашем конце Рамблас, в районе гостиницы «Каталония», ситуация сложилась настолько непонятная, что о расстановке сил можно было догадаться только по вывешенным партийным флагам. Главным ориентиром здесь была гостиница «Колон», штаб ПСУК, господствовавшая на площади Каталонии. В окне рядом со вторым «о» в вывеске «Колон» был установлен пулемет, способный уничтожить все живое на площади. В ста метрах вправо от нас в большом универсальном магазине держала оборону молодежная секция ПСУК (что-то вроде Лиги молодых коммунистов в Англии), боковые окна универмага, укрепленные мешками с песком, выходили на нашу обсерваторию. Молодые люди спустили красный флаг и на его место водрузили каталонский. На телефонной станции, где возникли первые стычки, оба флага – национальный каталонский и анархистский развевались рядом. Здесь достигли временного компромисса, связь работала бесперебойно и из здания никто не стрелял.

У нас все складывалось удивительно благополучно. Жандармы в кафе «Мокка» опустили стальные шторы и сложили из внутренней мебели баррикады. Потом некоторые залезли на крышу – как раз напротив нас – и выложили из матрасов еще одну баррикаду, над которой подняли каталонский национальный флаг. Было ясно, что воевать они не стремятся. Копп с ними договорился: они не стреляют в нас – мы не стреляем в них. К этому времени он уже был с жандармами на дружеской ноге и несколько раз навещал их в кафе «Мокка». Они, естественно, прибрали к рукам все спиртное, что было в кафе, и подарили Коппу пятнадцать бутылок пива. В ответ Копп вручил им одну из наших винтовок взамен той, что они потеряли в предыдущий день.

Все-таки странное это было занятие – сидеть на крыше. Иногда хотелось послать все к чертовой матери, и тогда я

переставал обращать внимание на адский шум и часами читал книжки в бумажной обложке издательства «Penguin» – к счастью, купил их несколькими днями раньше. Но иногда я отчетливо сознавал, что в пятидесяти метрах от меня сидят вооруженные люди и следят за мной. И тогда я словно снова оказывался в окопах. Я даже как-то поймал себя на мысли, что по привычке называю гвардейцев «фашистами». На крыше нас было шесть человек. В каждой башенке – по часовому, а остальные сидели на свинцовой крыше внизу под защитой одной лишь каменной ограды. Я прекрасно понимал, что жандармы в любой момент могут получить телефонный приказ открыть огонь. Нам обещали, что в случае чего мы получим предупреждение, но уверенности в искренности этого заявления не было. Один раз мне показалось, что столкновения не избежать. Один из жандармов вдруг встал на колено и начал стрелять. В это время на часах стоял я. Я уставил на него винтовку и крикнул:

– Эй ты! Не смей в нас стрелять!

– Что?

– Не стреляй, а то мы ответим!

– Нет, нет! Я стреляю не в вас. Погляди вниз.

Он указывал винтовкой на боковую улицу, отходящую от нашего здания. Действительно, молодой человек в синем комбинезоне с винтовкой в руках нырнул за угол. Ясно, это он стрелял по жандармам на крыше.

– Это в него я пальнул. Он первый выстрелил. – Не сомневаюсь, так и было. – В вас мы стрелять не хотим. Мы простые рабочие, как и вы.

Он поднял руку в антифашистском салюте, я ответил тем же.

– Пиво у вас осталось?

– Нет, все вылакали.

В тот же день без всякой на то причины из дома, где расположилась молодежь, какой-то парень, когда я выглянул в окно, выстрелил в меня. Возможно, я показался ему соблазнительной мишенью. На выстрел я не ответил. Хотя до меня было всего сто метров, пуля даже не попала в крышу обсерватории. Как обычно, меня спасла «меткая стрельба» испанцев. Из того дома в меня стреляли еще несколько раз.

Гул перестрелки не прекращался. Из того, что я видел и слышал, можно было заключить, что все стреляли в целях обороны. Люди не выходили из зданий или укрывались за баррикадами и целились в тех, кто был напротив. Примерно в полумиле от нас проходила улица, где штабы СНТ и УГТ почти смотрели в окна друг другу. Вот оттуда неслась особенно сильная стрельба. На следующий день после окончания беспорядков я

прошел по той улице – витрины магазинов напоминали решето. (Большинство лавочников в Барселоне заклеили свои витрины полосками бумаги крест-накрест, чтобы шальная пуля не разнесла все стекло.) Иногда на трескотню винтовок и пулеметный огонь накладывались взрывы гранат. После долгих интервалов – возможно, их всего было около дюжины – раздавались особенно мощные взрывы, которые поначалу я идентифицировать не мог: казалось, идет бомбардировка с воздуха. Но это было невозможно – самолеты здесь не летали. Позже мне говорили, и я охотно в это верю, что этот страшный грохот устраивали провокаторы, взрывавшие склады с боеприпасами, чтобы обострить обстановку и посеять панику. Артиллерийского огня, однако, не было. Я специально вслушивался: если б вмешалась артиллерия, это означало бы, что дело принимает серьезный оборот (артиллерия – определяющий фактор в уличных боях). Впоследствии в газетах появилось много выдумок об артиллерийских батареях, бьющих по улицам, но никто не мог показать ни одного здания, куда попал бы снаряд. Кроме того, знающий человек ни с чем не спутает гром пушек.

Почти с первых дней беспорядков рацион наш стал более скудным. Под покровом темноты с изрядными трудностями (жандармы постоянно постреливали на Рамблас) из гостиницы «Фалкон» доставлялась пища пятнадцати или двадцати ополченцам, охранявшим штаб ПОУМ, но этого явно не хватало, и те, у кого была возможность, ходили есть в «Континенталь». Гостиницу «оккупировали» все, кто мог, а не только члены СНТ или УГТ, она считалась нейтральной территорией. Как только началась заварушка, гостиницу заполонил самый невероятный народ. Иностранные журналисты, подозрительные политические отщепенцы, американский летчик на службе у правительства, коммунистические агенты, в том числе толстый, зловещего вида русский, по слухам, агент ОГПУ[42], он всегда ходил с револьвером на поясе и маленькой гранатой, и его прозвали Чарли Ченом[43]. Еще там были семьи состоятельных испанцев, похоже, симпатизирующих фашистам, двое или трое раненых бойцов из интернациональной бригады, группа шоферов, перевозивших на огромных грузовиках апельсины во Францию и задержавшихся в Барселоне из-за последних событий, и несколько офицеров из Народной армии.

В целом Народная армия во время этих событий сохраняла нейтралитет, хотя кое-кто из солдат сбежал из своих частей и принимал участие в боях. Утром вторника я видел пару таких солдат на баррикадах ПОУМ. В первые дни, когда не ощущался острый недостаток еды и газеты еще не стали нагнетать

ненависть, сохранялась тенденция представлять все это как шутку. Люди говорили, что такое в Барселоне случается чуть ли не каждый год. Наш большой приятель Джордж Тиоли, итальянский журналист, вдруг появился перед нами в перепачканных кровью штанах. Он вышел из гостиницы посмотреть, что происходит на улице, увидел на тротуаре раненого, стал его перевязывать, и в это время кто-то игриво кинул ему гранату. К счастью, журналист легко отделался. Помню, он говорил, что в Барселоне надо пронумеровать всю брусчатку, чтобы было легко ее разбирать и потом снова укладывать. Вспоминаются мне и несколько человек из интернациональной бригады, они сидели в моем гостиничном номере, когда я усталый, голодный и грязный вернулся после ночного дежурства. Они относились к происходящему равнодушно. Крепкие партийцы, думаю, постарались бы перетащить меня в свою партию или просто отобрали гранаты, но они просто посочувствовали, что мне приходится проводить отпуск, дежуря на крыше. Отношение у них было такое: «Это всего лишь выяснение отношений между анархистами и полицией – ничего особенного». Несмотря на напряженность боев и число жертв, я думаю, такое мнение ближе к истине, чем официальная версия о запланированном восстании.

Примерно в среду (5 мая) стали ощущаться перемены. Улицы с зашторенными окнами выглядели жутковато, но на них появились первые опасливые прохожие, которых жизнь гнала по делам. Они шли, размахивая белыми платками, а разносчики прессы, найдя безопасное местечко посредине Рамблас, выкрикивали в пустоту улицы названия газет. Во вторник анархистская газета «Солидаридад обрера» назвала нападение на телефонную станцию «чудовищной провокацией» (или чем-то около того), но уже в среду сменила тон и стала уговаривать жителей приступить к работе. Вожди анархистов призывали к тому же по радио. Редакция «Ла Баталла», газеты ПОУМ, была атакована и захвачена в то же время, что и телефонная станция. Однако ее напечатали по другому адресу, и несколько экземпляров удалось распространить. Я, в свою очередь, призывал всех не покидать баррикады. Люди не знали, что делать, не понимая, каким образом эта ситуация может разрешиться. Я сомневался, что кто-нибудь уйдет с баррикад, однако всем опротивело бессмысленное противостояние, которое ни к чему не вело и грозило перейти в полномасштабную гражданскую войну. А это могло привести к поражению в войне с Франко, чего опасались обе стороны.

Насколько можно судить по тому, что тогда говорили,

рядовые члены СНТ с самого начала хотели только вернуть телефонную станцию и разоружить ненавистную жандармерию. Если бы каталонское правительство пообещало выполнить эти две вещи, а также положить конец продовольственной спекуляции, то, вне всяких сомнений, баррикады разобрали бы за два часа. Но правительство не собиралось сдаваться. Поползли неприятные слухи. Поговаривали, что правительство Валенсии послало шесть тысяч человек для захвата Барселоны, и потому пять тысяч анархистов и войска ПОУМ вынуждены уйти с Арагонского фронта, чтобы им противостоять. Подтвердился только первый из слухов. С обсерваторской башни мы видели низкие серые очертания военных кораблей, входящих в гавань. Дуглас Мойл, в прошлом моряк, сказал, что они похожи на английские эсминцы. Как оказалось, это и были английские эсминцы, о чем стало известно позже.

Этим вечером мы узнали, что на площади Испании четыреста жандармов сдались анархистам, сдав свое оружие; ходили также слухи, что окраины города (преимущественно рабочие кварталы) контролируются СНТ. Все выглядело так, словно мы победили. Но вечером Копп послал за мной и с серьезным видом сообщил, что, согласно полученной информации, правительство собирается объявить ПОУМ вне закона и начать с партией борьбу. Я пережил настоящий шок и впервые осознал, как можно интерпретировать произошедшие события. Я и раньше смутно предвидел, что по окончании боев всю вину за случившееся возложат на ПОУМ как на самую слабую партию, сделав из нее козла отпущения. Таким образом, наш местный нейтралитет подошел к концу. Если нам объявили войну, оставалось только защищаться. Сомнений не было – жандармы из соседнего здания вот-вот получат приказ атаковать наш штаб. Нас могло спасти только одно – упреждающий удар. Копп ждал приказа у телефона: если подтвердится, что ПОУМ запрещена, придется срочно готовиться к захвату кафе «Мокка».

Никогда не забуду бесконечный, кошмарный вечер, который мы провели за укреплением здания. Мы закрепили стальные шторы у главного входа и построили баррикаду из кирпичей, оставленных рабочими, которые занимались здесь какими-то переделками. Проверили наличие оружия. Вместе с теми шестью, что находились на крыше «Полиорамы», у нас была двадцать одна винтовка, из которых одна была негодной. К каждой винтовке прилагалось по пятьдесят патронов, было еще несколько десятков гранат, и больше ничего, кроме небольшого количества пистолетов и револьверов. Десяток бойцов, в основном немцы, вызвались, когда придет время, атаковать кафе «Мокка».

Атаковать надо было с крыши на рассвете, чтобы застать жандармов врасплох. Их больше, но у нас сильнее боевой дух, и нам, без сомнения, удастся взять кафе приступом, хотя жертвы при этом неизбежны. В нашем штабе не было никакой еды, кроме нескольких плиток шоколада, кроме того, прошел слух, что «они» собираются отключить воду. (Никто не знал, кто такие «они». То ли правительство, контролирующее водоснабжение, то ли СНТ – непонятно.) Мы наполнили все тазы в туалетных комнатах, все ведра, которые нашли, и даже те пятнадцать бутылок из-под пива, которое жандармы подарили Коппу.

Я находился в отвратительном расположении духа и к тому же здорово устал, так как провел без сна почти шестьдесят часов. Была глубокая ночь. Люди, устроившись внизу у баррикад, спали на полу вповалку. Наверху нашлась небольшая комната с диваном, которую мы решили использовать как перевязочную, несмотря на то что во всем здании, разумеется, не нашлось ни йода, ни бинтов. Моя жена пришла из гостиницы на тот случай, если понадобится медсестра. Я лег на диван, чувствуя, что нужно хоть полчасика отдохнуть перед атакой, в которой меня вполне могли убить. Помню, как ужасно мешал пристегнутый к поясу пистолет, вонзавшийся в поясницу. Тем не менее я провалился в сон и проснулся словно от толчка. Рядом стояла жена. Комната была залита дневным светом. Ночью ничего не произошло. Правительство не объявило войну ПОУМ, воду не отключили, и вообще все было нормально, кроме единичных выстрелов на улице. Жена сказала, что ей было жалко меня будить, и она провела ночь в кресле.

Днем наступило нечто вроде перемирия. Стрельба прекратилась, и словно по мановению волшебного жезла улицы наполнились людьми. Некоторые магазины подняли шторы. На рынок повалил народ, жаждущий пропитания, но прилавки были почти пустые. Впрочем, трамваи не ходили, и это бросалось в глаза. Жандармы по-прежнему сидели, забаррикадировавшись, в кафе «Мокка», ни одна из сторон не разбирала укрепления. Люди бегали по улицам, пытаясь купить еду, и со всех сторон слышался один и тот же вопрос: «Вы думаете, *это* кончилось? Не начнется ли *это* снова?» К «этому» – боям – теперь относились как к неизбежному бедствию вроде урагана или землетрясения, от которого нельзя укрыться и которое нельзя остановить. И действительно, почти мгновенно – должно быть, прошло несколько часов, но передышка показалась минутой – словно обрушился июньский ливень, затрещали винтовки, и все разбежались. Опустились стальные шторы, улицы мигом опустели, бойцы вернулись на баррикады, и «это» снова

завертелось…

Я вернулся на свой пост на крыше со смешанным чувством отвращения и ярости. Когда принимаешь участие в таких событиях, то в каком-то смысле творишь историю, но героической личностью себя никак не ощущаешь. Этого не происходит: повседневные, материальные вещи перевешивают все остальное. Во время боев мне никогда не удавалось «проанализировать» ситуацию, что с легкостью делали журналисты за сотни миль отсюда. В первую очередь я думал не о справедливости или несправедливости ничтожной междоусобной стычки, а о том, как скучно и неудобно сидеть на проклятой крыше, испытывая голод, который с каждой минутой усиливался: ведь никто из нас с понедельника толком не ел. Я думал только об одном: когда этот кошмар здесь закончится, сразу вернусь на фронт. Я был вне себя от ярости. Провести сто пятнадцать дней на передовой, вернуться в Барселону в надежде пусть и недолго, но с комфортом отдохнуть, а вместо этого торчать на крыше, следя за жандармами, которым вся эта история надоела не меньше, чем мне. Жандармы время от времени дружелюбно махали мне, уверяя, что они такие же «рабочие» (надеясь, что я не буду в них стрелять), но, без всяких сомнений, получив приказ, тут же открыли бы по мне огонь. Если так делается история, то в том нет никакой героики. Скорее это похоже на фронтовые будни, когда не хватает людей и приходится подолгу стоять в карауле. Никакого героизма – просто торчишь на посту, изнемогаешь от скуки, мечтаешь о том, чтобы наконец выспаться, и полностью теряешь интерес к происходящему.

Внутри гостиницы среди разношерстной толпы, из которой никто не осмеливался высунуть нос наружу, нарастала жуткая атмосфера подозрительности. У некоторых развилась шпиономания, и они слонялись по гостинице, нашептывая каждому на ухо, что этот тип – коммунистический агент, тот – троцкистский или анархистский или еще чей-то. Толстый русский шпион уводил иностранных беженцев по очереди в угол и доходчиво объяснял, что тут имеет место анархистский заговор. Я с интересом наблюдал за ним, потому что впервые встретил человека, если не считать журналистов, чьей профессией было распространение лжи. Было что-то отталкивающее в этой пародии на жизнь в шикарном отеле, которая проходит за спущенными шторами под грохот стрельбы. В парадную столовую через окно залетела пуля, отколола кусок колонны, и испуганные гости перебрались в темную комнату в глубине здания, где не всегда хватало столиков. Количество официантов сократилось – некоторые были членами СНТ и бастовали, сняв на время свои

накрахмаленные сорочки, но обслуживание оставалось по-прежнему церемонным, хотя есть было практически нечего. Так в четверг на ужин каждому дали по одной сардине. Хлеба в гостинице не было уже несколько дней, вина тоже осталось мало, и нам приходилось пить все более и более старые вина по все большей цене. После окончания боев нехватка пищи сохранялась еще несколько дней. Помнится, три дня подряд мы с женой на завтрак съедали по небольшому кусочку овечьего сыра без хлеба и воды. Только апельсинов было много. Французские шоферы привезли их в гостиницу в большом количестве. Эти на вид крутые парни приводили с собой вульгарных испанских девиц и огромного грузчика в черной рубашке. В другое время управляющий отелем со снобистскими замашками сделал бы все, чтобы испортить им здесь пребывание, а скорее всего, даже просто отказался бы их впустить, но сейчас они в отличие от нас были желанными гостями с запасом хлеба, который мы у них выпрашивали.

Я провел еще одну ночь на крыше, а на следующий день все выглядело так, будто бои действительно прекратились. В этот день – была пятница – стреляли мало. Похоже, никто не знал наверняка, пришлют ли войска из Валенсии – кстати, вечером они вступили в город. По радио транслировались правительственные призывы, иногда в них звучали успокаивающие нотки, а иногда – угрожающие: всем приказывали разойтись по домам, а тем, кого после определенного часа поймают с оружием, грозили арестом. На правительственные речи особого внимания не обращали, но баррикады быстро опустели. Не сомневаюсь, в основном это было связано с нехваткой продовольствия. Всюду слышалось одно и то же: «Еды больше нет, пора возвращаться на работу». С другой стороны, жандармы, которые знали, что получат свой рацион, пока в городе еще есть какая-то провизия, оставались на своих постах. К середине дня город почти принял свой обычный вид, если не считать покинутых баррикад. На Рамблас толпился народ, магазины работали, и, что больше всего обнадеживало: трамваи, которые, казалось, уже вросли в землю, дернулись и покатили по рельсам. Жандармы по-прежнему занимали кафе «Мокка», баррикады они не разобрали, но некоторые из них вынесли стулья на улицу и сидели, держа винтовки на коленях. Проходя мимо, я подмигнул одному, и тот в ответ тоже дружелюбно улыбнулся – он, конечно, узнал меня. С крыши телефонной станции сняли анархистский флаг, теперь там развевался только каталонский. Это означало, что рабочие окончательно разбиты. Мне стало понятно – хотя из-за моего политического невежества не так ясно, как следовало бы, – что

как только правительство почувствует себя увереннее, начнутся репрессии. Но тогда меня это не очень занимало. Я чувствовал глубокое облегчение от сознания, что проклятая стрельба закончилась и теперь можно купить какой-нибудь еды и перед возвращением на фронт насладиться мирным отдыхом.

Войска из Валенсии вошли в город, должно быть, поздним вечером. Это была ударная гвардия – формирование, подобное гражданской гвардии, карабинеры – части, предназначенные главным образом для полицейской работы, и отборные войска Республики. Они словно выросли из-под земли. На всех улицах появились патрули – группы из десяти высоких мужчин в серых или синих униформах, с длинными винтовками через плечо и с одним автоматом на группу. Нам же предстояло решить одну деликатную проблему. На крыше обсерватории остались шесть винтовок, с которыми дежурили наши часовые, требовалось любым способом доставить их в штаб ПОУМ. Как перенести оружие через улицу – вот в чем заключалась трудность. Винтовки были частью военного снаряжения ПОУМ, но, вынося их на улицу, мы нарушали приказ правительства и, пойманные с поличным, могли быть арестованы – хуже того, винтовки могли конфисковать. Имея в штабе всего двадцать одну винтовку, мы не могли потерять шесть из них. После долгой дискуссии, как лучше провернуть эту операцию, я и молодой рыжий испанец приступили к делу. От патруля ударной гвардии увернуться было не трудно, опасность представляли жандармы, засевшие в кафе: они прекрасно знали о винтовках на крыше обсерватории и могли сорвать всю операцию, если бы увидели нас с оружием на улице. Мы с испанцем частично разделись, повесили винтовки на левое плечо – приклад засунули под мышку, а дуло – в штанину. К сожалению, это были длинные «маузеры». Даже рослый человек вроде меня чувствует неудобство, когда такая винтовка прижата к его ноге. Спускаться по круговой лестнице с негнущейся левой ногой был сущий ад. Оказавшись на улице, мы поняли, что единственная возможность перейти на другую сторону – это двигаться как можно медленнее, чтобы не сгибать ноги в коленях. Кучка людей у кинотеатра с большим интересом смотрела, как я тащусь по улице с черепашьей скоростью. Позже я задавался вопросом: интересно, чем они объясняли мою странную походку? Наверное, ранением на войне. Во всяком случае, все винтовки были благополучно доставлены на место.

На следующий день ударная гвардия была повсюду, они ходили по улицам с видом победителей. Несомненно, правительство таким образом демонстрировало свою силу, дабы держать народ в благоговейном страхе, отлично понимая, что тот

и так уже не будет сопротивляться. Если бы существовала реальная опасность нового бунта, ударную гвардию держали бы в казармах, а не пускали разгуливать по улицам маленькими группами. Это были отличные войска, лучше я в Испании не видел, и, хотя в каком-то смысле они были «врагами», я не мог ими не любоваться. Однако мое восхищение смешивалось с изумлением. На Арагонском фронте я привык к потрепанным, плохо вооруженным ополченцам и даже не подозревал, что у Республики есть такие войска, как эта ударная гвардия. И дело не только в том, что гвардейцы все как один были крепкие парни, меня поразило их вооружение. Все ходили с новенькими винтовками, которые называли «русскими» (их действительно присылали из СССР, но изготавливали, скорее всего, в Америке). Я внимательно осмотрел одну из них. Далекая от совершенства, она была все же несравнимо лучше тех жутких старых мушкетонов, из которых мы стреляли на фронте. Каждый боец имел автоматический пистолет, один автомат был положен на группу из десяти человек. У нас на фронте автомат приходился примерно на пятьдесят человек, а что до пистолетов и револьверов, их приобретали только нелегально. Ударная гвардия и карабинеры, которые не готовились для фронта, были гораздо лучше вооружены и одеты, чем мы. Подозреваю, что так бывает на всех войнах: тот же контраст между лощеными полицейскими в тылу и оборванными солдатами на передовой. В целом дня через два-три гвардейцы уже отлично ладили с местным населением. В первый день еще случались стычки, потому что гвардейцы – действуя, видимо, по инструкции, – вели себя несколько провокационно. Они врывались в трамваи, обыскивали пассажиров, и если находили у кого-то членский билет СНТ, рвали его и растаптывали ногами. Это привело к драке с вооруженными анархистами, и один или двое были убиты. Скоро гвардейцы перестали вести себя высокомерно, и отношения с местными жителями стали более дружелюбными. Многие из них уже через день-другой обзавелись девушками.

Бои в Барселоне дали правительству в Валенсии долгожданный повод для установления контроля над Каталонией. Ополчение готовились расформировать, а самих ополченцев ввести в состав Народной армии. Над Барселоной развевался испанский республиканский флаг – мне кажется, я увидел его впервые, если не считать фашистских окопов. В рабочих кварталах разбирали баррикады – довольно неряшливо, надо сказать: ведь построить баррикады легче, чем потом относить камни на место. Баррикады у зданий ПСУК разрешили оставить, и некоторые стояли до июня. Жандармы по-прежнему

занимали места стратегического значения. Из опорных пунктов СНТ увезли большое количество оружия, хотя, не сомневаюсь, многое удалось спрятать. «Ла Баталла» по-прежнему издавалась, но подвергалась такой беспощадной цензуре, что на первой странице были большие пустоты. Газеты ПСУК выходили без цензуры и публиковали откровенно подстрекательские статьи, в которых требовали запретить деятельность ПОУМ. Нашу партию объявляли замаскированной фашистской организацией, и агенты ПСУК распространяли по городу карикатуру на ПОУМ, где был нарисован неприятный тип, с него спадала маска с эмблемой серпа и молота, под которой оказывалось жуткое лицо маньяка со свастикой на лбу. Стало очевидно, что выработана официальная версия барселонского конфликта: фашистская пятая колонна подняла мятеж, спровоцированный ПОУМ.

Теперь, когда бои закончились, в гостинице установилась тяжелая атмосфера враждебности и подозрительности. Трудно было сохранить нейтралитет, слыша повсюду направленные против тебя обвинения. Заработала почта, стала приходить иностранная коммунистическая пресса, однако освещение боев в газетах было не просто предвзятым – в них чудовищно искажались факты. Думаю, местные коммунисты, видевшие все собственными глазами, были обескуражены такой интерпретацией, но им оставалось только молчать. Наш приятель из коммунистов как-то опять подошел ко мне и спросил, не хочу ли я перейти в интернациональную бригаду.

Я несколько удивился:

– Но ваши газеты называют меня фашистом. Придя к вам из ПОУМ, я буду весьма подозрительным человеком в политическом отношении.

– Это не имеет значения. В конце концов, ты просто исполнял приказ.

Пришлось сказать ему, что после всего случившегося я считаю недостойным для себя вступать в какое-либо объединение под контролем коммунистов. Раньше или позже, но меня заставят пойти против испанского рабочего класса. Нельзя знать, когда вновь может разразиться подобная история, но, если в тот момент у меня будет в руках винтовка, я буду воевать на стороне рабочих против их врагов. Он отнесся к моим словам с пониманием. Но обстановка продолжала меняться. Нельзя было, как раньше, «забыв на время о разногласиях», выпивать с человеком, который мог быть вашим политическим противником. В гостинице случались безобразные стычки. В то же время тюрьмы были переполнены. Когда бои закончились, анархисты, конечно, выпустили пленных на свободу, но жандармы не выпустили своих

заключенных, большинство из которых были брошены в тюрьму и месяцами сидели там без суда и следствия. Как обычно, благодаря неумелой работе полиции были арестованы ни в чем не повинные люди. Я упомянул раньше, что Дэвида Томпсона ранили в начале апреля. Потом мы утратили с ним связь, ведь раненых часто перевозят из одного госпиталя в другой. Из госпиталя в Таррагоне его направили обратно в Барселону как раз в дни боев. Утром во вторник я встретил его на улице. Он ничего не понимал и, ошеломленный стрельбой, только озирался по сторонам. Вопрос, который он задал, в то утро задавали все:

– Что здесь происходит, черт возьми?

Я объяснил как мог. Томпсон отреагировал быстро:

– Не собираюсь в этом участвовать. Рука еще не зажила. Пойду в гостиницу и там отсижусь.

Он вернулся в гостиницу, но, к сожалению (во время уличных боев важно знать местную географию), его гостиница находилась в той части города, где хозяйничали жандармы. Во время очередного рейда Томпсона арестовали, бросили в тюрьму и восемь дней держали в переполненной камере, где негде было лечь. Таких случаев хватало. Многие иностранцы с сомнительной политической биографией скрывались от полиции в постоянном страхе доноса. Хуже всего приходилось не имевшим паспортов итальянцам и немцам, которых разыскивала секретная полиция в их собственных странах. Если бы их арестовали, то, скорее всего, переправили бы во Францию, что не исключало высылки в Италию или Германию, где их ожидали бог весть какие ужасы. Парочка иностранок быстро решили эту проблему, фиктивно «выйдя замуж» за испанцев. Немецкая девушка, не имевшая никаких документов, спаслась от полиции, прикидываясь несколько дней любовницей своего знакомого. Помню выражение стыда и смущения на ее лице, когда я случайно увидел, как она выходит из его спальни. На самом деле девушка не была его любовницей, но решила, что я в эту басню поверил. Вас преследовало отвратительное чувство, что кто-то, считавшийся до сих пор вашим другом, может донести на вас в полицию. От длительного кошмара боев, шума, нехватки еды и сна, напряжения и одновременно скуки дежурства на крыше, где тебя в любой момент могли убить или вынудить стрелять самому, нервы мои окончательно расшатались. Я дошел до того, что хватался за пистолет всякий раз, когда хлопала дверь. В субботу утром на улице раздались выстрелы и кто-то крикнул: «Ну вот, опять началось!» Я выбежал на улицу и увидел, как несколько гвардейцев стреляют по бешеной собаке. Никто из тех, кто был в те дни в Барселоне или несколькими месяцами позже, никогда не

забудет эту жуткую атмосферу страха, подозрительности, ненависти, газетную цензуру, переполненные тюрьмы, огромные очереди за продуктами и повсюду рыскающие группы вооруженных мужчин.

Я попытался дать какое-то представление о том, что чувствовал человек, оказавшийся в Барселоне в разгар уличных боев, однако не уверен, что мне удалось передать всю странность и непохожесть этого времени. Когда я мысленно возвращаюсь к случайным встречам в те дни, мне вспоминаются люди, не принимавшие участия в событиях, которые казались им бессмысленной тратой времени. Помню хорошо одетую женщину с продуктовой корзинкой на руке, она вела на поводке белого пуделя, а в это время на соседней улице раздавалась стрельба. Возможно, она была глуховата. Помню мужчину, бегущего по абсолютно пустой площади Каталонии с белым платком в каждой руке. И еще группу людей в черной одежде, которые в течение часа тщетно пытались перейти площадь Каталонии, но каждый раз, когда они показывались из-за угла, пулеметчики из ПСУК, засевшие в гостинице «Колон», открывали огонь и прогоняли их по непонятной причине: люди были явно не вооружены. Я думаю, то была похоронная процессия. Помню плюгавого мужчину, работавшего смотрителем в музее над «Полиорамой», который относился ко всему как к светскому мероприятию. Смотритель от души радовался, что его навестили англичане, – они такие *simpatico*[44], говорил он, выражая надежду, что когда беспорядки закончатся, мы снова его навестим. Что я, кстати, и сделал. А другой мужчина, тоже невысокого роста, стоя в подворотне, добродушно кивнул в сторону площади Каталонии, где шла ожесточенная драка, и сказал (словно речь шла о погоде): «У нас, похоже, снова девятнадцатое июля!» Помню работников сапожной мастерской, где я трижды заказывал себе ботинки – перед боями, после них и во время короткого перемирия 5 мая. Это была дорогая мастерская, и работали в ней члены УГТ и, возможно, ПСУК – во всяком случае, они были в политическом отношении по другую сторону баррикад и знали, что я состою в ополчении ПОУМ. Но относились к этому совершенно спокойно. «Жаль, что такое творится! И для бизнеса плохо. Хоть бы все кончилось поскорее! Неужели стрельба на фронте не надоела!» И дальше в таком же духе. В Барселоне было много людей, возможно, даже большинство, относившихся к этим событиям безучастно, словно то был рядовой воздушный налет.

В этой главе я описал свои личные впечатления. В следующей – постараюсь, насколько смогу, остановиться на более крупных проблемах и рассказать, что произошло на самом деле, какие

были результаты, кто был прав, кто виноват и кто нес ответственность за эти события. В боях в Барселоне многие заложили основу своего политического капитала, поэтому важно дать беспристрастную оценку этим событиям. На эту тему написано так много всего, что получилась бы не одна книга, но, думаю, не будет преувеличением, если я скажу, что девять десятых всех материалов – вранье. Почти все газетные публикации того периода написаны журналистами, находящимися на большом расстоянии от событий, их статьи не точны в передаче фактов, а подчас и заведомо подтасованы. Обычно широкой публике давали ознакомиться с одной стороной событий. Как все, кто находился в то время в Барселоне, я знал только то, что происходило в моем ближайшем окружении, однако видел и слышал я достаточно, чтобы опровергнуть многие лживые слухи. Повторю еще раз: если вас не интересуют политические разногласия и борьба между крупными и мелкими партиями с мудреными названиями (вроде имен китайских генералов), пропустите эту главу. Крайне неприятно входить в детали межпартийной полемики – все равно что залезть в выгребную яму, но до истины необходимо докопаться – насколько это получится. То, что представляется всего лишь ничтожной сварой в далеком городе, гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд.

Глава 11

Никогда нельзя уже будет получить полный, точный и объективный отчет о событиях в Барселоне – ведь необходимых документов не существует. Будущим историкам придется разбираться в многочисленных взаимных обвинениях и пропагандистских материалах партий. У меня самого почти нет документов; я сужу, опираясь на то, что видел собственными глазами и слышал от других очевидцев, которым могу полностью доверять. Однако я могу опровергнуть откровенную ложь и представить события в некоторой перспективе.

Прежде всего – что все-таки произошло на самом деле?

В течение какого-то времени обстановка в Каталонии обострялась. В первых главах книги я привел некоторые факты борьбы между коммунистами и анархистами. К маю 1937 года атмосфера настолько накалилась, что взрыв казался неизбежным. Непосредственной причиной разногласий стал приказ правительства сдать все личное оружие в соответствии с решением создать хорошо вооруженную, не связанную с политикой полицию, в которую не принимались бы члены профсоюза. Всем было понятно, что это означает: дальше последует захват ключевых отраслей промышленности, находящихся под контролем СНТ. Кроме того, нарастало недовольство рабочего класса из-за растущего неравенства богатых и бедных и повсеместного ощущения, что революцию саботируют. Многие были приятно удивлены, что 1 мая обошлось без беспорядков. 3 мая правительство приняло решение захватить телефонную станцию – на которой с начала войны работали члены СНТ – под предлогом, что станция плохо работает и официальные звонки прослушиваются. Шеф полиции Салас (непонятно, превысил он свои полномочия или нет) послал три грузовика с вооруженными полицейскими для захвата станции, улицу перед зданием предварительно очистили полицейские в штатском. В то же время отряды жандармов заняли другие стратегически важные объекты. Каковы бы ни были истинные мотивы этих действий, все верили, что это сигнал для жандармов и ПСУК (коммунистов и социалистов) начать общее наступление на СНТ. По городу разнесся слух, что захватывают здания, принадлежащие рабочим профсоюзам, на улицах появились вооруженные анархисты, остановилась работа на предприятиях, и сразу же пошли стычки. Всю ночь и утро следующего дня повсюду возводились баррикады, и бои не прекращались до утра 6 мая. Однако обстрелы с обеих сторон носили преимущественно

оборонительный характер. Здания осаждались, но, насколько мне известно, ни одно не было взято штурмом, не прибегали и к помощи артиллерии. Грубо говоря, СНТ, ФАИ и ПОУМ контролировали рабочие предместья, а вооруженные полицейские формирования и ПСУК – центр города и официальные учреждения. 6 мая наступило перемирие, но вскоре бои возобновились снова – возможно, из-за преждевременных попыток жандармов разоружить рабочих из СНТ. Однако на следующее утро люди по собственной инициативе стали покидать баррикады. Приблизительно до ночи 5 мая преимущество было на стороне СНТ, и многие жандармы сдались. Но у рабочих не было ни признанного руководства, ни четкого плана действий – и, если говорить откровенно, не было вообще никакого плана, кроме неосознанного желания противостоять жандармам. Руководители СНТ совместно с УГТ призывали всех вернуться к работе; кроме того, на исходе были продукты. При таких обстоятельствах никто не решался продолжать бои. Днем 7 мая ситуация почти нормализовалась. Но вечером того же дня прибыли из Валенсии морем шесть тысяч бойцов из ударной гвардии и взяли в свои руки контроль над Барселоной. Правительство издало приказ всем сложить оружие и подчиниться регулярным войскам, и в течение нескольких последующих дней было конфисковано много оружия. По официальным данным, число жертв во время уличных боев составило около четырехсот убитыми и тысячи ранеными. Четыреста – скорее всего, преувеличение, но, так как ничего доказать нельзя, придется принять эту цифру на веру.

А теперь о последствиях боев. Невозможно с полной определенностью утверждать, что уличные бои как-то повлияли на ход войны, хотя явно могли бы, если бы продолжились еще несколько дней. Однако они послужили поводом для непосредственного подчинения Каталонии правительству в Валенсии, роспуску ополчения и запрещения ПОУМ; нет сомнений и в том, что эти события способствовали падению правительства Кабальеро. Но произошли бы они в любом случае. Основной вопрос в том – выиграли или проиграли рабочие из СНТ, выйдя на улицу с оружием в руках. Все это из области догадок, но лично я думаю, что больше выиграли, чем проиграли. Захват телефонной станции в Барселоне – просто один эпизод в длинной цепи событий. Начиная с прошлого года власть постепенно уходила из рук профсоюзов, рабочий класс терял контроль над происходящим, движение шло в сторону государственного капитализма, а может быть, и к возвращению частного капитала. Возникшее народное сопротивление могло замедлить этот процесс. Спустя год после начала войны

каталонские рабочие утратили свое преимущество, но все-таки положение было сравнительно благоприятным. Было бы значительно хуже, если бы они показали, что пойдут на поводу у любой провокации. Существуют моменты, когда лучше вступить в сражение и проиграть, чем сдаться без боя.

И наконец, какая цель, если она была, стояла за этими боями? Была ли это попытка *coup d'état*[45] или революционное восстание? Преследовалась ли цель сбросить правительство? Готовился ли мятеж заранее?

Мое мнение: подготовка к боям сводилась только к ожиданию – все этого ждали. Не было никаких признаков планирования ни у одной из сторон. Можно с уверенностью сказать, что для анархистов эти события стали неожиданностью, потому что в них принимали участие в основном рядовые члены партии. На улицы вышли простые люди, а политические руководители неохотно последовали за ними или вообще остались дома. Революционные призывы исходили только от небольшой экстремистской группы «Друзья Дуррути»[46] в рядах ФАИ и от ПОУМ. Но и они шли на поводу у событий. «Друзья Дуррути» стали распространять революционные листовки только с 5 мая, так что они не могли стать причиной боев, начавшихся двумя днями раньше. Официальные руководители СНТ сразу осудили их действия. Тому было много причин. Начать с того, что СНТ была по-прежнему представлена в правительстве, и каталонские власти следили за тем, что ее лидеры были настроены более консервативно, чем рядовые члены. Во-вторых, главной целью руководителей СНТ было объединиться с УГТ, а бои могли только углубить раскол между партиями – по крайней мере, на какое-то время. В-третьих, хотя в то время этого еще не знали – вожди анархистов боялись, что, если дело зайдет далеко и рабочие завладеют городом (это было возможно 5 мая), начнется иностранная интервенция. В порту стояли английские суда – крейсер и два эсминца, да и другие военные корабли находились неподалеку. Английские газеты писали, что корабли подошли к Барселоне, чтобы «защищать британские интересы», но на самом деле они ни во что не вмешивались – на берег никто не высаживался и беженцев на борт не брали. Хотя прямых доказательств нет, но, похоже, английское правительство, не пошевелившее пальцем, чтобы защитить испанское республиканское правительство от Франко, сделало бы все возможное, чтобы защитить его от собственного рабочего класса.

Руководители ПОУМ никак не высказывались против выступления рабочих, напротив, поощряли их пребывание на баррикадах и даже одобрили (в «Ла Баталла» от 6 мая)

экстремистскую листовку «Друзей Дуррути». (Существуют большие сомнения относительно содержания этой листовки, потому что не сохранился ни один экземпляр.) Некоторые иностранные газеты описывали ее как «подстрекательский плакат, расклеенный по всему городу». Конечно, такого плаката не было. Сопоставив несколько источников, я могу сказать, что листовка, во-первых, призывала к созданию революционного совета (хунты); во-вторых, к расстрелу тех, кто в ответе за нападение на телефонную станцию; и в-третьих, к разоружению гражданской гвардии (жандармов). Нельзя также точно сказать, по каким вопросам «Ла Баталла» солидаризировалась с листовкой. Сам я не видел ни листовки, ни того экземпляра «Ла Баталла». За время боев я прочел только одну листовку, выпущенную небольшой группой троцкистов («Большевики-ленинисты») 4 мая. Там говорилось: «Все на баррикады – всеобщая забастовка на всех заводах, кроме военных!» (Другими словами, они требовали того, что и так уже происходило.) На самом деле руководители ПОУМ колебались и не выступали в поддержку восстания, пока не одержана победа над Франко. Но когда рабочие вышли на улицы, они в соответствии с марксистской установкой, что долг революционера всегда быть рядом с рабочим классом, приняли их сторону. В результате, несмотря на провозглашенные революционные лозунги о «возрождении духа 19 июля» и так далее, руководство партии старалось придать действиям рабочих оборонительный характер. Например, они никогда не отдавали приказ атаковать какой-нибудь объект, а только быть на страже и, по возможности, не открывать огонь. Через «Ла Баталла» была передана инструкция никому из ополченцев не покидать фронт[47].

Насколько я понимаю, ПОУМ ответственна за то, что призывала рабочих не покидать баррикады, из-за чего некоторые оставались там дольше, чем если бы действовали по собственному почину. Те, кто находился тогда в личном контакте с руководителями ПОУМ (я в это число не входил), рассказывали мне, что вождей пугало такое развитие событий, но они понимали, что им следует солидаризироваться с рабочими. Впоследствии они, разумеется, использовали это как политический капитал. Горкин, один из лидеров ПОУМ, вспоминал позже «эти славные майские дни». Все было сделано в соответствии с пропагандистскими целями: до запрещения партии ряды ее значительно увеличились. Тактически, возможно, была допущена ошибка: не стоило торопиться одобрять листовку «Друзей Дуррути», организации малочисленной и без симпатии относящейся к ПОУМ. Учитывая всеобщее возбуждение и то, что

было сказано с обеих сторон, листовка всего лишь призывала «оставаться на баррикадах». Но, одобрив листовку в то время, когда анархистская газета «Солидаридад обрера» осудила ее, руководители ПОУМ дали повод коммунистической прессе впоследствии говорить, что бои вспыхнули как результат мятежа, подготовленного исключительно ПОУМ. Впрочем, коммунистическая пресса заявила бы такое в любом случае. На фоне обвинений, предъявленных до и после этих событий, еще одно ничего не прибавило. Руководство СНТ своим более осторожным поведением мало что выиграло. Их похвалили за лояльность, но при первом же удобном случае выставили как из центрального, так и из каталонского правительства.

Из того, что говорилось в те дни, ясно: ни у кого не было подлинно революционных планов. Люди на баррикадах были простыми рабочими, членами СНТ, кое-кто был и из УГТ, никто из них не собирался свергать правительство, они просто противостояли тому, что считали – правильно или неправильно – нападением жандармов. Их действия носили преимущественно оборонительный характер, и я сомневаюсь, можно ли такое назвать восстанием, как делали почти все иностранные газеты. Восстание предполагает агрессивные действия и тщательно подготовленный план. Скорее уж это был мятеж, пролилось много крови: у обеих сторон было оружие и желание применить его на деле.

Но какие были намерения у каждой из сторон? Если у анархистов не было цели совершить *coup d'état*, то, может, она была у коммунистов – не планировали ли они одним ударом выбить власть у СНТ?

Лично я в это не верю, хотя некоторые вещи настораживают. Показательно, что нечто подобное (захват телефонной станции вооруженными жандармами с ведома властей Барселоны) произошло в Таррагоне двумя днями позже. И в самой Барселоне нападение на телефонную станцию не было изолированным актом. В разных районах города отряды жандармов и сторонников ПСУК захватывали здания в стратегически важных пунктах, если не до начала боев, то с удивительной поспешностью. Нужно помнить, что все это происходило в Испании – не в Англии. У Барселоны долгая история уличных боев. В таких местах все вспыхивает моментально, группировки наготове, все хорошо знают улицы города, и потому, когда начинается стрельба, занимают свои места как по сигналу тревоги. Вероятно, люди, ответственные за нападение на телефонную станцию, ожидали беспорядков – но не в таком масштабе – и были готовы с ними справиться. Но из этого не

вытекает, что планировалась генеральная атака на СНТ. Я не верю, что какая-либо из сторон готовилась к тяжелым боям по двум причинам.

1. Никто не вводил в Барселону войска заранее. Бои шли между теми, кто тогда находился в городе, – гражданскими и полицией.

2. Почти сразу ощутился недостаток продовольствия. Кто служил в Испании, знает: единственное, что испанцы делают хорошо в военное время, – это досыта кормят армию. Невероятно, чтобы, готовясь к неделе или двум уличных боев и всеобщей забастовке, ни одна из сторон не запаслась продовольствием.

И наконец – кто был прав и кто виноват в этой истории?

В иностранной антифашистской прессе была поднята большая шумиха, но, как обычно, была выслушана только одна сторона. В результате бои в Барселоне представили как восстание вероломных анархистов и троцкистов, «всадивших нож в спину испанскому правительству», и так далее в том же духе. Но все было не так просто. Конечно, когда идет война со смертельным врагом, надо избегать ссор и соперничества в своем лагере, но стоит помнить, что для ссоры нужны двое, и люди не начинают строить баррикады, пока не видят того, что принимают за провокацию.

Начало волнениям действительно положил приказ правительства о сдаче оружия анархистами. В английской прессе это прозвучало так: Арагонский фронт отчаянно нуждался в оружии, но анархисты повели себя не патриотично и не сдали оружие. Такое заявление говорило о полной неосведомленности в испанских делах. Все знали, что анархисты и ПСУК запаслись оружием, и, когда в Барселоне разгорелись бои, стало ясно: оружия у каждой стороны много. Анархисты не сомневались: даже если они сдадут оружие, ПСУК, главная политическая сила Каталонии, оставит свои запасы при себе, что и произошло, когда бои отгремели. А тем временем «стоящие вне политики» жандармы разгуливали по улицам с изрядным количеством оружия, которое пригодилось бы на фронте, но держалось в тылу. А подспудно тлели непримиримые противоречия между коммунистами и анархистами, которые рано или поздно обязательно должны были вспыхнуть. С начала войны испанская коммунистическая партия значительно увеличилась в числе и стала, по сути, основной политической силой в стране. Кроме того, в Испанию приехали тысячи коммунистов из других стран, многие из которых открыто говорили о намерении «покончить» с анархизмом после победы над Франко. В таких условиях трудно было ожидать, что анархисты сдадут оружие, завоеванное ими

летом 1936 года.

Захват телефонной станции был всего лишь спичкой, поднесенной к пороховой бочке. Инициаторы, возможно, даже не догадывались, какие последствия могут быть у этого шага. Говорили, что несколькими днями раньше Компанис, каталанский президент, сказал, смеясь, что анархисты все «скушают»[48]. Шаг этот, несомненно, был неразумным. После него в течение нескольких месяцев в разных частях Испании происходили вооруженные стычки между коммунистами и анархистами. Крайне напряженная ситуация сложилась в Каталонии и особенно в Барселоне, что привело к уличным стычкам, убийствам и так далее. Внезапно по городу распространился слух, что некие вооруженные люди атаковали здания, захваченные рабочими во время июльских боев и ставшие для них символом победы. Нужно помнить, что рабочие никогда не испытывали любви к так называемой гражданской гвардии – жандармам. В течение многих поколений гвардия была исполнительницей воли помещика и хозяина, а гражданскую гвардию ненавидели вдвойне, потому что подозревали (и не без основания) в сочувствии фашистам[49]. Возможно, чувства, которые вывели народ на улицы в первые часы беспорядков, были сродни тем, что побудили людей оказать сопротивление мятежным генералам в начале войны. Можно поспорить, должны были рабочие из CHT сдать телефонную станцию без сопротивления или нет. Здесь все зависит от того, как относиться к централизованному управлению и к народному контролю. Уместнее всего ответить так: «Да, вероятнее всего, члены CHT были правы. Но ведь шла война, и они не должны были затевать драку в тылу». С этим я согласен. Внутренние беспорядки шли Франко только на пользу. Но что спровоцировало столкновение? Дело даже не в том, имело ли правительство право на захват телефонной станции, – в той обстановке эта попытка непременно привела бы к столкновению. Решение о захвате было провокационным, оно как бы говорило: «Ваша власть кончилась – она переходит к нам». Странно было ждать чего-то другого, кроме сопротивления. Если взглянуть на ситуацию трезво, становится ясно, что вина не лежала – да и не могла лежать – только на одной стороне. Это произошло по той причине, что испанские революционные партии не имели возможности высказать свою точку зрения в иностранной прессе. Что, например, до английских изданий, пришлось бы переворошить кучу газет, чтобы найти статью, в которой положительно отзываются об испанских анархистах на любой стадии войны. Их постоянно критиковали, и я знаю по собственному опыту, что было

практически невозможно заставить газеты напечатать что-нибудь в их защиту.

Я пытался воссоздать объективную картину барселонских боев, хотя вряд ли возможно в таких вещах быть полностью объективным. Каждый вынужден принять чью-то сторону, и понятно, на какой стороне был я. Неизбежны и какие-то неточности в фактах – не только здесь, но и в других главах книги. Трудно быть точным в описании гражданской войны в Испании из-за отсутствия документов, лишенных пропагандистской направленности. Поэтому я заранее предупреждаю о моей предвзятости и возможных ошибках. И все же я старался как мог писать честно. Мое описание событий резко отличается от того, какое дается в иностранной, и особенно коммунистической, прессе. Нам придется рассмотреть коммунистическую версию, потому что она публиковалась во многих изданиях в разных частях света, часто пополнялась новыми подробностями и признана наиболее вероятной.

В коммунистической и прокоммунистической прессе вся вина за барселонские бои возлагалась на ПОУМ. Эти бои представлялись не стихийным порывом масс, а сознательным, заранее спланированным, противоправительственным мятежом, подготовленным ПОУМ с помощью «сбитых с толку неустойчивых элементов». Более того, это подавалось как фашистский заговор, осуществленный по приказу франкистов, с целью разжечь гражданскую войну в тылу и таким образом связать руки правительству. ПОУМ называли пятой колонной Франко – троцкистской организацией, работающей рука об руку с фашистами.

Вот что писала «Дейли уоркер» от 11 мая:

> У немецких и итальянских агентов, съехавшихся в Барселону якобы для подготовки пресловутого «Конгресса Четвертого Интернационала», была другая цель.
>
> С помощью местных троцкистов они должны были вызвать в Барселоне беспорядки и кровопролитие, что послужило бы поводом для Германии и Италии заявить, что они «не могут осуществлять полноценный морской контроль за каталонским побережьем из-за беспорядков в Барселоне и вынуждены высадить воинские части на берег».
>
> Другими словами, создалась ситуация, при которой итальянское и немецкое правительства могли приказать своим наземным частям или морской пехоте высадиться

на каталонском побережье для «обеспечения порядка».

Подходящим инструментом для выполнения этого приказа была троцкистская организация под названием ПОУМ.

ПОУМ, действуя совместно с хорошо известными криминальными элементами и некоторыми введенными в заблуждение анархистами, спланировала, организовала и возглавила мятеж в тылу, постаравшись, чтобы он совпал с наступлением фашистов на Бильбао.

Далее в статье бои в Барселоне назывались «вооруженным нападением ПОУМ», а в другой статье в той же газете говорится: «Сомнений нет, ответственность за бойню в Каталонии лежит на ПОУМ».

«Инпрекор» от 29 мая пишет, что «все строители баррикад в Барселоне были членами ПОУМ, получившие от партии такое задание».

Я могу продолжать цитировать дальше, но и так все ясно. Всюду одно и то же: ПОУМ целиком за все в ответе, и ПОУМ действовала по фашистской указке. Дальше я приведу еще несколько отрывков из коммунистической прессы: они настолько противоречивы, что ровным счетом ничего не значат. Но прежде имеет смысл назвать несколько причин, доказывающих априори, почему майские бои никак не могли быть фашистским мятежом, организованным ПОУМ.

1. ПОУМ не являлась достаточно многочисленной или влиятельной партией, чтобы организовать беспорядки такого масштаба и тем более – всеобщую забастовку. У нее не было большого влияния в профсоюзах, и шансов поднять людей на всеобщую забастовку у ПОУМ было не больше, чем, скажем, у английской коммунистической партии организовать такую же забастовку в Глазго. Как я уже говорил, у лидеров ПОУМ была возможность продлить бои, но вызвать их они даже при всем своем желании не смогли бы.

2. Мнимый фашистский заговор – полностью голословное утверждение: все факты говорят об обратном. Нас убеждают в том, что германское и итальянское правительства планировали высадку десанта на каталонское побережье, но ни немецкие, ни итальянские корабли не подходили к берегу. Что касается «Конгресса Четвертого Интернационала» и «немецких и итальянских агентов» – это чистый вымысел. Насколько мне известно, о таком конгрессе даже речь не шла. Были неопределенные планы созыва конгресса ПОУМ и подобных братских партий (английской, немецкой и так далее), намечалось

это мероприятие ориентировочно на июль – то есть через два месяца после известных боев, но ни один делегат еще не приехал. Так что «немецкие и итальянские агенты» существовали только на страницах «Дейли уоркер». Тот, кто в то время пересекал границу, знает, что «просочиться» в Испанию было совсем нелегко, как, кстати, и выбраться.

3. Ничего не произошло ни в Лериде, основной базе ПОУМ, ни на фронте. Если б руководители ПОУМ решили поддержать фашистов, они бы сняли часть ополченцев с передовой и дали бы фашистам пройти. Но ничего подобного не случилось. Никого не отзывали с фронта, хотя было нетрудно под разными предлогами незаметно переправить одну или две тысячи ополченцев в Барселону. Также не было даже косвенных попыток саботажа на фронте. С той же регулярностью на фронт доставлялись провизия, боеприпасы и все остальное – тому есть свидетельства очевидцев. Кроме того, для планомерной подготовки мятежа требовались месяцы упорной работы, антиправительственной пропаганды в среде ополченцев и тому подобного. То, что ополчение не принимало никакого участия в «мятеже», является решающим доказательством. Если бы ПОУМ действительно готовила *coup d'etat*, она бы никогда не отказалась от примерно десяти тысяч вооруженных бойцов – единственной ударной силы в ее распоряжении.

Из вышеизложенного ясно, что у коммунистов не было ни малейших доказательств якобы спровоцированного ПОУМ фашистского мятежа. Я приведу еще несколько выдержек из коммунистической прессы. Показательны описания начала столкновений и захвата телефонной станции – все журналисты как один возлагают вину на ПОУМ. Интересно, что в первую очередь виновными английские коммунистические газеты называют анархистов и только потом ПОУМ. И это вполне объяснимо. Мало кто в Англии слышал о троцкизме, зато при упоминании об анархистах каждый англичанин вздрагивает. Достаточно сказать, что в событиях замешаны анархисты, и можно считать, что нужная атмосфера уже создана, а тогда уже пора начать обвинять и троцкистов. «Дейли уоркер» от 6 мая начала свою статью так:

> Небольшая группа анархистов в понедельник и вторник захватила и пыталась удержать телефонную и телеграфную станцию и развязала бои на улицах города.

Здесь все правда, кроме распределения ролей. Это жандармы атаковали здание, находящееся под охраной СНТ. Иначе получается, что СНТ напала на принадлежащее ей здание, то есть

на самое себя. С другой стороны, «Дейли уоркер» от 11 мая пишет:

> Левый каталонский министр общественной безопасности Аигуаде и Родригес Салас, социалист, главный комиссар общественного порядка, послали вооруженную республиканскую полицию на телефонную станцию с целью разоружить рабочих, в большинстве своем членов профсоюзов СНТ.

Эти два заявления противоречат друг другу, но «Дейли уоркер» и не думает признаваться, что первое заявление было ложным. В том же номере от 11 мая «Дейли уоркер» пишет, что листовки «Друзей Дуррути», раскритикованные СНТ, появились 4 и 5 мая, когда вовсю шли бои. А «Инпрекор» от 22 мая утверждает, что их стали распространять уже 3 мая, до стрельбы, и прибавляет:

> Учитывая эти факты (то есть появление различных листовок), жандармы под предводительством самого префекта полиции заняли телефонную станцию днем 3 мая. Полицию, исполнявшую свой долг, обстреляли. Это послужило сигналом для провокаторов, начавших стрельбу во всем городе.

А вот что пишет «Инпрекор» 29 мая:

> В три часа дня товарищ Салас, комиссар общественного порядка, приехал на телефонную станцию, которую прошлой ночью захватили пятьдесят членов ПОУМ и присоединившиеся к ним разные отщепенцы.

Вот это уже странно. Захват телефонной станции пятьюдесятью членами ПОУМ – довольно яркое событие, и на него должны были сразу обратить внимание. Однако, похоже, к нему проявили интерес только через три или четыре недели. В другом номере «Инпрекор» пятьдесят членов ПОУМ уже превращаются в пятьдесят ополченцев ПОУМ. Как только удалось втиснуть столько противоречивых суждений в несколько коротких строк? В одном месте члены СНТ захватывают телефонную станцию, в другом, напротив, нападают на них самих; листовка появляется то до захвата телефонной станции, являясь, по существу, причиной раздора, то после, и тогда из причины становится следствием. На телефонной станции находятся то

члены СНТ, то члены ПОУМ – и такой разнобой повсюду. Наконец в более позднем номере «Дейли уоркер» (от 3 июня) мистер Дж. Р. Кэмпбелл информирует нас, что правительственные войска заняли телефонную станцию только потому, что были сооружены баррикады!

Не желая быть многословным, я привел разноголосицу мнений лишь по одному эпизоду, но подобные нестыковки встречаются в коммунистической прессе повсеместно. Некоторые материалы являются чистой воды фальшивками. Например, «Дейли уоркер» от 7 мая цитировала отрывок из заявления, якобы сделанного испанским посольством в Париже:

> Знаменательной чертой мятежа стало вывешивание на многих домах Барселоны старого монархистского флага. Это говорило о вере мятежников в то, что они являются хозяевами ситуации.

Возможно, «Дейли уоркер» перепечатала эти слова, поверив информации, но тот, кто писал это в испанском посольстве, сознательно лгал. Любой испанец лучше разбирался в создавшейся ситуации. Монархистский флаг в Барселоне! Да он за минуту объединил и примирил бы враждующие стороны! Даже коммунисты не могли читать такое без улыбки. А информация в разных коммунистических газетах об оружии, которым якобы располагала ПОУМ во время «мятежа»! Только тот, кто совсем ничего не знал о ситуации в Барселоне, мог этому поверить. В «Дейли уоркер» от 17 мая мистер Фрэнк Питкерн пишет:

> Восставшие применяли самое разное оружие. В течение нескольких месяцев его воровали и прятали, а в начале беспорядков из казарм увели даже танки. Совершенно ясно, что в распоряжении настоящих зачинщиков и сейчас много пулеметов и несколько тысяч винтовок.

А вот информация от «Инпрекор»:

> У ПОУМ третьего мая было несколько десятков пулеметов и несколько тысяч винтовок… На площади Испании троцкисты палили из 75-миллиметровых пушек, предназначенных для отправки на Арагонский фронт, но надежно укрытых ополченцами до поры до времени.

Мистер Питкерн не говорит, когда и каким образом ему стало известно, что в распоряжении ПОУМ находятся десятки

пулеметов и несколько тысяч винтовок. Я приблизительно подсчитал количество оружия, находившегося в трех основных зданиях ПОУМ: около восьмидесяти винтовок, несколько гранат и никаких пулеметов. Для охраны зданий достаточно. Такое же количество оружия было у охраны и других партий. Не странно ли, что после запрещения ПОУМ и отъема всех принадлежащих партии зданий и столько оружия не нашли – особенно это относится к танкам и артиллерии, которые в трубу не запрячешь? Это говорит о полном незнании местных обстоятельств. По словам мистера Питкерна, ополченцы ПОУМ украли танки из казарм. Из каких – он не уточняет. Находившиеся в то время в Барселоне ополченцы ПОУМ (число их было не велико, набор в ополчение уже прекратился) жили в Ленинских казармах, там же жили и превышающие их количеством бойцы Народной армии. Таким образом, мистер Питкерн хочет, чтобы мы поверили тому, что люди ПОУМ украли танки с молчаливого одобрения Народной армии. Это так же нелепо, как предположение об укрытых там же 75-миллиметровых пушках. Как это вообще могло быть – молчок! Во многих газетах появились сообщения об этих пушках, якобы стрелявших с площади Испании, но я с полной уверенностью могу сказать, что их и в помине не было. Как я уже писал, артиллерийского огня не было слышно во время боев, а площадь Испании находилась примерно в миле от того места, где я находился. Несколько дней спустя я тщательно осмотрел площадь, но не увидел на зданиях никаких следов от артиллерийских снарядов. А очевидец, бывший во время боев в непосредственной близости от этого места, рассказывал, что пушки там не появлялись. (Возможно, байка об украденных пушках возникла с легкой руки Антонова-Овсеенко, советского генерального консула. Он рассказал ее известному английскому журналисту, а тот потом ничтоже сумняшеся повторил ее в своем еженедельнике. Впоследствии Антонова-Овсеенко признали врагом народа. Не знаю, поколебало ли это к нему доверие или нет.) Правда заключается в том, что все эти россказни о танках, артиллерии и так далее измышлялись, чтобы объяснить, как такая малочисленная организация, как ПОУМ, могла стать причиной боев такого размаха. Нужно было всю ответственность за бои возложить на ПОУМ, но также необходимо было назвать ее партией незначительной, насчитывающей, согласно тому же «Инпрекору», «всего лишь несколько тысяч членов». Чтобы все это выглядело правдиво, пришлось выдумать, что ПОУМ обладала высококлассным современным оружием.

Читая коммунистическую прессу, нельзя не понять, что ее целью является сознательная дезинформация читателей, не

знающих истинных фактов, и тем самым привить предубежденное отношение к событиям в Барселоне. Чего стоит, например, заявление мистера Питкерна в «Дейли уоркер» от 11 мая, что «мятеж» был подавлен Народной армией. Основное здесь – создать у читателей впечатление, что вся Каталония настроена против «троцкистов». Но Народная армия не участвовала в боях, каждый в Барселоне знал это, и трудно поверить, что этого не знал сам мистер Питкерн. Коммунистическая партия извращала число убитых и раненых, чтобы преувеличить размах беспорядков. Диас, генеральный секретарь Испанской коммунистической партии, широко цитируемый коммунистической прессой, заявил, что были убиты 900 человек и 2500 ранены. Каталонское министерство пропаганды, которое трудно заподозрить в желании преуменьшить цифры, говорило о 400 убитых и 1000 раненых. Коммунистическая партия удвоила цифры и прибавила еще несколько сотен на всякий случай.

Иностранные капиталистические газеты в целом обвиняли в беспорядках анархистов, но некоторые повторяли коммунистическую версию. Корреспондент одной из них, а именно английской «Нью кроникл», мистер Джон Лэнгдон-Дэвис находился во время боев в Барселоне, и я позволю себе его процитировать:

ТРОЦКИСТСКИЙ МЯТЕЖ

> …Причиной боев были не анархисты. Это был неудавшийся путч троцкистской организации ПОУМ, действовавшей через подконтрольные ей организации «Друзья Дуррути» и «Свободная молодежь»…
>
> Начало трагедии было положено в понедельник днем, когда вооруженные полицейские по приказу полиции направились к телефонной станции, чтобы разоружить рабочих, в большинстве членов СНТ. Сбои в работе станции и раньше вызывали нарекания. На площади Каталонии собралась большая толпа, люди из СНТ сопротивлялись, но постепенно сдавали этаж за этажом… История эта темная, но по городу пошел слух, что правительство выступило против анархистов. Улицы заполнились вооруженными людьми… К вечеру все рабочие центры и правительственные здания были забаррикадированы, а в десять часов раздались первые выстрелы, и по улицам, сигналя, помчались первые санитарные машины. К утру вся Барселона была

> охвачена огнем… Когда число убитых перевалило за сотню, встал вопрос: что все-таки происходит? Анархисты из СНТ и социалисты из УГТ никак не могли принимать участия в уличных боях. Они укрывались за баррикадами, и все их участие сводилось к настороженному выжиданию и принятому большинством праву стрелять в любого вооруженного человека, объявившегося перед зданием… Положение усугубляли *pacos* – укрывшиеся одиночки, преимущественно фашисты, они стреляли с крыш, практически не целясь, и делали все, чтобы усугубить всеобщую панику… Однако к вечеру среды стало ясно, кто стоит за мятежом. Все стены были увешаны подстрекательскими плакатами, призывающими к немедленной революции и к убийству республиканских и социалистических вождей. Подпись под ними гласила: «Друзья Дуррути». В четверг утром анархисты заявили, что ничего не знают о листовках и осуждают такую позицию, но «Ла Баталла» – газета, издаваемая ПОУМ, – перепечатала листовку, снабдив ее высокой похвалой. Так провокаторы при поддержке этой антиправительственной организации обагрили кровью Барселону, первый город Испании.

Этот взгляд на события не очень соответствует изложенным выше коммунистическим версиям и сам по себе весьма противоречив. Статья озаглавлена «Троцкистский мятеж», хотя сразу же становится ясно, что в основе трагических событий был полицейский рейд на телефонную станцию и слухи, что правительство «выступило против анархистов». Город оброс баррикадами, и СНТ и УГТ укрылись за ними. Через два дня появляется подстрекательский плакат (в действительности листовка), который называют причиной событий, меняя местами причину и следствие. И тут мы сталкиваемся с серьезным введением читателей в заблуждение. Мистер Лэнгтон-Дэвис называет «Друзей Дуррути» и «Свободную молодежь» организациями, «контролируемыми ПОУМ». Но обе организации анархистского толка и не имели никакого отношения к ПОУМ. «Свободная молодежь» – Молодежная лига анархистов, аналогичная Молодежной лиге ПСУК. «Друзья Дуррути» – небольшая группа внутри ФАИ, настроенная, кстати, враждебно к ПОУМ. Насколько мне известно, не было ни одного человека, который входил бы в обе организации. С таким же успехом можно назвать Социалистическую лигу организацией, «подконтрольной» английской Либеральной партии. Знал ли это мистер Лэнгдон-

Дэвис? Если нет, то ему следовало с большей осмотрительностью подходить к этой сложной проблеме.

Я не сомневаюсь в доброй воле мистера Лэнгдона-Дэвиса, но он, видимо, отбыл из Барселоны сразу же после окончания боев, то есть не проведя серьезного расследования, и в его статье видно, что он принял официальную версию о «троцкистском мятеже» без всякой проверки. Это очевидно даже из знакомства с приведенным мною отрывком. «К вечеру» баррикады возведены, а «в десять часов» раздаются первые выстрелы. Свидетель событий так не напишет. Ведь из этого следует, что нужно подождать, пока противник построит баррикады, а уж потом начинать стрелять. Складывается впечатление, что постройку баррикад и начало стрельбы разделяет несколько часов, хотя на самом деле все было наоборот. Есть свидетели, в том числе и я, что первые выстрелы прогремели в разгар дня. В статье также упоминаются некие одиночки, «преимущественно фашисты», засевшие на крышах и оттуда стрелявшие. Мистер Лэнгдон не поясняет, почему считает этих людей фашистами. Очевидно, что он не залезал на крыши, чтобы справиться, кто они такие. Он просто повторяет то, что ему сказали, а так как это совпадает с официальной версией, не подвергает сведения сомнению. Кстати, можно догадаться об основном источнике поступавшей к нему информации: в начале статьи он неосторожно упоминает о министерстве пропаганды. Иностранные журналисты в Испании целиком зависели от этого министерства, хотя одно его название таит предостережение. Министерство пропаганды стремилось дать объективную картину волнений в Барселоне примерно так, как, скажем, покойный лорд Карсон – объективную картину дублинского восстания 1916 года.

Я назвал причины, по которым нельзя принимать всерьез коммунистическую версию барселонских боев. В дополнение я хотел бы добавить несколько слов о несправедливом обвинении, согласно которому ПОУМ – засекреченная фашистская организация, содержащаяся на деньги Франко и Гитлера.

Это обвинение повторялось в коммунистической печати вновь и вновь, особенно с начала 1937 года. Оно явилось частью широкого наступления официальной коммунистической партии на троцкизм, якобы представленный в Испании ПОУМ.

Как писала «Френте Рохо» (коммунистическая газета Валенсии): «Троцкизм – не политическая доктрина. Троцкизм – официальная капиталистическая организация, фашистская террористическая банда, занимающаяся саботажем и преступлениями против народа. ПОУМ – троцкистская организация, действующая заодно с фашистами и „франкистской пятой колонной“». С самого начала обвинение не подкреплялось

никакими доказательствами, его просто произносили как нечто, поступающее из надежного источника информации. При этом не гнушались грязной клеветой, абсолютно не задумываясь, как эта травля может повлиять на ход войны. Так же как ради удовольствия лишний раз облить грязью ПОУМ многие коммунистические писаки считали возможным приоткрыть некоторые военные секреты. В февральском номере «Дейли уоркер» журналистка Уинифред Бейтс позволила себе заявить, что на передовой у ПОУМ вдвое меньше бойцов, чем говорится. Это была неправда, но журналистка, возможно, в это верила и, следовательно, при поддержке редакции была готова сообщить врагу одну из наиважнейших военных тайн. А в «Нью репаблик» мистер Ральф Бейтс писал, что бойцы ПОУМ «играли с фашистами в футбол на ничейной земле». А ведь в это самое время ПОУМ несла на войне тяжелые потери, и многие мои близкие друзья были убиты или ранены. Широко распространялась сначала в Мадриде, а позднее и в Барселоне злобная карикатура на ПОУМ, у которой под сползшей маской с изображением серпа и молота скрывалось лицо со свастикой. Если бы правительство не находилось фактически под контролем коммунистов, оно никогда не позволило бы распространять такую карикатуру во время войны. Это наносило удар не только по боевому духу ополченцев ПОУМ, но и по другим частям, находящимся поблизости: знать, что рядом с тобой на передовой предатели, совсем не вдохновляет. Впрочем, я сомневаюсь, что этот удар ножом из тыла смог деморализовать ополчение ПОУМ. Но на такой эффект явно рассчитывали, и те, кто за это в ответе, стремились расколоть единый антифашистский фронт.

Обвинения против ПОУМ сводились к следующему: несколько десятков тысяч человек, почти целиком из рабочего класса, совместно с многочисленными сочувствующими иностранцами, в основном беженцами из фашистских стран, и тысячами ополченцев являлись огромной шпионской организацией, финансируемой фашистами. Такое обвинение противоречило здравому смыслу, да и вся деятельность ПОУМ опровергала подобные домыслы. У всех руководителей ПОУМ было яркое революционное прошлое. Некоторые из них участвовали в восстании 1934 года, и многие сидели в тюрьме за социалистическую деятельность при правительстве Лерру или монархии. В 1936 году тогдашний лидер партии Хоакин Маурин был одним из депутатов парламента – кортесов, предупредивших о готовящемся мятеже Франко. Вскоре после начала войны фашисты арестовали его и бросили в тюрьму за организацию сопротивления в тылу франкистов. Когда разразился мятеж,

ПОУМ играла заметную роль в противостоянии ему – в частности, в Мадриде, где многие члены партии были убиты в уличных боях. ПОУМ, одна из первых, организовала в Каталонии и Мадриде отряды ополчения. Эти действия невозможно объяснить, если партия действительно спонсировалась фашистами. Тогда она просто присоединилась бы к мятежникам.

Во время войны в деятельности ПОУМ тоже не было никаких признаков профашистских действий. Сомнительно также, что, настаивая на более революционных методах, партия раскалывала правительственные силы и таким образом играла на руку фашистам. Лично я с этим не согласен.

Мне кажется, любое правительство реформистского толка расценивало бы ПОУМ как досадную помеху. Но отсюда далеко до прямого предательства. Если ПОУМ действительно подчинялась фашистам, как объяснить, что ополчение оставалось лояльным? В невыносимых условиях зимы 1936–1937 г. восемь или десять тысяч ополченцев удерживали важные участки линии фронта. Многие из них по четыре-пять месяцев проводили в окопах. Почему бы им просто не перейти на сторону врага? Они в любой момент могли это сделать, и были ситуации, когда их переход коренным образом повлиял бы на исход войны. И все же они продолжали сражаться, а вскоре после запрещения ПОУМ, когда это событие было еще свежо в памяти, ополчение, пока не влитое в Народную армию, приняло участие в кровопролитных боях к востоку от Уэски. Тогда в течение одного-двух дней погибло несколько тысяч человек. А ведь можно было ожидать братания с противником и массового перехода на его сторону. Но, как я уже упоминал, случаев дезертирства было очень мало. Так же как и профашистской пропаганды, пораженческих настроений и тому подобного. Конечно, в ПОУМ, как и в других левых партиях, не обошлось без фашистских шпионов и провокаторов, но нет никаких свидетельств, что здесь их было больше.

Надо признать, коммунистическая пресса иногда как бы нехотя ограничивалась утверждением, что фашисты оплачивали лишь верхушку партии, а не всех ее членов. Так они пытались посеять рознь между руководством партии и рядовыми партийцами. Впрочем, сам характер обвинения наводил на мысль, что в заговоре участвовали все члены ПОУМ, ополчение и так далее. Но если бы Нин, Горкин и прочие руководители состояли на службе у фашистов, об этом скорее узнали бы их сторонники, чем журналисты в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Но так или иначе, когда ПОУМ запретили, тайная полиция, подконтрольная коммунистам, действовала исходя из убеждения, что виновны все подряд, и арестовала каждого, кто как-то был связан с ПОУМ.

Исключением не явились ни раненые бойцы, ни сестры милосердия, ни жены членов ПОУМ, а в некоторых случаях даже дети.

ПОУМ была запрещена и объявлена вне закона 15–16 июня одним из первых декретов правительства Негрина, сформированного в мае. Исполнительный комитет ПОУМ был брошен в тюрьму, а коммунистическая партия представила все так, словно она способствовала разоблачению крупного фашистского заговора. Некоторое время коммунистическая пресса разных стран смаковала эту новость. «Дейли уоркер» от 21 июня составила своеобразный дайджест из испанских коммунистических газет:

ИСПАНСКИЕ ТРОЦКИСТЫ В СГОВОРЕ С ФРАНКО

> Спустя неделю после ареста многих известных троцкистов в Барселоне и прочих местах стали известны подробности одного из чудовищных военных заговоров и подлого предательства, совершенного троцкистами… Полиция располагает документами, а также признаниями не менее двухсот арестованных и полной доказательной базой.

Считалось «доказанным», что руководители ПОУМ передавали генералу Франко по радио военные секреты, были связаны с Берлином и сотрудничали с подпольной фашистской организацией в Мадриде. Приводились также сенсационные подробности о тайных посланиях, написанных невидимыми чернилами, таинственном документе, подписанном буквой «Н» (читай «Нин»), и все в таком же духе.

Как развивались события дальше? Сейчас, по прошествии шести месяцев, когда я пишу эти строки, большинство руководителей ПОУМ все еще находятся в тюрьме, суда над ними не было, и обвинение о передачи секретных данных Франко по радио так и не предъявили. Если б они действительно были уличены в шпионаже, их предали бы суду и расстреляли через неделю. Так всегда поступали с фашистскими шпионами. Но против них не было ничего конкретного, кроме голословных обвинений в коммунистической прессе. А что до двухсот «чистосердечных признаний», то, существуй они на самом деле, этого было бы для суда достаточно. Но о них больше никто никогда не слышал. Это были всего лишь двести попыток проявить свою буйную фантазию.

Более того, большинство членов испанского правительства отказались поверить обвинениям, выдвинутым против ПОУМ. Недавно кабинет правительства принял решение (пятью голосами против двух) освободить политических заключенных – антифашистов. Два голоса «против» принадлежали депутатам-коммунистам. В августе международная делегация во главе с членом английского парламента Джеймсом Макстоном приехала в Испанию для проверки обвинений против ПОУМ и выяснения обстоятельств исчезновения Андреу Нина. Прието, министр национальной безопасности; Ирухо, министр юстиции; Зугазагоития, министр внутренних дел; Ортега-и-Гассет, генеральный прокурор; Прат Гарсиа и другие отказывались верить в виновность руководителей ПОУМ, обвиняемых в шпионаже. Ирухо добавил, что он ознакомился с материалами дела и все так называемые свидетельства не выдерживают никакой критики, а документы, якобы подписанные Нином, не представляют ценности, так как являются явной подделкой. Прието счел руководителей ПОУМ ответственными за майские бои в Барселоне, но отверг даже мысль о том, что они фашистские шпионы. «Хуже всего, – прибавил он, – что арест вождей ПОУМ проводился без санкции правительства, полиция арестовала их самовольно. И даже не руководство полиции приняло такое решение, а его окружение, куда, как обычно, проникло много коммунистов». Он привел примеры и других незаконных арестов, произведенных полицией. Ирухо также подчеркнул, что полиция стала считать себя почти независимой, оказавшись в результате под контролем иностранных коммунистов. Прието, однако, довольно ясно намекнул, что правительство вынуждено считаться с коммунистами, так как русские снабжают Испанию оружием.

Когда еще одна делегация, возглавляемая членом английского парламента Джоном Макговерном, прибыла в декабре в Испанию, она услышала те же самые ответы, что и раньше, а Зугазагоития, министр внутренних дел, повторил слова Прието в еще более откровенных выражениях: «Мы получаем помощь из России, и потому должны иногда делать то, что нам не нравится». Хорошо иллюстрирует автономию полиции тот факт, что, получив разрешение от директора тюрем и министерства юстиции, Макговерн и сопровождающие его лица не смогли проникнуть в одну из «секретных тюрем», устроенных в Барселоне коммунистами.[50]

Думаю, этого достаточно, чтобы прояснить обстоятельства дела. Основой для обвинения ПОУМ в шпионаже послужили исключительно статьи в коммунистической прессе и деятельность

подконтрольной коммунистам тайной полиции. Руководители ПОУМ, а также сотни или тысячи их сторонников все еще находятся в тюрьмах, а коммунистическая пресса вот уже шесть месяцев по-прежнему настаивает на казни «предателей». Однако Негрин и другие члены правительства сохраняют присутствие духа и отказываются устраивать публичную казнь троцкистов. Учитывая непомерное давление коммунистов, им делает честь, что они не сдались. Принимая во внимание приведенные выше свидетельства, трудно поверить, что ПОУМ действительно была фашистской шпионской организацией, иначе придется признать, что Макстон, Макговерн, Прието, Ирухо, Зугазагоития и другие тоже были платными фашистскими агентами.

Наконец, обратимся к обвинению ПОУМ в троцкизме. Последнее время это определение используется слишком широко, и смысл его часто намеренно искажается. Стоит попытаться определить его более точно. Слово «троцкист» применяют для обозначения трех разных типов людей:

1. Тех, которые, как Троцкий, призывают к «мировой революции» и выступают против «социализма в одной стране». Короче говоря, это тип революционного экстремиста.

2. Член конкретной организации, возглавляемой Троцким.

3. Фашист, изображающий из себя революционера, но участвующий главным образом в саботаже против СССР. Более широко – тип, раскалывающий и подрывающий единство левых сил.

В первом смысле ПОУМ можно назвать троцкистской организацией. Но тогда на том же основании можно назвать троцкистской и английскую Независимую лейбористскую партию, немецкую Лево-социалистическую партию, партию Левых социалистов во Франции и так далее. Но ПОУМ не имеет отношения ни к самому Троцкому, ни к троцкистской (большевистско-ленинской) организации. Когда разразилась война, приехавшие в Испанию иностранные троцкисты (15 или 20 человек) сначала работали в ПОУМ, идеологически ближайшей партии, однако не становились ее членами. Позднее Троцкий приказал своим сторонникам раскритиковать политику ПОУМ, и тогда троцкистов изгнали из партийного аппарата, но некоторые остались в ополчении. Нин, глава ПОУМ после того, как фашисты схватили Маурина, был одно время секретарем Троцкого, но несколько лет назад ушел от него и основал ПОУМ, объединив ряд оппозиционных коммунистических партий и так называемый Рабоче-крестьянский блок. Прошлая связь с Троцким муссировалась в коммунистической прессе для доказательства троцкистского характера партии.

Если пользоваться такого рода доказательствами, можно назвать и английскую коммунистическую партию фашистской организацией, так как мистер Джон Стрэчи был одно время связан с сэром Освальдом Мосли.

Если прибегнуть ко второму определению, наиболее точно характеризующему троцкизм, то ПОУМ никогда не была троцкистской организацией. Важно определить это различие, потому что для большинства коммунистов принадлежность ко второму типу автоматически свидетельствует и о принадлежности к третьему – то есть к фашистской шпионской организации. Троцкизм привлек внимание широкой публики во время московских политических процессов над право-троцкистским блоком 1936–1937 гг. Тогда назвать человека троцкистом было все равно что назвать его убийцей, провокатором и так далее. В то время и на каждого, кто критикует коммунистическую политику слева, мог быть наклеен ярлык троцкиста. Выходит, что любой, стоящий на платформе революционного экстремизма, ставленник фашизма?

На практике все зависит от местных условий. Когда в Испанию с делегацией приехал Макстон, о чем я говорил выше, испанские коммунистические газеты «Вердад», «Френте Рохо» и другие сразу же окрестили его троцкистско-фашистским агентом, шпионом гестапо и тому подобное. Однако английские коммунисты не спешили с таким обвинением. В английской коммунистической прессе Макстона назвали просто «реакционером и врагом рабочего класса», что звучит гораздо мягче. Причина проста: английская коммунистическая пресса получила несколько строгих уроков и стала опасаться быть привлеченной к судебной ответственности за клевету. Тот факт, что подобное обвинение не появилось в стране, где его нужно доказать, уже говорит о его лживости.

Может показаться, что я слишком долго обсуждаю обвинения против ПОУМ. По сравнению с ужасами гражданской войны эта междоусобная грызня партий с неизбежными лживыми обвинениями может выглядеть ничтожной. Но это не совсем так. Я верю, что навешивание ярлыков, кампания в прессе и создаваемое всем этим умонастроение способны нанести большой ущерб антифашистскому делу.

Всякий, кто уделял внимание коммунистической тактике расправы с политическими оппонентами, знает, что сфабрикованные обвинения – обычный метод коммунистов. Сегодня они клеймят «фашиствующих троцкистов», вчера клеймили «социал-фашистов». Прошло всего шесть или семь лет с тех пор, как советский суд «доказал», что вожди Второго

Интернационала, включая Леона Блюма и известных представителей английской Лейбористской партии, подготовили гигантский заговор, предусматривающий военное вторжение на территорию СССР. Тем не менее сегодня французские коммунисты не возражают, что их лидером стал Блюм, а английские коммунисты всеми силами стараются пробраться в Лейбористскую партию. Не думаю, чтобы такие резкие заявления приносили пользу даже с сектантской точки зрения. Нет никаких причин сомневаться, что обвинения в «фашиствующем троцкизме» сеют только ненависть и рознь. Повсюду рядовых коммунистов настраивают на бессмысленную «охоту на ведьм» – то есть на троцкистов, и партии типа ПОУМ, причисленные к антикоммунистическим, оказываются в недееспособном положении отверженных. В мировом рабочем движении уже наметился опасный раскол. Еще несколько клеветнических нападок на людей, всю свою жизнь отдавших борьбе за социализм, еще несколько фальшивых обвинений, вроде тех, что предъявили ПОУМ, и примирение станет невозможным. Остается только одно – вести политические дискуссии и тем самым сглаживать разногласия. Между коммунистами и теми, кто занимает или заявляет, что занимает левую позицию, разногласия действительно серьезные. Коммунисты придерживаются мнения, что фашизм можно победить в союзе с некоторыми кругами капиталистического общества (народным фронтом), а их оппоненты, напротив, убеждены, что этот тактический ход лишь расширит поле деятельности фашистов. Этот вопрос должен быть решен правильно, в противном случае мы можем обречь себя на столетия почти полного рабства. Но до сих пор, кроме воплей о фашиствующих троцкистах, никаких толковых дискуссий не проводилось. Мне, к примеру, бессмысленно спорить с членом коммунистической партии о том, кто прав, кто виноват в барселонских уличных боях, потому что ни один коммунист – ни один «верный» коммунист – не признает, что я говорю правду о фактическом ходе событий. Если он слепо следует «партийной линии», то вынужден обвинить меня во лжи или, на худой конец, в том, что я основательно запутался. И еще прибавить, что журналисты «Дейли уоркер», находящиеся в тысяче миль от центра событий, лучше разбираются в барселонских событиях, чем я. О какой дискуссии тут можно говорить? Здесь даже и минимального понимания не достигнешь. Что докажешь человеку, считающему таких людей, как Макстон, фашистскими шпионами? Это одно делает невозможным серьезное обсуждение проблемы. Все равно как если бы посреди шахматного турнира один из соперников вдруг завопил бы, что другой повинен в

поджоге и двоеженстве. Истинная задача так и не была бы решена. Клеветой ничего не добьешься.

Глава 12

Дня через три после боев в Барселоне мы вернулись на фронт. После уличных сражений, и особенно после газетных перебранок, было трудно думать о войне в той же наивно-идеалистической манере, что и прежде. Думаю, любой человек, проведший несколько недель в Испании, почувствовал бы некоторое разочарование. Мне припомнился один журналист, с которым я познакомился в первый же день моего пребывания в Барселоне, тогда он еще сказал: «Эта война – такое же жульничество, как и все остальные». Его слова меня шокировали, и в то время (это был декабрь) я ему не поверил. И сейчас, в мае, все еще было не так плохо, но с каждым днем становилось хуже. Всякая война несет с собой нарастающее разложение, которое с каждым месяцем усиливается: ведь личная свобода и правдивая пресса не сочетаются с военной эффективностью.

Уже можно было догадаться, какой оборот примут события. Несомненно, правительство Кабальеро падет, а его место займет правительство правого фланга под сильным влиянием коммунистов, что и произошло через неделю-другую. Новое правительство поставило перед собой цель – раз и навсегда разделаться с профсоюзами. После предполагаемого разгрома Франко будущее не сулило ничего хорошего – даже если не брать во внимание огромные проблемы по реорганизации Испании. Газеты писали об испанской войне как о «битве за демократию», но это был чистой воды вздор. Будучи в своем уме, никто не мог надеяться на демократическое устройство страны даже в английском или французском варианте: ведь из войны Испания, без всякого сомнения, выйдет истощенной и раздробленной. Рабочий класс упустил свой шанс – в стране будет установлена диктатура. А это означало, что дальнейшее развитие страны пойдет в направлении некой разновидности фашизма. Этот фашизм получит более благозвучное название и, так как это все-таки Испания, будет человечнее и менее эффективным, чем в Германии или Италии. Хуже, если победит Франко, в таком случае диктатура будет суровой, но оставалась еще вероятность, что война закончится разделом Испании – либо на районы с конкретными границами, либо на самостоятельные экономические зоны.

Каждый вариант был по-своему неутешительным. Но из этого не вытекало, что не стоит сражаться на стороне правительства против оголтелого фашизма Франко и Гитлера. Какие бы ошибки ни совершило послевоенное правительство, режим Франко еще

хуже. Для рабочих – городского пролетариата – было, по сути, не столь важно, кто выиграет войну, но Испания – сельскохозяйственная страна, и крестьяне, несомненно, выиграли бы от победы республиканцев. Большинство захваченных крестьянами земель осталось бы в их собственности, произошел бы передел земли на территории франкистов, и уж точно крестьяне избавились бы от прикрепленности – то есть своего рода крепостной зависимости – к землям помещиков. Если правительству удастся вывести страну из войны, оно должно быть антиклерикальным и антифеодальным. Ему придется, хотя бы первое время, держать церковь в узде и заняться модернизацией страны – к примеру, строить дороги, развивать просвещение и здравоохранение. Кое-что в этом плане делалось и во время войны. С другой стороны, Франко, даже если не считать его марионеткой Италии и Германии, взят за горло крупными помещиками и находится во власти военно-клерикальной реакции. Народный фронт может быть сомнительной аферой, но Франко – анахронизм. Желать ему победы могут только миллионеры и романтики.

Более того, в течение какого-то времени существовал международный престиж фашизма, и мысль об этом феномене мучила меня постоянно. С 1930 года фашисты одерживали победу за победой, теперь пришло время их проучить – неважно, кто это сделает. Если б нам удалось сбросить Франко и его иностранных приспешников в море, это послужило бы на благо мира, даже если бы в Испании воцарилась удушающая диктатура, а ее лучшие люди оказались в тюрьме. Так что войну надо было непременно выиграть.

Вот так я представлял себе ситуацию в то время. Должен сказать, что сейчас я гораздо выше ставлю правительство Негрина, чем в момент прихода того к власти. Оно мужественно вело труднейшую борьбу и проявило такую политическую терпимость, какой никто не ожидал. Но я по-прежнему убежден (если только Испания не распадется на отдельные области, тогда трудно что-то предвидеть), что у послевоенного правительства будут фашистские наклонности. Я остаюсь при своем мнении, и пусть время покажет, прав я или нет.

Мы уже были на передовой, когда до нас дошло известие, что, возвращаясь в Англию, Боб Смилли[51] был арестован на границе, доставлен в Валенсию и брошен в тюрьму. Смилли находился в Испании с прошлого октября. Несколько месяцев он работал в штабе ПОУМ, а затем, когда приехали другие члены Независимой лейбористской партии, отправился с ополчением на фронт, решив пробыть там три месяца перед возвращением в Англию, где

собирался принять участие в пропагандистском туре. Прошло некоторое время, прежде чем мы узнали, за что его арестовали. Его держали в одиночной камере, и даже адвокату не разрешали с ним встретиться. В Испании – по крайней мере, на практике – *habeas corpus*[52] не существует. Можно провести в камере несколько месяцев без предъявления обвинения, не говоря уже о суде. Наконец мы узнали от одного вышедшего на свободу человека, что Смилли арестовали за «ношение оружия». Как выяснилось, оружием были две примитивные ручные гранаты, которые использовались в начале войны. Смилли вез их домой, хотел продемонстрировать на лекциях вместе с осколками бомб и прочими наглядными пособиями. Из гранат была удалена взрывчатка – остались пустые и безопасные металлические цилиндры. Было ясно, что это только предлог, на самом деле его арестовали за связь с ПОУМ. Уличные бои в Барселоне только утихли, и власти не хотели выпускать из страны очевидца, который мог опровергнуть официальную версию событий. В результате людей задерживали на границе под самыми разными предлогами. Возможно, изначально Смилли хотели задержать всего на несколько дней. Несчастье, однако, в том, что если уж ты оказался в испанской тюрьме, то задержишься там надолго – по приговору суда или без него.

Наша часть все еще стояла под Уэской, только теперь ее передвинули чуть вправо, и мы находились напротив фашистской позиции, которую несколько недель назад захватили и какое-то время удерживали. Я теперь был *teniente*, что соответствует второму лейтенанту[53] в английской армии, и под моим началом было около тридцати человек – англичан и испанцев. Документы о моем назначении были отправлены, но судьба их была неизвестна. Ранее офицеры ополчения отказывались от званий, хотя это означало прибавку к жалованью, но противоречило принципу равенства, царящего в ополчении. Теперь все изменилось. Бенджамина произвели в капитаны, а Копп дожидался звания майора. Правительство не могло обойтись без офицеров в ополчении, но старалось не давать им звания выше майора, желая, по-видимому, сохранить более высокие звания для офицеров регулярной армии и выпускников офицерских школ. В результате в нашей дивизии и, без сомнения, во многих других сложилась такая ситуация, что дивизионный командир, бригадный командир и батальонный командир – все были майоры.

На фронте было затишье. Бои за дорогу на Хаку прекратились и не возобновлялись до середины июня. Главную угрозу для нас представляли снайперы. Окопы фашистов находились в ста

пятидесяти метрах от нашего лагеря, но располагались значительно выше, по обе стороны, так что наша позиция как бы клином врезалась в расположение противника. Самым опасным местом был угол этого клина – там мы несли основные потери от снайперских пуль. Время от времени фашисты стреляли по нам из гранатомета или другого оружия. Тогда раздавался ужасный грохот, поистине пугающий: снаряд летел беззвучно, и мы не успевали укрыться. Впрочем, большой опасности он не представлял: ямка, которую он оставлял в земле, была не больше таза. Ночи стояли теплые, но днем отчаянно пекло, москиты совсем озверели, и еще, несмотря на привезенную из Барселоны чистую одежду, мы быстро обовшивели. В покинутых садах на ничейной земле цвели вишни. Два дня лило как из ведра, блиндажи затопило, бруствер ушел на фут в землю. После такого потопа пришлось основательно повозиться в глине, копая ужасными испанскими лопатами без ручек, которые к тому же гнулись, как оловянные ложки.

Нашей роте обещали прислать миномет, и я его ждал с большим нетерпением. По ночам мы по-прежнему патрулировали, это было опаснее, чем прежде: у фашистов стало больше бойцов, и теперь они проявляли большую осторожность. Рядом с проволочными заграждениями они раскидали пустые консервные банки и, услышав позвякивание, моментально открывали пулеметный огонь. Днем мы стреляли по фашистам с ничейной земли. Для этого надо было проползти метров сто и залечь в канаве, поросшей густой травой, откуда открывался вид на щель в фашистском бруствере. В канаве мы установили опору для стрельбы. Раньше или позже можно было увидеть торопливо пробегавшую за отверстием фигурку в армейской форме. Я несколько раз стрелял, но не уверен, что в кого-то попал. Это маловероятно: стрелок я никудышный. Но нас такая игра забавляла: фашисты не догадывались, откуда стреляют, так что, казалось, даже я в кого-нибудь мог попасть. Но все случилось с точностью наоборот: меня подстрелил фашистский снайпер. До этого момента я успел провести на передовой около десяти дней. Пулевое ранение – интересная вещь, и, мне кажется, об этом стоит рассказать подробнее.

Это случилось в углу бруствера в пять часов утра. Самое опасное время: ведь солнце вставало у нас за спиной, и высунувшаяся над ограждением голова была хорошей мишенью. Я как раз отдавал распоряжения о смене караула. Неожиданно в мои слова ворвалось нечто – трудно описать, что именно, хотя свои ощущения я помню очень живо.

Грубо говоря, мне показалось, что я нахожусь в центре

взрыва. Внезапный грохот, огненная вспышка и сильный удар – боли я не почувствовал, а только страшный удар, словно я коснулся оголенных проводов, и еще невыносимая слабость, будто проваливаюсь в пустоту. Мешки с песком впереди меня поплыли куда-то вдаль. Думаю, похожие чувства испытывает человек, пораженный молнией. Я сразу понял, что ранен, но решил, сбитый с толку ударом и вспышкой, что случайно выстрелила винтовка соседа. Все произошло меньше чем за секунду. В следующий момент ноги мои подкосились, и я рухнул на землю, сильно ударившись головой, но почему-то не испытал при этом боли. В помутившемся сознании мелькнула мысль, что меня тяжело ранило, но я по-прежнему не чувствовал боли в обычном смысле слова.

Американец-часовой, с которым я только что говорил, бросился ко мне. «Черт возьми! Тебя что, ранило?» Нас обступили люди. Как всегда, началась суматоха. «Поднимите его! Куда его ранило? Расстегните рубашку!» – и так далее. Американец попросил нож, чтобы разрезать рубашку. Я вспомнил, что у меня в кармане есть нож, и попытался его достать, но правая рука не подчинялась. Не испытывая боли, я почувствовал смутное удовлетворение. Это должно понравиться жене: она всегда хотела, чтоб меня легко ранило, тогда я бы не погиб в большом бою. Потом вдруг во мне проснулся интерес: куда же и как сильно меня ранило? Я так ничего и не ощущал, но появилось чувство, что рана где-то спереди. Я попытался заговорить, но голоса не было, вырвался только слабый писк. Со второй попытки мне удалось спросить, куда же все-таки меня ранило. «В шею», – ответили мне. Генри Уэбб, наш санитар, принес бинт и одну из бутылочек спирта, которые нам выдавали для перевязок. Когда меня поднимали, изо рта полилась кровь. Стоявший позади испанец сказал, что пуля прошла навылет. Спирт, который в обычное время жег огнем, я ощутил на ране приятной прохладой.

Меня снова положили, и кто-то побежал за носилками. Услышав, что пробило шею, я решил, что это конец. Раньше я никогда не слышал, чтобы человек или животное с пулей в шее выживали. Из уголка рта у меня сочилась кровь. «Затронута артерия», – подумал я. Интересно, сколько можно протянуть с порванной сонной артерией? Может, всего несколько минут. Все было как в тумане. Минуты две я не сомневался, что умираю. Это тоже было интересно – я хочу сказать, интересно, какие мысли приходят тогда в голову. Первая мысль, ясно, была о жене. Затем – страшное негодование, что приходится покидать этот мир, который в принципе меня устраивал. Острое и тягостное чувство. Такое глупое невезение бесило. Какая нелепость! Получить

ранение даже не в бою, а в убогом окопе из-за собственной неосторожности. Я успел подумать и о ранившем меня человеке – кто он? Испанец или иностранец? Понял он, что попал в цель? Я не держал на него зла. Если он фашист, я тоже мог его убить, но, если б в этот момент его подвели ко мне как пленного, поздравил бы с метким выстрелом. Впрочем, если по-настоящему умираешь, мысли могут быть совсем другие.

Я уже лежал на носилках, когда правая рука вдруг ожила и меня пронзила острая боль. На какое-то время я подумал, что, падая, я ее сломал, но нарастающая боль даже успокоила меня: ведь известно, что ближе к смерти боль притупляется. Я воспрял духом и только жалел четырех бедолаг, которые, обливаясь потом и скользя, тащили на плечах носилки со мной. До санитарной машины было полторы мили по неровной скользкой дороге. Всего за день-два до этого случая я сам помогал нести раненого и знал, какая это мука. Мое лицо щекотали листья серебристых тополей, местами подступавших к нашим окопам; и я подумал: как прекрасно жить в мире, где растут серебристые тополи. От нестерпимой боли я стал отчаянно ругаться, но недолго – пришлось сдерживаться: от напряжения начинала идти кровь.

Врач перевязал рану, сделал укол морфия и отправил меня в Сиетамо. Лазарет в Сиетамо представлял наспех сколоченные бараки, где раненых передерживали несколько часов, а потом посылали в госпитали Барбастро или Лериды. От морфия я как-то отупел, но боль не прекращалась, я не мог двигаться и постоянно сглатывал кровь. В испанских лечебницах своеобразное меню для тяжелораненых: неопытная медсестра пыталась впихнуть в меня плотный обед из супа, яиц и тушеного мяса. Ее удивил мой отказ от такой царской пищи. Я попросил сигарету, но в то время, как нарочно, были перебои с табаком и курева не нашлось. Ко мне пришли два друга, отпросившиеся с передовой, чтобы навестить меня.

– Привет! Ты живой? Это хорошо. Дай нам твои часы, револьвер и электрический фонарик. И нож, если есть.

Они забрали с собой все, что можно было унести. Так всегда поступали: имущество раненого быстро делили между собой. И это было правильно: часы, оружие и прочие вещи представляли на фронте большую ценность, и, если их не забрать сразу, непременно украдут по дороге.

К вечеру набралось достаточно больных и раненых; их, и меня в том числе, загрузив несколько санитарных машин и повезли в Барбастро. Ну и поездка! Говорили, что в этой войне, считай, тебе повезло, если ранят в руку или ногу, но если в живот – кранты. Теперь я понял почему. Никто с внутренним

кровотечением не выдержит многокилометрового путешествия по крытым щебенкой, развороченным грузовиками дорогам, которые не ремонтировались с начала войны. Трах-тарарах, вот это тряска! Мне припомнилось раннее детство и ужасные качели в Уайт-сити. Нас даже не привязали к носилкам. В левой руке у меня хватило сил, чтобы придерживаться за край носилок, но, помнится, один бедняга просто валялся на полу и, думаю, ужасно страдал. А другой, ходячий, сидел в углу машины и блевал, не переставая. Госпиталь в Барбастро был переполнен, койки почти касались друг друга. На следующее утро некоторых из нас погрузили в санитарный поезд и отправили в Лериду.

В Лериде я пробыл пять или шесть дней. В этом большом госпитале лежали вперемешку больные, раненые и обычные гражданские пациенты. В моей палате были и тяжелораненые. Рядом со мной лежал темноволосый юноша, серьезно больной, и ему давали лекарство, из-за которого его моча становилась зеленой, как изумруд. На нее приходили пялиться из других палат. Говоривший по-английски коммунист из Голландии, узнав, что в госпитале лечится англичанин, пришел познакомиться и принес английские газеты. Мы подружились. Его тяжело ранило во время октябрьских боев, каким-то чудом доставили в местный госпиталь, и здесь он обосновался, женившись на медсестре. Из-за ранения его нога ссохлась до такой степени, что была не толще моей руки. Находившиеся в отпуске два ополченца, с которыми я познакомился в первую неделю на фронте, пришли в госпиталь навестить своего друга и узнали меня. Им было не больше восемнадцати. Они стояли, переминаясь с ноги на ногу, подле моей кровати, не зная, что сказать, а потом в порыве сочувствия внезапно вытащили из карманов весь свой табак, сунули его мне и быстро скрылись, чтобы я не успел отказаться. Как это характерно для испанцев! Позже я узнал, что в городе нельзя купить табак и они отдали мне недельный паек.

Через несколько дней я смог подняться и ходил с рукой на перевязи. По какой-то причине она так меньше болела. Какое-то время меня мучили внутренние боли от падения, голос почти совсем пропал, но боль от раны я не чувствовал. Говорят, так обычно и бывает. Острый шок от сильного пулевого ранения заглушает боль, а вот неровный осколок от снаряда или бомбы, ударяющий с меньшей силой, причиняет, напротив, страшную боль. При госпитале был красивый сад с прудом, где резвились золотые рыбки и еще какие-то темно-серые рыбешки – уклейки, кажется. Я сидел там часами, наблюдая за ними. Порядки в Лериде показали мне, как поставлена санитарная служба на Арагонском фронте – про другие ничего не могу сказать. В

некоторых отношениях госпитали хорошие – опытные врачи, достаточное количество лекарств и оборудования. Но есть два существенных недостатка, погубившие, не сомневаюсь, сотни или тысячи людей, которых можно было спасти.

Во-первых, прифронтовые госпитали играли в основном роль эвакуационных пунктов. Оперировали или лечили раненого только в том случае, если он был в настолько тяжелом состоянии, что о транспортировке речь идти не могла. Теоретически большинство раненых следовало сразу отправлять в Барселону или Таррагону, но из-за отсутствия транспорта их часто привозили туда через неделю или даже дней через десять. До этого они валялись в Сиетамо, Барбастро, Монсоне, Лериде и прочих местах, не получая никакого лечения, помимо перевязок, – и то не регулярно. На бойцов с ужасными осколочными ранениями и раздробленными костями накладывали что-то вроде тугого чехла из бинтов и гипса, а на нем карандашом писали диагноз; как правило, этот чехол снимали только в Барселоне или Таррагоне спустя десять дней. До этого следить за состоянием раны было невозможно: врачи не могли справиться с большим объемом работы и, проходя мимо несчастных, только говорили: «Все будет хорошо. В Барселоне о вас позаботятся». Постоянно ходили слухи, что санитарный поезд отправится в Барселону *mañana*, то есть завтра.

Во-вторых, недоставало квалифицированных медсестер. Вероятно, так получилось из-за того, что до войны эту работу выполняли преимущественно монахини. У меня нет никаких претензий к испанским медсестрам, они всегда проявляли ко мне доброту, но, к сожалению, были невежественны в медицинском отношении. Все они знали, как измерять температуру, некоторые даже умели наложить повязку, но на этом их познания заканчивались. В результате те, кто был слишком болен, чтобы позаботиться о себе, оставались без внимания. Кто-то мог неделю лежать с запором, к тому, кто был слишком слаб, чтобы самому помыться, подолгу не подходили. Помнится, один несчастный с раздробленной рукой жаловался мне, что его три недели не умывали. Даже постели могли долго не перестилать. Кормили в госпиталях всегда хорошо – даже слишком. В Испании традиция кормить больных обильной и сытной пищей гораздо крепче, чем в других странах. И в Лериде эта традиция поддерживалась. Около шести утра приносили завтрак, который состоял из супа, омлета, тушеного мяса, хлеба, белого вина и кофе. Обед был еще обильнее – и это в то время, когда гражданское население серьезно недоедало. Испанцы, похоже, не понимали, что такое лечебное питание. И здоровые, и больные ели одно и то же –

жирную, обильную пищу, от души заправленную оливковым маслом.

Однажды утром объявили, что всех раненых из нашей палаты сегодня же отправляют в Барселону. Мне удалось послать жене телеграмму о моем неожиданном приезде, потом нас рассадили по автобусам и повезли на вокзал. И только когда поезд тронулся, сопровождающий нас санитар как бы случайно обронил, что на самом деле нас везут не в Барселону, а в Таррагону. Возможно, это была прихоть машиниста. «Как по-испански!» – подумал я. Однако поезд согласились задержать, чтобы я мог послать новую телеграмму, и это тоже было по-испански. И уж совсем по-испански было то, что телеграмма так и не дошла по назначению.

Нас разместили в вагонах третьего класса с деревянными скамьями, хотя многие тяжелораненые только сегодня впервые встали с постели. Вскоре от жары и тряски половина из них была в обморочном состоянии, некоторых рвало на пол. Санитар прокладывал себе путь сквозь валявшихся повсюду раненых и брызгал воду из большого бурдюка в рот то одному, то другому. Вода была премерзкая. До сих пор помню ее вкус. Мы въехали в Таррагону на закате. Железная дорога шла вдоль берега на расстоянии брошенного камня. Когда наш состав вкатил на станцию, от перрона как раз отходил на фронт поезд с бойцами из интернациональной бригады. Толпа людей на мосту махала им вслед. Поезд был очень длинный, битком набитый солдатами, на открытых платформах стояли орудия, и вокруг них тоже толпились люди. Я отчетливо помню этот отходящий в вечернем свете состав: смуглые, улыбающиеся лица в каждом окне, длинные стволы винтовок, развевающиеся алые шарфы – и все это медленно скользило мимо нас на фоне бирюзового моря.

«Extranjeros, – «иностранцы» – сказал кто-то рядом. – Это итальянцы». Конечно, то были итальянцы. Никто другой не смог бы сбиться в такие живописные группы и с такой грацией отвечать на приветствия толпы. И эта грация не уменьшалась пропорционально выпитому вину – половина мужчин в поезде держала в руках наполовину пустые бутылки. Позже нам рассказали, что эти части были в составе войска, одержавшего в марте знаменитую победу при Гвадалахаре. Теперь, после отпуска, их переводили на Арагонский фронт. Боюсь, что многие из них положили головы под Уэской спустя всего несколько недель. Те из нас, кто мог ходить, встали, чтобы приветствовать итальянцев. Кто-то махал костылем из окна, кто-то в салюте вскидывал забинтованную руку. Аллегорическая картина войны: поезд со здоровыми, веселыми бойцами горделиво катит по рельсам, а навстречу медленно движется санитарный поезд с

искалеченными в боях людьми. И все же орудия на открытых платформах заставляют сильнее биться сердца раненых, пробуждая постыдно-воинственный дух, от которого так трудно освободиться, как и от мысли, что война все-таки славное дело!

В большом таррагонском госпитале лежали раненые с разных фронтов. Каких тут только не было ранений! Некоторые раны лечили, видимо, по последнему слову медицины, но глядеть на это было страшно. Рану оставляли полностью открытой, без всякой повязки, от мух ее предохраняла марлевая сетка, натянутая на проволочную рамку. Под сеткой виднелось кровавое месиво. Голова одного человека, раненного в лицо и шею, была упакована в некий сферический шлем из марли; рот его был плотно закрыт, в губах он сжимал трубочку, через которую дышал. Бедняга, он выглядел таким одиноким, взгляд его потерянно блуждал по палате, он смотрел на тебя сквозь марлевую сетку, не в состоянии вымолвить ни слова. В Таррагоне я пробыл три или четыре дня. Силы постепенно возвращались, и однажды я мелкими шагами дошел до берега моря. Странно было видеть, что там продолжается курортная жизнь – уютные кафе вдоль моря, упитанные местные буржуи плещутся в волнах и загорают в шезлонгах, как будто нет никакой войны. Однако я видел утопленника, так уж вышло, хотя казалось невероятным, что можно утонуть в таком мелком и теплом море.

Наконец, на восьмой или девятый день после фронта, мою рану обследовали. В операционной, куда привозили новеньких, врачи огромными ножницами взрезали гипс, в который на эвакуационных пунктах закатывали раненых со сломанными ребрами и ключицами. Из этих разрезанных неуклюжих панцирей выглядывали взволнованные грязные лица, заросшие недельной щетиной. Врач, живой, красивый мужчина лет тридцати, усадил меня на стул, захватил мой язык куском грубой марли, вытащил его, насколько смог, засунул мне в рот зеркальце дантиста и попросил сказать: «А…» Я говорил «А…», пока мой язык не стал кровоточить и из глаз не заструились слезы. Тогда врач сказал, что одна часть голосовых связок парализована.

– А когда ко мне вернется голос? – прошептал я.

– Голос? Да никогда, – весело ответил врач.

К счастью, он ошибся. Около двух месяцев я мог только шептать, но потом неожиданно голос вернулся: другая связка «компенсировала» потерю. Боль в руке оставалась: пуля попала в пучок шейных нервов. Эта боль, сродни невралгии, мучила меня постоянно около месяца, особенно ночами, и я почти не спал. Пальцы правой руки тоже почти не двигались. Даже сейчас, пять месяцев спустя, я не могу пошевелить указательным пальцем –

странное последствие ранения в шею.

Моя рана была в своем роде курьезом, и доктора, осматривая ее, цокали языком: «*Que suerte! Que suerte!*»[54] Один из них сказал с важным видом, что пуля прошла в миллиметре от артерии. Уж не знаю, как он это определил. Впрочем, все, кого я видел в то время – доктора, медсестры, практиканты или такие же пациенты, как я, – в один голос говорили, что мне необыкновенно повезло: если прострелено горло, шансов выжить практически нет.

Глава 13

Во время последних недель, проведенных мною в Барселоне, в городе установилась неприятная атмосфера – подозрительности, страха, неуверенности и плохо скрытой ненависти. Майские бои оставили после себя неизгладимый след. С падением правительства Кабальеро к власти пришли в основном коммунисты, наведением внутреннего порядка стали заниматься министры из их числа, и никто не сомневался: прежде всего они разделаются с политическими противниками. Пока все было спокойно, я не знал, что может произойти, и все же меня не покидало чувство неопределенной опасности, сознание надвигающейся беды. Даже если у вас не было никаких заговорщицких планов, в самом воздухе витало нечто, отчего вы непроизвольно ощущали себя заговорщиком. Все опасливо перешептывались в уголках кафе, ведь за соседним столом мог сидеть доносчик.

Цензура печати породила разные слухи. Говорили, что правительство Негрина – Прието собирается прийти к военному соглашению с противником. В то время я был склонен в это верить: фашисты окружили Бильбао, а правительство ничего не делало, чтобы спасти город. По всей Барселоне развевались баскские флаги, по кафе ходили девушки, грохоча коробками для сбора пожертвований, по радио по-прежнему шел треп о «героических защитниках», но реально баскам никто не помогал. Порой верилось, что правительство ведет двойную игру. Дальнейшие события показали, что я ошибался, но, похоже, приложив больше усилий, Бильбао можно было отстоять. Наступление на Арагонском фронте, пусть даже неудачное, заставило бы Франко оттянуть туда несколько частей, но правительство не отдавало приказа о наступлении, пока не стало слишком поздно – Бильбао уже пал.

СНТ распространяло в большом количестве листовку с предупреждением: «Будьте начеку!», намекая, что «некая партия» (коммунистическая, имелось в виду) планирует государственный переворот. Опасались также, что фашистами будет захвачена Каталония. Ранее, по пути на фронт, я видел, что в десятках миль за линией фронта возводятся мощные укрепления, а в самой Барселоне сооружаются новые бомбоубежища. Все время объявляли воздушную и морскую тревоги, чаще всего они были ложными, но каждый раз при реве сирены город надолго погружался в темноту, а боязливые люди прятались в подвалы. Полицейские агенты шныряли повсюду. Тюрьмы с майских боев

были переполнены заключенными, а с тех пор пополнились еще – анархисты и члены ПОУМ то и дело по одному, по двое пропадали и оказывались в заключении. Насколько известно, ни одному из них не предъявили обвинения – даже в троцкизме. Их просто бросали в тюрьму, и они там сидели, обычно *incommunicado*[55]. Боб Смилли по-прежнему томился в тюрьме Валенсии. О нем никто ничего не знал, кроме того, что ни представителю ИЛП, ни адвокату не разрешали с ним встретиться. В тюремном заключении все чаще оказывались иностранцы из интернациональной бригады и прочие ополченцы. Обычно их арестовывали как дезертиров, что было характерно для данной ситуации: никто толком не знал, был ополченец добровольцем или солдатом регулярной армии. Еще несколькими месяцами раньше каждого ополченца уверяли, что он находится в ополчении по своей воле и, когда окажется в отпуске, сможет демобилизоваться. Теперь, похоже, правительство изменило порядок: ополченец приравнивался к солдату регулярной армии и считался дезертиром, если выражал желание вернуться домой. Но и тут не было полного порядка. На некоторых участках фронта руководство удовлетворяло просьбы об увольнении. На границе такие документы могли признать, а могли и оспорить. В последнем случае вас сразу же бросали в тюрьму. Со временем количество оказавшихся в тюрьмах иностранцев-«дезертиров» стало исчисляться сотнями, впрочем, многих отпускали, как только в их странах поднимался шум вокруг незаконных арестов.

Штурмовые отряды рыскали по всему городу, гражданская гвардия удерживала в своих руках кафе и другие здания в стратегических районах, а занятые ПСУК дома были по-прежнему завалены мешками с песком и забаррикадированы. В разных частях города располагались контрольные посты – карабинеры останавливали там прохожих и проверяли документы. Меня предупредили не предъявлять удостоверение ополченца ПОУМ, а показывать только паспорт и справку из госпиталя. Становилось опасно быть даже ополченцем ПОУМ. Раненых или находящихся в отпуске ополченцев всегда встречали с разными мелкими придирками – например, им под разными предлогами задерживали выплату жалованья. «Ла Баталла» все еще выходила, но в ней мало чего оставалось после вмешательства цензуры, такую же жестокую цензуру претерпевали «Солидаридад» и прочие анархистские газеты. По новым правилам места запрещенных цензурой материалов нельзя было оставлять пустыми, а следовало заполнить чем-то другим. В результате невозможно было с точностью установить, что именно вырезали цензоры.

Недостаток продовольствия, ощущавшийся на протяжении всей войны, вступил в острую фазу. Не хватало хлеба, в дешевые сорта добавляли рис; поступавший в казармы хлеб напоминал оконную замазку. Молоко и сахар были почти не доступны, не говоря уж о табаке, – в обращении ходили только дорогие контрабандные сигареты. Существовал дефицит оливкового масла, которым испанцы пользуются во многих случаях. У магазинов, торгующих оливковым маслом, выстраивалась длинная очередь из женщин. За порядком следили конные гвардейцы, которые иногда развлекались тем, что пятились в толпу, не заботясь о том, что кони могут оттоптать женщинам ноги. Раздражало также отсутствие разменной монеты. Серебро изъяли из обращения, а новые монеты не выпускали. Между десятью сантимами и банкнотой в две с половиной песеты не было никаких других денег, а деньги ниже десяти песет встречались редко. Для бедных слоев населения это означало ухудшение материального положения. Женщина с десятью песетами могла простоять в очереди несколько часов и ничего не купить: у продавца не было сдачи, а она не могла позволить себе истратить все деньги.

Трудно передать весь кошмар того времени: всевозможные тревожные слухи постоянно менялись под влиянием газетной цензуры и постоянного присутствия вооруженных людей. Трудно передать – еще и потому, что в Англии сейчас нет ничего, что способствовало бы созданию такой атмосферы. Политическая нетерпимость еще не стала в Англии нормальным явлением. Конечно, и там существуют случаи политического преследования: будь я шахтером, постарался бы скрыть от хозяина свои коммунистические убеждения. Однако «партийный активист», «гангстер от политики» – такие фигуры в Англии встречались не часто, а понятия «ликвидировать» или «убрать» тех, кто с тобой не согласен, еще не прижились. Но в Барселоне это стало естественным делом. «Сталинисты» были на коне, и «троцкисты» чувствовали себя в постоянной опасности. То, чего все боялись – новой вспышки уличных боев, а их обязательно свалили бы на ПОУМ и анархистов, – к счастью, не случилось. Иногда я ловил себя на том, что прислушиваюсь: нет ли выстрелов. Казалось, по городу разлилось некое могучее зло. Все это чувствовали и об этом говорили. Удивительно, что люди выражали свои страхи почти в одних и тех же словах: «Какая ужасная здесь царит атмосфера. Как будто находишься в сумасшедшем доме». Впрочем, зря я говорю обо всех: некоторые англичане, которые провели в Испании недолгое время, порхая из гостиницы в гостиницу, не заметили в обстановке ничего особенного. Так

герцогиня Атольская писала в «Санди экспресс» от 17 октября 1937 года:

> Я посетила Валенсию, Мадрид и Барселону… во всех городах царит порядок, никакого насилия. Все гостиницы, в которых я останавливалась, были не только «нормальными» и «приличными», но и весьма комфортабельными, несмотря на трудности с маслом и кофе.

Такова особенность английских путешественников – не верить в существование чего-то, помимо удобных гостиниц. Надеюсь, для герцогини Атольской масло все-таки отыскали.

Я лечился в санатории имени Маурина, находящемся в ведении ПОУМ. Он был расположен неподалеку от Тибидаб, странной формы горы, возвышающейся сразу за Барселоной. Считается, что именно на ее вершине Сатана искушал Иисуса земными благами, отсюда и ее название[56]. Сам дом, экспроприированный во время революции, раньше принадлежал богатому буржуа. Здесь долечивались те, кого по состоянию здоровья освободили от военной службы, а также те, которые навсегда остались инвалидами, лишившись конечностей, и так далее. Кроме меня, здесь были еще англичане: Уильямс с ранением ноги, восемнадцатилетний Стаффорд Коттман с подозрением на туберкулез и Артур Клинтон с размозженной левой рукой, он носил ее на длинном проволочном приспособлении, которое в испанских госпиталях называли «аэропланом». Жена по-прежнему жила в гостинице «Континенталь», и днем я обычно ездил в Барселону. Утром я ходил на электротерапию. Необычные ощущения – от серии острых электрических уколов мускулы на руке дергались, однако лечение помогало: пальцы обретали подвижность, а боль становилась меньше. Мы с женой решили, что надо как можно скорее вернуться в Англию. Я очень ослабел, голос так и не возвращался, и врачи утверждали, что в лучшем случае я смогу вернуться в строй только через несколько месяцев. В конце концов придется зарабатывать деньги – нет смысла торчать в Испании и есть хлеб, в котором нуждались другие. Но мои мотивы были в основном эгоистического порядка. Мне хотелось поскорее убраться отсюда, не дышать этим жутким воздухом подозрительности и ненависти, не видеть улицы, по которым ходят толпы вооруженных людей, я устал от воздушных налетов, окопов, пулеметов, скрежета трамваев, чая без молока, еды на оливковом масле, нехватки сигарет – от всего того, что у меня теперь ассоциировалось с Испанией.

Врачи из Центрального госпиталя признали меня негодным к военной службе, но для окончательного увольнения следовало пройти медицинскую комиссию в прифронтовом госпитале, а затем получить в Сиетамо бумаги с печатью в штабе ополчения ПОУМ. В это время с фронта вернулся преисполненный радужных надежд Копп. Он участвовал в последних боях и уверял, что Уэска вот-вот падет. Правительство перебросило туда войска с Мадридского фронта, и теперь там было не менее тридцати тысяч человек и много самолетов. Итальянцы, которых я видел в поезде, идущем из Таррагоны, отважно бились за дорогу на Хаку, но понесли большие человеческие потери и лишились двух танков. Однако город обречен, сказал Копп. (Увы! Этого не случилось. Битва за него стала кровавой мясорубкой и закончилась ничем, кроме моря лжи в газетах.) А пока Копп должен был ехать в Валенсию, чтобы взять интервью у военного министра. У него было письмо от генерала Посаса, командующего Восточной армией, в нем Копп характеризовался как «человек, заслуживающий доверия», на которого можно положиться и которому можно поручить специальные задачи в инженерных подразделениях. (В гражданской жизни Копп был инженером.) В Валенсию он выехал в тот же день, как и я в Сиетамо, – 15 июня.

В Барселону я вернулся только через пять дней. Грузовик с такими же, как я, ополченцами въехал в Сиетамо около полуночи. Стоило оказаться в штабе ПОУМ, как нам тут же начали раздавать винтовки и патроны, даже не поинтересовавшись, кто мы и откуда. Началось наступление, и резервы могли потребоваться в любую минуту. В моем кармане лежала медицинская справка, но мне показалось неудобным не пойти вместе со всеми. Я прикорнул на земле, положив под голову коробку с патронами, настроение было хуже некуда. Ранение здорово подорвало мою нервную систему – думаю, так со всеми бывает, – и перспектива снова оказаться под огнем страшила меня. Однако меня спасло обычное испанское *manana* (завтра), нас никуда не послали, а утром я предъявил медицинскую справку и пошел увольняться. Утомительное, однако, оказалось дело! Меня гоняли из одного госпиталя в другой – из Сиетамо в Барбастро и Монсон, затем опять в Сиетамо, чтобы поставить печати на документах, и обратно, через Барбастро и Лериду. Весь транспорт был направлен на переброску войск к Уэске, и от путаницы на дорогах голова шла ходуном. Где только мне не приходилось ночевать – на больничной койке, в канаве, на узкой скамейке, с которой я посреди ночи свалился, и один раз – в муниципальном общежитии в Барбастро. Если не повезло сесть на поезд, вы были обречены трястись на случайных грузовиках.

Тогда приходилось по три-четыре часа торчать у обочины вместе с группами недовольных крестьян, нагруженных узлами с утками и кроликами, и без устали махать проезжавшим машинам. Когда наконец удавалось остановить грузовик, не наполненный людьми, буханками хлеба или ящиками с патронами, вас ожидала тряска по ухабистой дороге, отбивавшей все внутренности. Ни одна лошадь не подкидывала меня так высоко, как эти грузовики. Оставалось только сбиться в кучку и держаться друг за друга. К своему стыду, я обнаружил, что пока не могу вскарабкаться на грузовик без посторонней помощи.

Я провел ночь в госпитале Монсона, куда приехал на медицинскую комиссию. На соседней койке лежал гвардеец из штурмовой группы, раненный в левый глаз. Он был настроен дружелюбно и угостил меня сигаретами. «В Барселоне нам пришлось бы стрелять друг в друга», – сказал я, и мы рассмеялись. Удивительно, как меняется общий настрой, когда оказываешься недалеко от передовой. Вся или почти вся неприязнь между политическими партиями куда-то уходит. Не помню, чтобы на фронте какой-нибудь сторонник ПСУК относился ко мне враждебно из-за того, что я член ПОУМ. Такое происходило только в Барселоне или в других местах, еще дальше расположенных от фронта. В Сиетамо было много гвардейцев из штурмовых отрядов. Их прислали из Барселоны для участия в наступлении на Уэску. Гвардейцы в принципе не предназначались для участия в военных действиях, и многие из них еще не нюхали пороху. В Барселоне они были королями, а здесь всего лишь *quintos* (новичками), и на них свысока поглядывали пятнадцатилетние мальчишки из ополчения, проторчавшие на передовой несколько месяцев.

В монсонском госпитале врач проделал привычную процедуру с вытягиванием языка и вставлением зеркальца, так же весело, как и прочие, порадовал меня, что говорить мне больше не суждено, и подписал медицинское заключение. Пока я дожидался осмотра, за дверями шла какая-то болезненная операция без наркоза – почему без наркоза, не знаю. Она длилась долго, стенания и вопли неслись непрерывно. Когда я вошел в операционную, стулья были разбросаны, а на полу растеклись лужицы крови и мочи.

Подробности последней поездки запечатлелись в моей памяти с особой отчетливостью. Теперь у меня было другое настроение, и я воспринимал все гораздо яснее, чем несколько месяцев назад. На руках было увольнение с печатью 29-й дивизии и медицинское свидетельство о «негодности к военной службе». Я мог вернуться в Англию и, следовательно, мог впервые окинуть

Испанию свободным взглядом. Я мог провести в Барбастро целый день, потому что поезд ходил только раз в сутки. Раньше я видел Барбастро только мельком, он казался мне частью фронта – серое, грязное, неуютное место, заполненное ревущими грузовиками и замызганными солдатами. Теперь все выглядело иначе. Гуляя по городу, я видел красивые извилистые улицы, старинные каменные мосты, винные лавки с огромными, в человеческий рост, влажными бочками и интригующими полуподвальными мастерскими, где мужчины мастерили самые разные вещи – колеса для телег, кинжалы, деревянные ложки и бурдюки. Я стоял и с большим интересом смотрел, как ремесленник мастерит бурдюк, меня поразило, что его шьют мехом внутрь и шерсть не удаляют, так что, можно сказать, мы пьем воду и вино, настоянные на козьем волосе. Я пил из таких бурдюков уже несколько месяцев и только сейчас узнал, как они устроены. На окраине города протекала мелкая речушка с изумрудно-зеленой водой, а посреди нее высилась большая скала с врезанными в нее домиками. Живя в таком домике, можно прямо из спальни плевать в воду, текущую в ста футах внизу. Множество голубей устроили себе гнезда в расселинах скалы.

В Лериде тоже были старые, полуразвалившиеся дома, на их карнизах не одна тысяча ласточек свили гнезда, которые на близком расстоянии были удивительно похожи на лепные украшения периода рококо. Странно, но почти шесть месяцев я ничего этого не замечал. Теперь, с документами об увольнении в кармане, я вновь почувствовал себя человеком и даже в какой-то степени туристом. Чуть ли не впервые я осознал, что нахожусь в Испании – в стране, которую всегда мечтал посетить. Казалось, что в тихих, удаленных от центра улочках Лериды и Барбастро я улавливаю легкое видение, далекий отголосок той Испании, какая живет в нашем воображении. Заснеженные горные цепи, пастухи, пасущие стада коз, подземелья инквизиции, мавританские дворцы, черные вереницы мулов, серые оливковые деревья и лимонные рощи, девушки в черных мантильях, вина Малаги и Аликанте, соборы, кардиналы, бои быков, цыгане, серенады – словом, настоящая Испания. Из всех европейских стран именно она пленила мое воображение. Обидно, что, наконец оказавшись здесь, я увидел только этот северо-восточный уголок в самый разгар хаотичной войны, да еще по большей части в зимнее время.

Я вернулся в Барселону поздно, мечтать о такси не приходилось. Попасть в санаторий имени Маурина, расположенный за городом, было невозможно, и потому я направился в «Континенталь», по пути где-то поужинав. Помню

свой разговор с отнесшимся ко мне по-отечески официантом: я восхитился дубовыми кувшинами, обитыми медью, в которых приносили вино, и спросил, нельзя купить несколько таких и увезти с собой в Англию на память. Официант понимающе закивал: «Не правда ли, хороши? Но сейчас их не достать. Никто ни таких кувшинов, ни кружек не делает. Вообще никто ничего не делает. Все из-за этой войны!» Я согласился с ним, что война – это нехорошо. И когда официант вежливо поинтересовался, понравилась ли мне Испания, снова почувствовал себя туристом. Приеду ли сюда еще? О да, обязательно. Эта мирная беседа запала мне в душу особенно потому, что потом события приняли совсем не мирный оборот.

Когда я вошел в гостиницу, жена сидела в холле. Она поднялась и подошла ко мне наигранно беспечно – так мне показалось. Обняв меня и нежно улыбаясь – специально для людей, сидящих в холле, она шепнула:

– Уходи!

– Что?

– Уходи отсюда немедленно!

– В чем дело?

– Не стой здесь. Нужно скорее уходить!

– Что такое? Почему? Что все это значит?

Жена взяла меня под руку и повела к лестнице. На полпути нам встретился француз – не буду называть его имени, ибо, не являясь членом ПОУМ, он частенько помогал нам во время беспорядков. Француз озабоченно посмотрел на меня.

– Послушай! Тебе нельзя здесь оставаться. Быстро уходи и где-нибудь спрячься, пока не вызвали полицию.

И подумать только! Внизу лестницы ко мне опасливо выскользнул из лифта один из служащих гостиницы, тоже член ПОУМ (полагаю, управляющий об этом не знал), и на ломаном английском посоветовал быстрее уходить. Я по-прежнему ничего не понимал.

– Что все-таки, черт подери, происходит? – спросил я, когда мы вышли на улицу.

– Разве ты не слышал?

– О чем? Я ничего не знаю.

– ПОУМ запрещена. Гвардейцы захватили все здания. Почти все члены ПОУМ в тюрьме. Говорят, уже пошли расстрелы.

Значит, началось. Надо было где-то поговорить. Во всех больших кафе на Рамблас толклись полицейские, но мы нашли тихое кафе на одной из боковых улиц. Жена рассказала, что случилось после моего отъезда.

15 июня жандармы неожиданно арестовали Андреу Нина в

его кабинете и в тот же вечер, ворвавшись в гостиницу «Фалкон», захватили всех, кто там находился, – по большей части отпущенных в отпуск ополченцев. Гостиницу тут же превратили в тюрьму, и вскоре ее, как говорится, под завязку набили разного рода заключенными. На следующий день ПОУМ объявили нелегальной организацией и все ее офисы, книжные киоски, санатории и центры Красной помощи[57] были захвачены. Тем временем полиция арестовала всех, кто ей попался под руку и о ком было известно, что они каким-то образом связаны с ПОУМ. В течение нескольких дней почти все сорок членов Исполнительного комитета оказались в тюрьме. Возможно, одному или двум удалось спрятаться, но полиция прибегла к действенной уловке (ей пользовались обе стороны) – задержала жен в качестве заложниц. Определить, сколько людей арестовано, было невозможно. Жена слышала, что только в одной Барселоне бросили в тюрьмы четыреста человек. Сейчас я думаю, что даже тогда число арестованных было больше. Кого только не хватали в те дни! Были случаи, когда полиция не гнушалась даже арестом лежащих в госпиталях ополченцев.

Все это привело меня в смятение. Что все это значит? Запрещение ПОУМ я еще мог понять, но аресты?.. Никаких причин к тому не было. Несомненно, запрещение ПОУМ имело обратную силу: теперь партия была нелегальной и, следовательно, все, ранее в ней состоявшие, нарушили закон. Как обычно, никому из арестованных не предъявили обвинения. Но это не помешало коммунистическим газетам Валенсии окрестить все произошедшее гигантским «фашистским заговором», включавшим радиосвязь с противником, документы, написанные невидимыми чернилами, и так далее. Я уже рассказывал о подобных вещах ранее. Показательно то, что о «заговоре» писали только в газетах Валенсии; думаю, что не ошибусь, если скажу: о запрещении ПОУМ не упомянула ни одна газета в Барселоне – ни коммунистическая, ни анархистская, ни республиканская. О характере обвинений против руководителей ПОУМ мы впервые узнали не из испанской прессы, а из английских газет, появившихся в Барселоне на второй или третий день. В то время мы еще не знали, что правительство не несет ответственности за обвинения ПОУМ в предательстве и шпионаже и что впоследствии члены правительства опровергнут эти обвинения. До нас смутно доходило, что руководители ПОУМ и, видимо, все члены партии обвиняются в сотрудничестве с фашистами. Распространились слухи, что в тюрьмах тайно расстреливают арестованных. Здесь не обошлось без преувеличений, но такие случаи действительно были – в частности, трудно сомневаться в

факте расстрела Нина. После ареста его переправили в Валенсию, затем в Мадрид, а 21 июня в Барселоне уже говорили, что Нин расстрелян. Позже слухи обрели более определенную форму: тайная полиция расстреляла Нина в тюрьме, а тело выбросили на улицу. Об этом рассказывали разные люди, в том числе Федерика Монтсени, ранее – член правительства. С того времени о Нине никто больше не слышал. Когда впоследствии делегаты из разных стран спрашивали о нем членов правительства, те неуверенно отвечали, что Нин исчез и никто о нем ничего не знает. В некоторых газетах даже писали, что он переметнулся к фашистам. Эти сведения не подтвердились, и Ирухо, министр юстиции, позднее заявил, что испанское агентство печати исказило его официальное сообщение[58]. Во всяком случае, кажется невероятным, что такому важному политическому заключенному, как Нин, удалось бежать. Если в ближайшем будущем мы о нем ничего не услышим, придется признать, что его убили в тюрьме.

Слухи об арестах не прекращались, и так продолжалось до тех пор, пока число политических заключенных, не считая фашистов, не стало исчисляться тысячами. Характерно, что низшие полицейские чины стали проявлять самоуправство. Многие задержания были явно незаконными, но когда по приказу начальника полиции людей освобождали, их тут же снова арестовывали на выходе и увозили в «секретные тюрьмы». Типичная история произошла с Куртом Ландау и его женой. Их арестовали примерно 17 июня, и Ландау немедленно «исчез». Ничего не зная о судьбе мужа, его жена томилась в тюрьме еще пять месяцев без предъявления обвинения. Она объявила голодовку, и только тогда министр юстиции соблаговолил сообщить ей о смерти Ландау. Вскоре ее освободили, но тут же снова арестовали и бросили в тюрьму.

Было заметно, что полиция поначалу не проявляла никакого интереса к тому, как ее действия отзовутся на ходе войны. Они могли без всякого ордера арестовать военных офицеров, занимавших ответственные посты. В конце июня генерал Хосе Ровира, командовавший 29-й дивизией, был арестован почти на передовой полицейским отрядом, посланным из Барселоны. Его подчиненные отправили делегацию с протестом в военное министерство. Выяснилось, что ни военное министерство, ни Ортега, глава полиции, ничего не знают об аресте генерала. Во всех этих историях меня больше всего возмущало то, что такие новости скрывают от фронтовиков. Как известно, ни я, ни те, что находились на фронте, ничего не слышали о запрещении ПОУМ. Все штабы ополчения ПОУМ, центры Красной помощи и так далее работали в обычном режиме, и еще 20 июня в районе Лериды,

всего в ста милях от Барселоны, никто не знал, что происходит. В барселонских газетах об этом не писали (газеты Валенсии, изощрявшиеся в сочинении «шпионских историй», не доходили до Арагонского фронта), а арест отпускников ПОУМ проводился с целью не допустить, чтобы они вернулись на фронт с такими новостями. Набор ополченцев, с которыми я 15 июня отправился на фронт, вероятно, был последним. Я до сих пор теряюсь в догадках, как удалось держать подобные действия в секрете: ведь грузовики с провиантом и прочие машины курсировали туда и обратно, но тем не менее это удавалось. Позже я узнал от многих ополченцев, что они действительно несколько дней ни о чем не знали. Причина понятна: началась атака на Уэску. Ополченцы ПОУМ все еще составляли самостоятельное объединение, и наверху боялись, что, узнав о происходящем, бойцы откажутся воевать. Но, когда тайное стало явным, не произошло никаких перемен. Во время наступления многие ополченцы погибли, так и не узнав, что журналисты в тылу называли их фашистами. Это нелегко простить. Я знаю, что плохие новости от солдат часто скрывают, и иногда это оправданно. Но совсем другое дело – посылать людей в бой, не сказав, что их партия запрещена, руководители обвинены в измене, а друзья и близкие брошены в тюрьму.

Моя жена продолжала рассказывать мне, что случилось с нашими друзьями. Некоторым из англичан и другим иностранцам удалось перейти границу. Когда окружили санаторий имени Маурина, Уильямсу и Стаффорду Коттману удалось избежать ареста, и сейчас они где-то скрывались. Скрывался и Джон Макнейр, который, узнав о запрете ПОУМ во Франции, тут же вернулся в Испанию – безрассудный поступок, но он посчитал, что не может оставить товарищей в беде. В остальном рассказ жены сводился к простым перечислениям: «взяли того-то и того», и опять: «и еще того-то». Казалось, «взяли» почти всех. Я был поражен, что «взяли» Джорджа Коппа.

– Как Коппа? Я думал, он в Валенсии.

Выяснилось, что Копп вернулся в Барселону с письмом из военного министерства к полковнику, командовавшему инженерными частями на восточном фронте. Коппу было известно, что ПОУМ запрещена, но ему даже в голову не могло прийти, что в полиции работают идиоты, которые осмелятся арестовать человека, направленного на фронт с важным поручением. Копп сначала зашел в «Континенталь», чтобы оставить вещи; моей жены в это время там не было, а служащие гостиницы задержали его, рассказывая разные байки, в то время как их коллеги вызвали полицию. Услышав об аресте Коппа, я

был вне себя от ярости. Он был моим близким другом. Несколько месяцев я служил под его началом, мы попадали с ним вместе под огонь противника, мне были известны обстоятельства его жизни. Он пожертвовал всем – семьей, гражданством, материальным благополучием, только чтобы поехать в Испанию и сражаться с фашизмом. Покинув без разрешения Бельгию, где он был резервистом, Копп вступил в армию иностранного государства, и потому сильно рисковал, даже без учета того, что ранее помогал нелегально изготавливать снаряжение для республиканского правительства. По возвращении в родную страну он мог надолго сесть в тюрьму. Копп был на фронте с октября 1936 года, прошел путь от рядового ополченца до майора, участвовал во многих боях и был ранен. Я лично видел, как во время майских событий он предотвратил схватку в нашем районе и, думаю, спас десять или двадцать жизней. И в ответ за все это получил тюремную камеру. Предаваться ярости – пустая трата времени, но от такой бессмысленной зловредности лопнет любое терпение.

Тем временем никто не предпринимал попыток «взять» мою жену. Хотя она продолжала жить в «Континентале», полиция ее не трогала. Было ясно, что ее используют как подсадную утку. Но за пару дней до моего возвращения рано утром в наш гостиничный номер заявились шестеро людей в штатском и тщательно его обыскали. Забрали с собой все до последней бумажки, оставив, к счастью, паспорта и чековую книжку. А так – взяли мои дневники, все наши книги, газетные вырезки, которые я собирал месяцами (интересно, зачем они им?), мои военные сувениры, всю переписку. (Заодно прихватили письма, полученные от моих читателей. На некоторые из них я не успел ответить, а теперь у меня и адресов не осталось. Если кто-то, не получивший ответа, читает эти строки, прошу принять их как мое извинение.) Как я узнал позже, полицейские забрали оставленные мною вещи также и из санатория. Унесли даже узелок с моим грязным бельем. Возможно, предполагали, что найдут на нем послания, написанные симпатическими, «невидимыми» чернилами.

Для моей жены было безопаснее оставаться в гостинице, по крайней мере, некоторое время. Если она попытается улизнуть, ее сразу бросятся искать. Мне же оставалось только прятаться. Эта перспектива внушала отвращение. Несмотря на массовые аресты, я не мог поверить, что мне грозит опасность. Слишком бессмысленным это казалось. Впрочем, такой же отказ принять всерьез надвигающуюся угрозу привел Коппа в тюрьму. «Почему кто-то захочет меня арестовать? – говорил я себе. – Что я такого сделал? Я даже не был членом партии ПОУМ. Да, при мне было оружие во время майских боев, но оно было примерно у сорока-

пятидесяти тысяч людей». Кроме того, я так отчаянно нуждался в нормальном ночном сне, что был готов рискнуть и переночевать в гостинице. Но жена об этом и слышать не хотела. Она терпеливо разъясняла мне создавшееся положение. Неважно, что я сделал и чего не сделал. Речь шла не о рядовой полицейской облаве – наступило царство террора. Меня не обвиняли в каком-то неблаговидном поступке, меня обвиняли в том, что я троцкист. Того, что я служил в ополчении ПОУМ, достаточно, чтобы заточить меня в тюрьму. Бессмысленно уповать на английский принцип: ты в безопасности, пока не нарушаешь закон. Практически все, что делает испанская полиция, считается законным. Оставалось только залечь на дно и делать вид, что ничто не связывает тебя с ПОУМ. Мы проверили все мои карманы. Жена настояла на том, чтобы я порвал удостоверение ополченца, на котором стояла большая печать ПОУМ, а также фотографию группы ополченцев на фоне флага ПОУМ. Все это могло стать поводом для ареста. Правда, я сохранил свидетельство о моем увольнении со службы, хотя и оно представляло опасность: на нем стояла печать 29-й дивизии, а полиция могла знать, что в ней служили бойцы ПОУМ. Впрочем, без него меня могли арестовать как дезертира.

Нам предстояло обдумать, как выбраться из Испании. Не было никакого смысла в дальнейшем пребывании здесь: ведь рано или поздно все равно окажешься в тюрьме. Если бы не эта уверенность, мы с женой предпочли бы остаться, чтобы собственными глазами увидеть, что будет дальше. Но я догадывался, что испанская тюрьма – гиблое место (на самом деле все было еще хуже, чем я предполагал). Оказавшись в этой тюрьме, никогда не знаешь, когда выйдешь на свободу, а здоровье мое изрядно пошатнулось, не говоря уже о болях в руке. Мы договорились встретиться завтра в английском консульстве, куда должны были прийти также Коттман и Макнейр. Возможно, потребуется несколько дней, чтобы привести в порядок наши паспорта. Перед отъездом из Испании нужно поставить в паспорт три печати в разных местах – у начальника полиции, во французском консульстве и в каталонской иммиграционной службе. Основную опасность представлял, естественно, начальник полиции. Но мы надеялись, что английский консул постарается, чтобы наша причастность к ПОУМ осталась неизвестной. Очевидно, существует некий список с перечислением иностранцев, сочувствующих троцкизму, и очень может быть, что туда внесены и наши фамилии. Однако, если повезет, можно успеть пересечь границу раньше, чем этот список привезут туда. Как обычно, будет много путаницы и неизбежного *manana*. К

счастью, Испания не Германия. Испанская тайная полиция чем-то напоминает гестапо, но ей недостает компетенции и педантичности немцев.

Итак, мы расстались. Жена вернулась в гостиницу, а я побрел в темноте искать себе пристанище для сна. Помню, что чувствовал себя вялым, все опостылело. Как я мечтал заснуть в постели! Идти некуда, негде преклонить голову. Подпольной организации у ПОУМ не было. Ее руководители, конечно, допускали, что партию могут объявить вне закона, но не ожидали, что «охота на ведьм» достигнет такого размаха. Мало того, они занимались перестройкой зданий ПОУМ (в числе прочего предполагалось создать свой кинотеатр в административном здании, где раньше располагался банк) до того самого дня, когда ПОУМ запретили. В результате не существовало ни тайных мест для встреч, ни убежищ, которые должны быть у каждой революционной партии. Кто знает, сколько людей, скрываясь от полиции, ночевали этой ночью на улице! После пяти дней тяжелого путешествия, когда приходилось спать черт знает где, рука здорово разболелась, а теперь еще эти идиоты выслеживают меня, и опять придется спать на земле. Голова моя была занята только этим. Было не до политических размышлений. Такое со мной происходит всегда. Когда я впутываюсь в политические или военные действия, основные мои переживания связаны с физическими неудобствами, а главное желание, чтобы вся эта бессмыслица поскорее кончилась. Потом я осознаю важность событий, но пока они не закончатся, хочу только одного – быть от всего этого подальше, – что ж, возможно, это постыдное желание.

Я долго шел и наконец оказался неподалеку от центральной больницы. Хотелось найти место, где меня не потревожит назойливый полицейский и не потребует документы. Я заглянул в одно бомбоубежище, но его только недавно выкопали, и со стен капала вода. Затем набрел на руины церкви, разрушенной и сожженной в революцию. Сохранились лишь остов, четыре стены без крыши и груды камней. В полумраке я нашел какую-то яму, там и улегся. Каменные обломки – не лучшая постель, но ночь, к счастью, была теплая, и мне удалось несколько часов поспать.

Глава 14

В Барселоне трудно скрываться от полиции, ведь кафе здесь открываются поздно. Когда спишь на улице, просыпаешься обычно рано, а ни одно кафе в городе не открывается раньше девяти. Прошло много времени, прежде чем я смог выпить чашку кофе и побриться. Было странно видеть на стене в парикмахерской старое анархистское предупреждение, что чаевые запрещены. «Революция разбила наши оковы» – гласил плакат. Мне захотелось сказать брадобреям, что если они не проявят активности, то и оглянуться не успеют, как снова окажутся в оковах.

Я вновь побрел в центр города. Со всех зданий ПОУМ сорвали красные флаги, теперь на их месте развевались республиканские, а в дверях стояли вооруженные жандармы. На углу площади Каталонии полицейские развлекались тем, что били окна в центре Красной помощи. Книжные киоски ПОУМ опустели, а на рекламном щите на Рамблас намалевали карикатуру на ПОУМ – лицо фашиста под маской. В самом конце Рамблас, возле набережной, я увидел странное зрелище: шеренга ополченцев только что с передовой – в грязной и потрепанной одежде – устало развалилась на стульях перед чистильщиками обуви. Я понял, кто они, – более того, одного из них я узнал. Эти ополченцы ПОУМ вчера приехали в отпуск с фронта, узнали, что их партия запрещена, и провели ночь на улице, потому что их дома были оцеплены. У приехавшего в эти дни ополченца ПОУМ был выбор – или сразу идти в тюрьму, или скрываться. Не очень приятный выбор после трех или четырех месяцев на фронте.

Мы оказались в странной ситуации. Ночью за нами охотились, а днем мы вели почти нормальную жизнь. Каждый дом, в котором жили сторонники ПОУМ, был – или мог быть – под наблюдением, а пойти в гостиницу или в пансионат было невозможно: хозяев обязали немедленно заявлять о вновь прибывших постояльцах в полицию. На практике это означало ночевку на улице. С другой стороны, днем в таком большом городе, как Барселона, можно чувствовать себя в безопасности. На улицах было полно гражданских гвардейцев, штурмовиков, карабинеров и рядовых полицейских. Не сомневаюсь, что по улицам ходили и шпики в гражданской одежде, но они не могли останавливать всех подряд, и если вы выглядели прилично, вас не трогали. Нельзя было болтаться возле зданий ПОУМ, а также заходить в кафе или рестораны, где тебя знали. Этим и следующим днем я провел много времени в городской бане. Мне

показалось, что это неплохой способ убить время и одновременно не попасться на глаза полиции. К сожалению, такая мысль пришла в голову многим, и спустя несколько дней – я тогда уже покинул Барселону – полиция устроила облаву в банях и арестовала многих троцкистов в чем мать родила.

Идя по Рамблас, я наткнулся на раненого из санатория имени Маурина. Мы незаметно подмигнули друг другу, как тогда практиковалось, и по отдельности вошли в кафе дальше по улице. Во время налета на санаторий ему удалось избежать ареста, но в числе прочих он оказался на улице. На нем была одна рубашка с коротким рукавом – куртку он бросил во время бегства – и никаких денег. Он рассказал, как один из жандармов сорвал со стены портрет Маурина и растоптал его. Маурин, один из основателей ПОУМ, сидел в фашистской тюрьме, и были веские основания полагать, что его уже расстреляли.

В десять часов я встретился с женой в английском консульстве. Вскоре подошли Макнейр и Коттман. Первым делом они сообщили мне, что в валенсийской тюрьме умер Боб Смилли – от чего, никто точно не знал. Его тут же похоронили, даже не разрешив представителю ИЛП Дэвиду Мюррею с ним проститься.

Конечно, я сразу решил, что Смилли убили. Тогда так все думали, но теперь я считаю, что мог ошибаться. Причиной смерти назвали аппендицит, и впоследствии мы слышали от сидевшего с ним заключенного, что Смилли действительно болел. Так что, возможно, он и правда скончался от аппендицита, а Мюррею не показали тело просто со злобы. Однако не могу не заметить, что Бобу Смилли было всего двадцать два года и физически он был одним из самых крепких людей, каких я встречал. Думаю, он, единственный из испанцев и англичан, провел три месяца в окопах, не подхватив даже простуды. Такие люди не умирают от аппендицита, если их хорошо лечат. Но надо видеть испанскую тюрьму и помещения, переделанные для политических заключенных, чтобы понять: шансов на надлежащий уход у больного нет. Тюрьмы здесь больше напоминают темницы. В Англии такие были разве что в XVIII веке. Маленькие камеры набиты так, что лечь там не представляется возможным, и людей иногда держат в подвалах и других темных местах. И это не временная мера; известны случаи, когда людей держали по четыре или пять месяцев без дневного света. Кормят отвратительной едой, и ту дают крошечными порциями: две тарелки супа и два куска хлеба в день. (По слухам, через несколько месяцев рацион несколько улучшился.) Я ничего не преувеличиваю: спросите любого политического заключенного, сидевшего в испанской тюрьме. У меня сведения из разных

источников, и все они настолько схожи, что им нельзя не верить. Кроме того, я и сам видел испанскую тюрьму изнутри. Мой английский друг, сидевший в испанской тюрьме чуть позже, пишет, что исходя из собственного опыта «легче понять, что случилось со Смилли». Смерть Смилли нелегко простить. Этот смелый и одаренный парень прервал учебу в университете Глазго и поехал бороться с фашизмом, и на фронте вел себя отважно и безукоризненно – я сам этому свидетель. А его в награду бросили в тюрьму и дали умереть, как бездомной собаке. Я знаю, что во время такой большой и кровавой войны смерть одного человека мало что значит. Одна сброшенная с самолета бомба на людную улицу приносит больше страданий, чем многие политические преследования. Однако смерть Смилли абсолютно бессмысленна, и это возмущает. Одно дело – быть убитым в сражении, это можно принять, но быть брошенным в тюрьму ни за что, только из-за слепой вражды, и умереть там в одиночестве – это совсем другое. Я не в силах понять, как такие вещи – а ведь случай со Смилли не исключение – могут приблизить победу.

Тем же днем мы с женой отправились к Коппу. Заключенных разрешалось навещать, если, конечно, они не сидели в одиночке, но делать это больше одного или двух раз было опасно. Полицейские следили за посетителями и, если видели, что посещения гостей становятся частыми, то брали их на учет как друзей троцкистов, что могло кончиться для них тюрьмой. И такие случаи бывали.

Коппа не держали в одиночке, и мы без труда получили разрешение на свидание. Когда нас вводили в тюрьму через стальные двери, я увидел знакомого мне по фронту испанца-ополченца, которого конвоировали два гвардейца. Наши глаза встретились – мы так же незаметно подмигнули друг другу. Внутри тюрьмы нам встретился другой ополченец из американцев, он отправился домой несколькими днями раньше, и документы у него были в порядке, но на границе его все-таки задержали – может быть, из-за вельветовых бриджей, которые носили ополченцы. Мы разминулись, словно чужие. Это было ужасно. Я жил с ним несколько месяцев в одном блиндаже, он нес меня раненого на носилках, но показать, что мы знакомы, я не мог. Гвардейцы в голубых мундирах рыскали повсюду. Признавать арестованных было опасно.

Так называемая тюрьма на самом деле располагалась на первом этаже магазина. В две комнаты, каждая футов по двадцать, запихнули человек сто. Все это напоминало картинку из «Справочника Ньюгейтской тюрьмы», выпущенного в XVIII веке: та же чудовищная грязь, невероятное скопление

человеческих тел, никакой мебели – только голый каменный пол, одна скамья и несколько изношенных одеял. Свет почти не пропускали гофрированные стальные ставни на окнах. На грязных стенах нацарапаны революционные лозунги – «Да здравствует ПОУМ!», «Да здравствует революция!» и так далее. Здесь уже несколько месяцев было что-то вроде «свалки» для политических заключенных. Шум стоял оглушительный. Был час свиданий, и тюремное пространство так набилось людьми, что мы с трудом передвигались. Почти все посетители были из бедных слоев рабочего класса. Женщины разворачивали жалкие пакеты с едой, принесенные сидевшим в тюрьме близким людям. Среди заключенных было несколько раненых из санатория имени Маурина, двое с ампутированными ногами. Одного из них доставили в тюрьму без костылей, и он прыгал на одной ноге. Еще там был мальчик лет двенадцати, не больше, – видно, и детей уже стали арестовывать. Запах стоял ужасающий, как всегда бывает при большом скоплении людей, тесноте и антисанитарных условиях содержания.

Копп протолкался через эту толчею к нам. Его круглое розовощекое лицо совсем не изменилось, и даже в этом гадюшнике он ухитрился сохранить форму опрятной и даже побрился. Среди заключенных был еще один офицер в форме Народной армии. Проходя мимо, они отдали честь друг другу, в этом жесте было нечто возвышенное. Казалось, Копп находится в великолепном настроении. «Думаю, нас всех здесь перестреляют», – сказал он весело. При слове «перестреляют» меня охватила внутренняя дрожь. Совсем недавно в меня всадили пулю, и это чувство было свежо в памяти. Неприятно думать, что такое может случиться с кем-то, кого ты хорошо знаешь. Тогда я не сомневался, что все руководители ПОУМ, и Копп в том числе, будут расстреляны. Уже прошел слух о смерти Нина, и мы знали, что ПОУМ обвиняется в предательстве и шпионаже. Все указывало на то, что готовится большой показательный процесс, за которым последует казнь ведущих троцкистов. Тяжело видеть друга в тюрьме и знать, что ты ничем не можешь помочь. А в его случае вообще ничего нельзя было сделать – даже обратиться к бельгийским властям: ведь Копп, приехав сюда, нарушил закон своей страны. Я предоставил вести разговор жене: мой хрип он все равно не разобрал бы в таком шуме. Копп рассказал нам о друзьях, которых завел в тюрьме, об охранниках, некоторые из них оказались неплохими ребятами, зато были и такие, которые измывались над более робкими заключенными. Рассказал о еде, которая больше похожа на помои. К счастью, мы принесли пакет с едой и сигареты. Потом Копп заговорил о бумагах, которые

отобрали у него при аресте. Среди них находилось письмо из военного министерства на имя полковника, возглавлявшего инженерные части восточного фронта. Полицейские письмо отобрали и отказались отдать. По их словам, оно хранится в кабинете начальника полиции. Будь важное письмо на руках у Коппа, его положение могло измениться.

Мне это стало понятно сразу. Официальное письмо с рекомендациями военного министерства и генерала Посаса подтвердили бы *bona fides*[59] Коппа. Трудность заключалась в доказательстве существования письма. Если его напечатали в офисе начальника полиции, можно не сомневаться, какой-нибудь доносчик письмо уничтожил. Только один человек мог на него претендовать – тот, кому оно адресовано. Копп уже подумал об этом и написал письмо, которое просил меня вынести из тюрьмы и отправить по назначению. Но мне показалось, что быстрее и надежнее сделать это лично. Я оставил жену с Коппом, а сам поскорее выбрался из тюрьмы и после нескольких попыток поймал такси. Я понимал, что время решает все. Сейчас половина шестого, полковник может заканчивать работу в шесть, а завтра письмо, возможно, будет неведомо где. Его могут уничтожить, оно может затеряться в кипе бумаг, нараставших по мере новых арестов. Офис полковника располагался в военном ведомстве на набережной. Когда я торопливо поднимался по лестнице, путь мне длинным штыком преградил дежурный штурмовик, потребовавший предъявить документы. Я помахал моими увольнительными бумагами. Дежурный, очевидно, не умел читать и пропустил меня, озадаченный видом непонятных документов. Внутри здание напоминало огромный сложный лабиринт, вьющийся вокруг внутреннего двора, на каждом этаже было по сотне комнат, а так как я находился в Испании, никто не мог объяснить, где находится нужная мне комната. Я непрерывно повторял: «*El coronel – jefe de ingenieros, Ejército de Este*!»[60] Люди улыбались и вежливо пожимали плечами. Все посылали меня в разных направлениях – вверх по лестнице, вниз по лестнице, в какие-то бесконечные коридоры, оказывавшиеся тупиками. А время неумолимо шло. У меня было странное чувство, что я попал в кошмарный сон: беготня вверх и вниз по лестнице; таинственные люди в коридорах; в просветах дверей неубранные кабинеты с раскиданными повсюду бумагами; треск пишущих машинок. А время утекало, и с ним вместе, возможно, чья-то жизнь.

И все же я успел, и, к моему удивлению, меня даже выслушали. Полковника я не видел, но его адъютант или секретарь, офицер очень маленького роста, в отлично

подогнанной форме, с большими косящими глазами, вышел в приемную, чтобы меня выслушать. Я стал излагать ему свою проблему. Я здесь по поручению вышестоящего офицера. Майор Хорхе Копп, посланный на фронт с важным донесением, арестован по ошибке. Письмо к полковнику носит конфиденциальный характер, и его нужно срочно вызволять. Я служил под началом Коппа несколько месяцев, он достойнейший офицер, а этот арест досадная ошибка, полиция, должно быть, его с кем-то спутала и так далее. Я особенно напирал на срочность задания, понимая, что это мой главный козырь. Все дело портил мой чудовищный испанский, с которого я при необходимости переходил на французский. Еще хуже дело обстояло с голосом, который то и дело срывался, и тогда я издавал какие-то каркающие звуки. Больше всего я боялся, что голос пропадет совсем и коротышке надоест мучиться со мной. Интересно, понимал он, что случилось с моим голосом? Может, решил, что я пьян или моя совесть нечиста.

Однако он внимательно меня выслушал, постоянно кивал головой, как бы соглашаясь с моими словами. Да, похоже, тут действительно произошла ошибка. В этом деле следует разобраться. *Mañana* – тут я запротестовал. Только не *mañana!* Дело очень срочное. Коппу нужно возвращаться на фронт. Офицер снова согласился. И тут он задал вопрос, которого я боялся:

– Этот майор Копп – в каких частях он служил?

– В ополчении ПОУМ, – пришлось выдавить ужасные слова.

– ПОУМ!

Трудно передать ту смесь удивления и тревоги, какая прозвучала в его голосе. Нужно знать, на каком положении тогда была ПОУМ. Шпиономания достигла своего апогея, и, наверное, все добропорядочные республиканцы какое-то время верили, что ПОУМ – огромная шпионская организация, работающая на фашистов. Произнести название этой партии перед офицером Народной армии означало почти то же самое, что прийти в лондонский кавалерийский клуб вскоре после публикации «Красного Письма»[61] и признать себя коммунистом. Темные глаза офицера скользнули по моему лицу.

– Так вы говорите, что были с ним на фронте? Выходит, вы тоже служили в ополчении ПОУМ?

– Да.

Повернувшись, он юркнул в кабинет полковника. До меня доносились звуки оживленного разговора. «Все кончено», – подумал я. Письмо Коппа получить не удастся. Более того, после моего признания, что я тоже связан с ПОУМ, я не сомневался, что сейчас позвонят в полицию и меня арестуют – посадят под замок

еще одного троцкиста. Однако, выйдя из кабинета, офицер надел фуражку и сдержанным кивком предложил мне следовать за ним. Путь наш лежал к начальнику полиции – довольно долгий путь, надо сказать: минут двадцать ходу. Офицер-коротышка четко маршировал впереди строевым шагом. За всю дорогу мы не обменялись ни единым словом. У дверей начальника полиции толклись гнуснейшие проходимцы – скорее всего, шпики, стукачи, словом, агенты всех мастей. Маленький офицер вошел в кабинет. Последовал долгий возбужденный разговор, иногда разраставшийся до яростных криков. Мне представлялись раздраженные жесты, подергивания плеч, удары кулаком по столу. Письмо явно не хотели отдавать. Наконец офицер вышел из кабинета с пылающими щеками и с большим казенным конвертом в руках. Письмо Коппа! Мы одержали маленькую победу, которая, как оказалось, ничего не решала. Письмо было доставлено вовремя, но командиры Коппа не смогли вытащить его из тюрьмы.

Офицер обещал передать письмо по назначению. «А как же Копп? – спросил я. – Нельзя ли его освободить из тюрьмы?» Офицер пожал плечами. Это уже другое дело. Откуда знать, за что его арестовали? Он может только обещать, что необходимое расследование проведут. Говорить больше было не о чем, пришла пора расстаться. Мы слегка кивнули друг другу, но тут случилась странная и трогательная вещь. Слегка поколебавшись, маленький офицер шагнул вперед и пожал мне руку.

Не знаю, смогу ли я передать, как глубоко тронул меня этот жест. Вроде бы обычное рукопожатие, но это не так. Надо знать обстановку того времени – гнетущую атмосферу подозрительности и ненависти, циркулирующие всюду слухи и откровенная ложь, плакаты, кричащие со стен, что я и мне подобные – фашистские шпионы. И не надо забывать, что мы стояли у кабинета начальника полиции, среди грязной шайки доносчиков и провокаторов, и кто-то из них мог знать, что меня ищет полиция. Все равно как если бы он пожал руку немцу во время мировой войны. Офицер, конечно, не думал, что я фашистский шпион, и все-таки это был достойный и храбрый поступок.

То, что я рассказываю, возможно, покажется мелочью, но это так типично для испанцев – проявлять вспышки великодушия в тяжелых обстоятельствах. От Испании у меня сохранились самые неприятные воспоминания – но точно не от испанцев. Помнится, я только два раза серьезно разозлился на испанца, но по прошествии времени думаю, что в обоих случаях виноват был сам. Без сомнения, они обладают великодушием и благородством

– чертами, не очень свойственными XX веку. Это дает надежду, что в Испании даже фашизм примет относительно терпимую форму. Мало кто из испанцев обладает той дьявольской деловитостью и последовательностью, которая требуется в современном тоталитарном государстве. Своеобразной иллюстрацией к этому может быть обыск в комнате моей жены, имевший место за несколько дней до похода в тюрьму. Это было настолько любопытное мероприятие, что я жалею о своем отсутствии во время обыска, хотя это и к лучшему: я мог дать волю своему темпераменту.

Обыск начался в традиционном стиле ОГПУ или гестапо. Рано утром раздался стук в дверь, и в комнату вошли шесть человек. Они включили свет и заняли в номере определенные «стратегические» позиции, несомненно, заранее продуманные. Полицейские очень тщательно обыскали обе комнаты и примыкавшую к ним ванную. Простучали стены, перевернули коврики, изучили пол, прощупали шторы, заглядывали под ванну и батареи, вытащили вещи из ящиков и чемоданов и осмотрели на свету каждый предмет туалета. Они забрали все бумаги, даже содержимое корзины, а также все книги и пришли в дикий восторг, увидев у нас французский перевод «Майн Кампф» Гитлера. Мы были бы обречены, если бы они не нашли ничего другого. Но следующей была брошюра Сталина о «Мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников», которая их немного успокоила. В одном ящике полицейские обнаружили несколько упаковок папиросной бумаги. Они разобрали упаковки и каждую бумагу осмотрели отдельно: вдруг там тайные записи? Полицейские работали почти два часа. И за все это время они *ни разу не осматривали кровать.* На кровати лежала жена. И можно было представить, что у нее под матрасом лежит, к примеру, с полдюжины автоматов, не говоря уже о целом архиве троцкистских документов под подушкой. Не думаю, что ОГПУ вело бы себя подобным образом. Нужно помнить, что почти вся полиция была под контролем коммунистов, и эти мужчины тоже могли быть членами компартии. Но они были еще и испанцами, которые не смели потревожить лежащую женщину. Они молча обошли ее постель, что сделало весь обыск бессмысленным.

В эту ночь Макнейр, Коттман и я спали в густой траве на краю заброшенной строительной площадки. Для этого времени года ночь была холодной, и все мы плохо спали. Я помню эти бесконечные часы блужданий по городу в ожидании, когда можно будет выпить кофе. Впервые за все время пребывания в Барселоне я зашел в собор – образец современной архитектуры и, на мой взгляд, одно из самых безобразных зданий в мире[62]. У него

четыре зубчатых шпиля, по форме напоминающие винные бутылки. В отличие от большинства церквей Барселоны этот собор не пострадал во время революции – говорили, его пощадили из-за «художественной ценности». На мой взгляд, анархисты, не взорвав его, продемонстрировали дурной вкус, хотя и вывесили черно-красные флаги на его шпилях. Днем мы с женой отправились еще раз навестить Коппа. Мы больше не могли ничего для него сделать, абсолютно ничего, только попрощаться и оставить деньги нашим испанским друзьям, чтобы ему приносили еду и сигареты. Однако вскоре после того, как мы оставили Барселону, Коппа перевели в одиночную камеру, и стало нельзя передавать ему даже еду.

Вечером, идя по Рамблас, я под влиянием мгновенного импульса зашел в кафе «Мокка», которое по-прежнему удерживали гражданские гвардейцы. Я обратился к одному из двух парней, сидевших у стойки с винтовками за плечами, спросив, знает ли он, кто из его товарищей дежурил здесь во время майских боев. Они этого не знали и с обычной испанской рассеянностью заявили, что не представляют, как это можно выяснить. Я им сказал, что мой друг Хорхе Копп сидит в тюрьме и, возможно, пойдет под суд из-за этих самых событий. Гвардейцы, которые дежурили здесь в мае, знают, что он остановил схватку и спас их жизни. Им надо пойти и заявить об этом. Один из гвардейцев был туповатый увалень, он все время крутил головой, пытаясь расслышать мой голос в шуме уличного движения. Но другой заметно от него отличался. Он сказал, что слышал о поступке Коппа от своих товарищей. Копп – *buen chico* (хороший парень). Но даже слыша его слова, я понимал, что и в этом нет смысла. Если Коппа будут судить, то, как на всех подобных процессах, привлекут фальшивые свидетельства. А если его расстреляют, что, боюсь, вполне вероятно, эпитафией ему будет *buen chico* – слова, сказанные бедным гвардейцем – частью грязной системы, который все же остался человеком, способным понять благородство противника.

Мы вели странное, сумасшедшее существование. Ночью – преступники, а днем – преуспевающие английские туристы – во всяком случае, такими мы себя изображали. Даже после ночи под открытым небом бритье, баня и начищенная обувь делают с человеком чудеса. Теперь самым безопасным было выглядеть как буржуа. Мы слонялись по самым фешенебельным улицам города, где нас не знали в лицо, посещали дорогие рестораны, а с официантами вели себя как типичные англичане. Впервые в жизни я стал писать на стенах. «*Visca P. O. U.M.!*» – выцарапывал я огромными буквами на стенах коридоров дорогих ресторанов.

Впрочем, существуя, по сути, в подполье, я не чувствовал себя в опасности. Вся ситуация казалась слишком абсурдной. Во мне жила неистребимая английская уверенность, что тебя не могут арестовать, если ты не нарушил закон. Но во время политической заварухи это опасная уверенность. На Макнейра был выписан ордер на арест, и существовала вероятность, что и все остальные на заметке. Аресты, облавы, обыски – все это продолжалось, и практически все наши знакомые, кроме тех, что оставались на фронте, уже сидели к этому времени в тюрьме. Полиция даже обыскивала французские суда, периодически вывозившие беженцев, и арестовывала тех, кого подозревала в троцкизме.

Спасибо английскому консулу, он достаточно потрудился в течение этой недели, и паспорта наши были готовы. Теперь надо было уехать отсюда, и как можно скорее. Поезд на Портбоу отбывал по расписанию в половине восьмого, но мог спокойно отойти и в половине девятого. С женой мы договорились, что она закажет такси заранее, затем упакует вещи, оплатит счет, а из гостиницы выйдет в самый последний момент. Если она привлечет к себе повышенное внимание, служащие гостиницы непременно вызовут полицию. Я прибыл на станцию около семи, но поезд уже ушел – без десяти семь. Как бывает, машинист передумал и сменил время отправления. К счастью, нам удалось вовремя предупредить мою жену, и она осталась в гостинице еще на одну ночь. Следующий поезд отправлялся утром. Макнейр, Коттон и я пообедали в привокзальном ресторане. Путем осторожных расспросов мы выяснили, что хозяин ресторана член СНТ и настроен к нам дружески. Он предоставил нам номер с тремя кроватями и не сообщил о нас полиции. Впервые за пять ночей я спал без верхней одежды.

Утром жена успешно выскользнула из гостиницы. На этот раз поезд задержался на час. Я все это время писал длинное письмо в военное министерство, излагая случай с Коппом. Писал, что, вне всякого сомнения, его арестовали по ошибке, что он необходим на фронте и что очень многие люди могут подтвердить его полную невиновность, и так далее. Сомневаюсь, что кто-нибудь прочел это письмо, написанное на вырванных из блокнота страницах дрожащим почерком (мои пальцы были еще частично парализованы), да еще и на корявом испанском языке. Во всяком случае, ни это письмо, ни что другое эффекта не возымели. Сейчас, когда прошло уже шесть месяцев, Копп (если его еще не расстреляли) все еще находится в тюрьме без суда и следствия. В первое время мы получили от него два или три письма, тайком вынесенные из тюрьмы освободившимися заключенными и отправленные из Франции. Во всех описывалось одно и то же –

темные грязные камеры, скудная еда, тяжелая болезнь в результате жутких условий содержания, никакого медицинского лечения. Похожие сообщения до меня доходили и из других источников – английских и французских. Позже он исчез в одной из «секретных тюрем», с которыми нельзя установить никакой контакт. Его судьба – это судьба десятков или сотен иностранцев и неизвестно скольких тысяч испанцев.

Наконец мы благополучно пересекли границу. Впервые в Испании я увидел поезд, где был вагон первого класса и вдобавок вагон-ресторан. Еще недавно в Каталонию ходили поезда, в которых разделений на классы не было. Два сыщика обходили поезд, записывая имена иностранцев, но, увидев нас в ресторане, решили, что мы респектабельные особы, которых лучше не трогать. Удивительно, как все изменилось. Всего шесть месяцев назад, когда у власти находились анархисты, почетно было выглядеть пролетарием. Тогда на пути из Перпиньяна в Церберес оказавшийся в моем купе французский коммерсант посоветовал: «Не стоит ехать в Испанию в таком виде. Снимите воротничок и галстук. С вас сорвут их в Барселоне». Он преувеличивал, но в его словах была частичная правда. На границе анархистский патруль не впустил в страну стильно одетого француза и его жену – думаю, на их взгляд, те выглядели слишком буржуазно. Теперь все было наоборот. Выглядеть буржуазно означало быть вне опасности. В паспортном контроле чиновник посмотрел в список ненадежных лиц, но благодаря медлительности полиции нас там не оказалось, не было даже Макнейра. Нас обыскали с головы до ног, но у нас не имелось при себе ничего недозволенного, кроме моего свидетельства об увольнении по состоянию здоровья. Но обыскивавшие меня карабинеры не знали, что 29-я дивизия состояла из ополченцев ПОУМ. Итак, мы миновали границу, и после шестимесячного отсутствия я снова стоял на французской земле. Из Испании я вывез два сувенира – флягу, обтянутую козьей кожей, и крошечную железную лампу, в которую арагонские крестьяне наливают оливковое масло. Почти такая же форма была у терракотовых ламп римлян две тысячи лет тому назад. Я подобрал ее в одной разрушенной хижине, и вот каким-то образом она оказалась в моем чемодане.

Как выяснилось, мы выехали как раз вовремя. Уже в первой же открытой нами газете сообщалось о неминуемом аресте Макнейра за шпионаж. Испанские власти несколько поторопились с этим сообщением. К счастью, троцкизм не принадлежит к преступлениям, подлежащим экстрадиции.

Интересно, какое самое естественное действие для человека, вернувшегося с войны и ступившего на мирную землю? Что

касается меня, я первым делом бросился к табачному киоску и накупил столько сигар и сигарет, сколько смогли вместить мои карманы. Потом мы все пошли в буфет и выпили по чашке чая, это была первая чашка со свежим молоком за много месяцев. Прошло несколько дней, прежде чем я привык к мысли, что можно купить сигареты в любое время, когда захочешь. Мне каждый раз казалось, что на дверях закрытой табачной лавки будет висеть надпись: «*No hay tabaco*[63]».

Макнейр и Коттман поехали в Париж. Мы с женой сошли с поезда на первой же станции, в Баньюльсе, чувствуя, что нуждаемся в отдыхе. Когда там узнали, что мы прямиком из Барселоны, к нам отнеслись с холодком. Несколько раз мне задавали один и тот же вопрос: «Вы приехали из Испании? И на чьей стороне сражались? На стороне правительства? Вот как?» – и сразу отчуждение. Этот маленький городок был целиком за Франко, что объяснялось частыми наездами сюда фашиствующих испанских беженцев. Официант в кафе, испанец, сочувствующий франкистам, подавал мне аперитив с мрачным взглядом. В Перпиньяне было иначе, там все были убежденными республиканцами, но отдельные партийные фракции конфликтовали между собой почти как в Барселоне. Там было одно кафе, где слово «ПОУМ» сразу дарило тебе друзей и улыбки официантов.

В Баньюльсе, насколько я помню, мы провели три дня. В этом уютном рыбацком поселке, вдали от бомб, пулеметного огня, очередей и пропаганды, мы надеялись обрести отдохновение и покой. Но ничего не получалось. То, что мы видели и испытали в Испании, не отпускало нас, а, напротив, возвращалось и накатывалось с еще большей силой. Мы непрестанно думали, говорили, мечтали об Испании. За прошедшие месяцы мы не раз обещали себе, что, покинув Испанию, уедем куда-нибудь на побережье Средиземного моря, поживем в тишине, может, порыбачим. Но теперь, когда мы оказались здесь, нас ждали скука и разочарование. Было холодно, с моря дул пронизывающий ветер, море было серым и неспокойным. Волны гнали в гавань грязную пену, пробки и рыбьи потроха, опутывающие камни. Это похоже на безумие, но мы оба хотели снова оказаться в Испании. Хотя это никому не принесло бы пользы, только могло навредить, но мы жалели, что не остались в Барселоне и не пошли в тюрьму вместе с другими. Боюсь, мне не удалось вполне рассказать о том, чем стали эти месяцы в Испании для меня. Да, я воспроизвел некоторые события, но не сумел передать те чувства, какие они во мне вызывали. Все смешалось с пейзажами, запахами и звуками. Разве передашь на бумаге окопный дух; заполоняющие все

рассветы в горах; резкий треск пуль; грохот и ослепительные вспышки бомб; чистый, холодный свет барселонского утра; топот ботинок во дворе казармы в декабре, когда народ еще верил в революцию; очереди за продуктами; красно-черные флаги; лица испанских ополченцев? Особенно лица ополченцев – людей, которых я знал на фронте и которые теперь разбросало бог знает куда, некоторые пали в бою, другие стали инвалидами или сидят в тюрьмах, но я от всей души надеюсь, что большинство из них живы и здоровы. Желаю им всем счастья! Надеюсь, они выиграют войну и прогонят из Испании всех иностранцев – немцев, русских и итальянцев. Эта война, в которой я сыграл столь незначительную роль, оставила мне по большей части невеселые воспоминания, и все же я не жалею, что участвовал в ней. Когда становишься свидетелем такой катастрофы – а чем бы ни закончилась испанская война, она все равно останется чудовищной катастрофой, не говоря уже об убийствах и физических страданиях людей, – в душе не обязательно воцаряются разочарование и цинизм. Удивительно, но военный опыт только усилил мою веру в порядочность людей. Надеюсь, что мой рассказ не слишком искажает события. Конечно, к такой теме нельзя отнестись беспристрастно. Трудно верить тому, что не видишь собственными глазами, и сознательно или бессознательно каждый пишет как сторонник своей партии. В случае если я не говорил этого раньше, скажу сейчас: учитывайте мою пристрастность, фактические ошибки и те искажения, которые приносит односторонний взгляд на вещи. Но применяйте тот же подход, читая любую другую книгу об этом периоде испанской войны.

Из-за чувства, что нужно что-то делать, хотя на самом деле сделать ничего было нельзя, мы покинули Баньюльс раньше, чем намеревались. С каждой милей к северу Франции растительность становилась все зеленее и нежнее. Горы и виноградники оставались позади, нас ждали луга и вязы. Когда я ехал в Испанию, Париж показался мне пришедшим в упадок, мрачным городом – совсем не тем, в каком я был восемь лет назад. Жизнь в то время была дешевле, и о Гитлере еще никто не слышал. Половина посещаемых мною кафе была закрыта из-за отсутствия клиентов, все были озабочены дороговизной жизни и угрозой войны. Теперь же после нищей Испании даже Париж казался веселым и процветающим. Всемирная выставка была в полном разгаре, но мы ее так и не посетили.

И вот Англия – южная Англия, пожалуй, самый ухоженный уголок мира. Когда, придя в себя после морской болезни, мирно путешествуешь здесь в поезде, развалившись на плюшевых

подушках, трудно вообразить, что в мире что-то происходит. Землетрясения в Японии, голод в Китае, революции в Мексике? К чему волноваться? Ведь завтра утром у твоих дверей будет стоять бутылка молока, в пятницу выйдет свежий номер «Нью стейтсмен». Промышленные города остались позади, изгиб земной поверхности заслонил грязные пятна дыма и нищеты. Из окна я видел Англию, какую знал с детства: дикие цветы по краям железнодорожного полотна; задумчиво пасущиеся на лугах большие, лоснящиеся лошади; журчащие речки со склонившимися над ними ивами; зеленая ширь вязов; высокий дельфиниум в садиках при коттеджах; и наконец, мирные просторы пригорода Лондона, затем – баржи на грязной реке, знакомые улицы, плакаты с датами крикетных матчей и королевской свадьбы, мужчины в котелках, голуби на Трафальгарской площади, красные автобусы, полицейские в синих мундирах. Англия спит глубоким, безмятежным сном, от которого, боюсь, мы никогда не очнемся, если только нас не выведет из него грохот бомб.

1938

Эссе

Убийство слона [64]

В Моульмейне, Нижняя Бирма, меня ненавидели многие – единственный раз в жизни я оказался настолько значительной персоной, чтобы такое могло случиться. Я служил полицейским офицером в маленьком городке, где ненависть к европейцам была очень сильна, хотя и отличалась какой-то бессмысленной мелочностью. Никто не отваживался на бунт, но если европейская женщина одна ходила по базару, кто-нибудь обычно оплевывал ее платье бетельной жвачкой. В качестве офицера полиции я представлял очевидный объект подобных чувств, и меня задирали всякий раз, когда это казалось безопасным. Когда ловкий бирманец сбивал меня с ног на футбольном поле, а судья (тоже бирманец) смотрел в другую сторону, толпа разражалась отвратительным хохотом. Такое случалось не раз. Насмешливые желтые лица молодых людей смотрели на меня отовсюду, ругательства летели мне вслед с безопасной дистанции, и в конце концов все это стало действовать мне на нервы. Хуже других были юные буддийские монахи. В городе их было несколько тысяч, и создавалось впечатление, что у них не существовало иного занятия, как стоять на перекрестках и насмехаться над европейцами.

Все это озадачивало и раздражало. Дело в том, что уже тогда я пришел к выводу, что империализм – это зло и чем скорее я распрощаюсь со своей службой и уеду, тем будет лучше. Теоретически – и, разумеется, втайне – я был всецело на стороне бирманцев и против их угнетателей, британцев. Что касается работы, которую я выполнял, то я ненавидел ее сильнее, чем это можно выразить словами. На такой службе грязное дело Империи видишь с близкого расстояния. Несчастные заключенные, набитые в зловонные клетки тюрем, серые, запуганные лица приговоренных на долгие сроки, покрытые шрамами ягодицы людей после наказаний бамбуковыми палками – все это переполняло меня невыносимым, гнетущим чувством вины. Однако мне нелегко было разобраться в происходящем. Я был молод, малообразован, и над своими проблемами мне приходилось размышлять в отчаянном одиночестве, на которое обречен каждый англичанин, живущий на Востоке. Я даже не отдавал себе отчета в том, что Британская империя близится к краху, и еще меньше понимал, что она гораздо лучше молодых империй, идущих ей на смену. Я знал лишь, что мне приходится жить, разрываясь между ненавистью к Империи, которой я служил, и возмущением теми злокозненными тварями, которые

старались сделать невозможной мою работу. Одна часть моего сознания полагала, что British Raj[65] – незыблемая тирания, тиски, сдавившие saecula saeculorum[66] волю порабощенных народов; другая же часть внушала, что нет большей радости на свете, чем всадить штык в пузо буддийского монаха. Подобные чувства – нормальные побочные продукты империализма; спросите любого чиновника англо-индийской службы, если вам удастся застать его врасплох.

Однажды случилось событие, которое неким окольным путем способствовало моему просвещению. Сам по себе то был незначительный инцидент, но он открыл мне с гораздо большей ясностью, чем все прочее, истинную природу империализма – истинные мотивы действия деспотических правительств. Ранним утром мне позвонил полицейский инспектор участка в другом конце города и сказал, что слон бесчинствует на базаре. Не буду ли я столь любезен, чтобы пойти туда и что-нибудь предпринять? Я не знал, что я могу сделать, но хотел посмотреть, что происходит, сел верхом на пони и двинулся в путь. Я захватил ружье, старый «винчестер» 44-го калибра, слишком мелкого для слона, но я полагал, что шум выстрела будет не лишним in terrorem[67]. Бирманцы останавливали меня по дороге и рассказывали о деяниях слона. Конечно, это был не дикий слон, а домашний, у которого настал «период охоты». Он был на цепи, всех домашних слонов сажают на цепь, когда приближается этот период, но ночью он сорвал цепь и убежал. Его махаут[68], единственный, кто мог с ним совладать в таком состоянии, погнался за ним, но взял не то направление и теперь находится в двенадцати часах пути отсюда; утром же слон внезапно снова появился в городе. У бирманского населения не было оружия, и оно оказалось совершенно беспомощным. Слон уже раздавил чью-то бамбуковую хижину, убил корову, набросился на лоток с фруктами и все сожрал; кроме того, он встретил муниципальную повозку с мусором и, когда возница пустился наутек, опрокинул ее и злобно растоптал.

Бирманец-инспектор и несколько констеблей-индейцев ждали меня в том месте, где видели слона. Это был бедный квартал, лабиринт жалких бамбуковых хижин, крытых пальмовыми листьями и полого взбегающих по склону горы. Помню, стояло облачное, душное утро в начале сезона дождей. Мы начали опрашивать людей, пытаясь выяснить, куда двинулся слон, и, как всегда в таких случаях, не получили четкой информации. На Востоке так бывает всегда; история издали кажется вполне ясной, но чем ближе вы подбираетесь к месту событий, тем более смутной она становится. Одни говорили, что он двинулся в одном

направлении, другие – в другом, а некоторые уверяли, что ни о каком слоне вообще не слышали. Я уже почти уверился, что вся эта история – сплошная выдумка, когда мы услышали крики неподалеку. Кто-то громко кричал: «Дети, марш отсюда! Уходите сию минуту!», – и старая женщина с хлыстом в руке выбежала из-за угла хижины, прогоняя стайку голопузых детишек. За ней высыпали еще женщины, они визжали и кричали; очевидно, было нечто такое, чего дети не должны видеть. Я обошел хижину и увидел на земле мертвого. Индиец с юга, темнокожий кули, почти нагой, умерший совсем недавно. Люди рассказали, что на него из-за угла хижины внезапно напал слон, схватил его своим хоботом, наступил ему на спину и вдавил в землю. Стоял сезон дождей, земля размякла, и его лицо прорыло канаву в фут глубиной и в несколько ярдов длиной. Он лежал на животе, разбросав руки, откинув набок голову. Лицо его покрывала глина, глаза были широко открыты, зубы оскалены в ужасной агонии. (Кстати, никогда не говорите мне, что мертвые выглядят умиротворенно. Большинство мертвых, которых я видел, имели ужасный вид.) Ступня громадного животного содрала кожу с его спины, ну точно шкурку с кролика. Как только я увидел погибшего, я послал ординарца в дом моего друга, жившего неподалеку, за ружьем для охоты на слонов. Я также избавился от пони, чтобы бедное животное не обезумело от страха и не сбросило меня на землю, почуяв слона.

Ординарец появился через несколько минут, неся ружье и пять патронов, а тем временем подошли бирманцы и сказали, что слон в рисовых полях неподалеку, в нескольких сотнях ярдов отсюда. Когда я зашагал в том направлении, наверное, все жители высыпали из домов и двинулись за мной следом. Они увидели ружье и возбужденно кричали, что я собираюсь убить слона. Они не проявляли особого интереса к слону, когда он крушил их дома, но теперь, когда его собирались убить, все стало иначе. Для них это служило развлечением, как это было бы и для английской толпы; кроме того, они рассчитывали на мясо. Все это выводило меня из себя. Мне не хотелось убивать слона – я послал за ружьем прежде всего для самозащиты, – да к тому же когда за вами следует толпа, это действует на нервы. Я спустился по склону горы и выглядел да и чувствовал себя идиотом: с ружьем за плечами и все прибывающей толпой, едва не наступающей мне на пятки. Внизу, когда хижины остались позади, была щебеночная дорога, а за ней топкие рисовые поля, еще не вспаханные, но вязкие от первых дождей и поросшие кое-где жесткой травой. Слон стоял ярдах в восьми от дороги, повернувшись к нам левым боком. Он не обратил на приближающуюся толпу ни малейшего

внимания. Он выдирал траву пучками, ударял ее о колено, чтобы отряхнуть землю, и отправлял себе в пасть.

Я остановился на дороге. Увидев слона, я совершенно четко осознал, что мне не надо его убивать. Застрелить рабочего слона – дело серьезное; это все равно что разрушить громадную, дорогостоящую машину, и, конечно, этого не следует делать без крайней необходимости. На расстоянии слон, мирно жевавший траву, выглядел не опаснее коровы. Я подумал тогда и думаю теперь, что его позыв к охоте уже проходил; он будет бродить, не причиняя никому вреда, пока не вернется махаут и не поймает его. Да и не хотел я его убивать. Я решил, что буду следить за ним некоторое время, дабы убедиться, что он снова не обезумел, а потом отправлюсь домой.

Но в этот момент я оглянулся и посмотрел на толпу, шедшую за мной. Толпа была громадная, как минимум две тысячи человек, и все прибывала. Она запрудила дорогу на большом расстоянии в обе стороны. Я смотрел на море желтых лиц над яркими одеждами – лиц счастливых, возбужденных потехой, уверенных, что слон будет убит. Они следили за мной, как за фокусником, который должен показать им фокус. Они меня не любили. Но с ружьем в руках я удостоился их пристального внимания. И вдруг я понял, что мне все-таки придется убить слона. От меня этого ждали, и я был обязан это сделать; я чувствовал, как две тысячи воль неудержимо подталкивают меня вперед. И в этот момент, когда я стоял с ружьем в руках, я впервые осознал всю тщету и бессмысленность правления белого человека на Востоке. Вот я, белый с ружьем, стою перед безоружной толпой туземцев – вроде бы главное действующее лицо драмы, но в действительности я был не более чем глупой марионеткой, которой управляет так и сяк воля желтых лиц за моей спиной. Я понял тогда, что когда белый человек становится тираном, он уничтожает свою свободу. Он превращается в пустую, податливую куклу, условную фигуру сахиба. Потому что условием его правления становится необходимость жить, производя впечатление на «туземцев», и в каждой кризисной ситуации он должен делать то, чего ждут от него «туземцы». Он носит маску, и лицо его обживает эту маску. Я должен был убить слона. Я обрек себя на это, послав за ружьем. Сахиб обязан действовать, как подобает сахибу, он должен выглядеть решительным, во всем отдавать себе отчет и действовать определенным образом. Пройдя весь этот путь с ружьем в руке, преследуемый двухтысячной толпой, я не мог смалодушничать, ничего не сделать – нет, такое немыслимо. Толпа поднимет меня на смех. А ведь вся моя жизнь, вся жизнь любого белого на

Востоке представляет собой нескончаемую борьбу с одной целью – не стать посмешищем.

Но я не хотел убивать слона. Я смотрел, как он бьет пучками травы по колену, и была в нем какая-то добродушная сосредоточенность, так свойственная слонам. Мне подумалось, что застрелить его – настоящее преступление. В том возрасте я не испытывал угрызений совести от убийства животных, но я никогда не убивал слона и не хотел этого делать. (Почему-то всегда труднее убивать крупное животное.) Кроме того, надо было считаться с владельцем слона. Слон стоил добрую сотню фунтов; мертвый, он будет стоить лишь столько, сколько стоят его бивни, – фунтов пять, не больше. Но действовать надо быстро. Я обратился к нескольким многоопытным с виду бирманцам, которые были на месте, когда мы туда явились, спросил, как ведет себя слон. Все они сказали одно и то же: он не обращает ни на кого внимания, если его оставляют в покое, но может стать опасным, если подойти близко.

Мне было совершенно ясно, что я должен делать. Я должен приблизиться к слону ярдов этак на двадцать пять и посмотреть, как он отреагирует. Если он проявит агрессивность, мне придется стрелять, если не обратит на меня внимания, то вполне можно дожидаться возвращения махаута. И все же я знал, что этому не бывать. Я был неважный стрелок, а земля под ногами представляла вязкую жижу, в которой будешь увязать при каждом шаге. Если слон бросится на меня и я промахнусь, у меня останется столько же шансов, как у жабы под паровым катком. Но даже тогда я думал не столько о собственной шкуре, сколько о следящих за мной желтых лицах. Потому что в тот момент, чувствуя на себе глаза толпы, я не испытывал страха в обычном смысле этого слова, как если бы был один. Белый человек не должен испытывать страха на глазах «туземцев», поэтому он в общем и целом бесстрашен. Единственная мысль крутилась в моем сознании: если что-нибудь выйдет не так, эти две тысячи бирманцев увидят меня удирающим, сбитым с ног, растоптанным, как тот оскаленный труп индийца на горе, с которой мы спустились. И если такое случится, то, не исключено, кое-кто из них станет смеяться. Этого не должно произойти. Есть лишь одна альтернатива. Я вложил патрон в магазин и лег на дороге, чтобы получше прицелиться.

Толпа замерла, и глубокий, низкий, счастливый вздох людей, дождавшихся наконец минуты, когда поднимается занавес, вырвался из бесчисленных глоток. Они дождались-таки своего развлечения. У меня в руках было отличное немецкое ружье с оптическим прицелом. Тогда я не знал, что, стреляя в слона, надо

целиться в воображаемую линию, идущую от одной ушной впадины к другой. Я должен был поэтому – слон ведь стоял боком – целиться ему прямо в ухо; фактически я целился на несколько дюймов в сторону, полагая, что мозг находится чуть впереди.

Когда я спустил курок, я не услышал выстрела и не ощутил отдачи – так бывает всегда, когда попадаешь в цель, – но услышал дьявольский радостный рев, исторгнутый толпой. И в то же мгновение, чересчур короткое, если вдуматься, даже для того, чтобы пуля достигла цели, со слоном произошла страшная, загадочная метаморфоза. Он не пошевелился и не упал, но каждая линия его тела вдруг стала не такой, какой была прежде. Он вдруг начал выглядеть каким-то прибитым, сморщившимся, невероятно постаревшим, словно чудовищный контакт с пулей парализовал его, хотя и не сбил наземь. Наконец – казалось, что прошло долгое время, а минуло секунд пять, не больше, – он обмяк и рухнул на колени. Из его рта текла слюна. Ужасающая дряхлость овладела всем его телом. Казалось, что ему много тысяч лет. Я выстрелил снова, в то же место. Он не упал и от второго выстрела, с невыразимой медлительностью встал на ноги и с трудом распрямился; ноги его подкашивались, голова падала. Я выстрелил в третий раз. Этот выстрел его доконал. Было видно, как агония сотрясла его тело и выбила последние силы из ног. Но и падая, он, казалось, попытался на мгновение подняться, потому что, когда подкосились задние ноги, он как будто стал возвышаться, точно скала, а его хобот взметнулся вверх, как дерево. Он издал трубный глас, в первый и единственный раз. И затем рухнул, животом в мою сторону, с грохотом, который, казалось, поколебал землю даже там, где лежал я.

Я встал. Бирманцы уже бежали мимо меня по вязкому месиву. Было очевидно, что слон больше не поднимется, хотя он не был мертв. Он дышал очень ритмично, затяжными, хлюпающими вздохами, и его громадный бок болезненно вздымался и опадал. Пасть была широко открыта – мне была видна бледно-розовая впадина его глотки. Я ждал, когда он умрет, но дыхание его не ослабевало. Тогда я выстрелил двумя остающимися патронами в то место, где, по моим расчетам, находилось его сердце. Густая кровь, похожая на алый бархат, хлынула из него, и снова он не умер. Тело его даже не вздрогнуло от выстрелов, и мучительное дыхание не прерывалось. Он умирал в медленной и мучительной агонии и пребывал где-то в мире, настолько от меня отдаленном, что никакая пуля не могла уже причинить ему вреда. Я понимал, что мне следует положить этому конец. Ужасно было видеть громадное лежащее животное, бессильное шевельнуться, но и не имеющее сил умереть, и не уметь его прикончить. Я послал за

моим малым ружьем и стрелял в его сердце и в глотку без счета. Все казалось без толку. Мучительные вздохи следовали друг за другом с постоянством хода часов.

Наконец я не выдержал и ушел прочь. Потом мне рассказывали, что он умирал еще полчаса. Бирманцы принесли ножи и корзины, пока я был на месте; мне рассказали, что они разделали тушу до костей к полудню.

Потом, конечно, были нескончаемые разговоры об убийстве слона. Владелец был вне себя от гнева, но то был всего лишь индиец и он ничего не мог поделать. Кроме того, я с точки зрения закона поступил правильно, так как бешеных слонов следует убивать, как бешеных собак, тем более если владельцы не могут за ними уследить. Среди европейцев мнения разделились. Пожилые считали, что я прав, молодые говорили, что позорно убивать слона, растоптавшего какого-то кули, потому что слон дороже любого дрянного кули. В конце концов я был очень рад, что погиб кули: с юридической точки зрения это давало мне достаточный повод для убийства слона. Я часто спрашивал себя, догадался ли кто-нибудь, что я сделал это исключительно ради того, чтобы не выглядеть дураком.

1936

Воспоминания о работе в книжном магазине

Когда я работал в букинистическом магазине – образ которого, если вы никогда там не трудились, представляется в виде некоего рая, где достопочтенные пожилые джентльмены листают фолианты в переплетах из телячьей кожи, – меня всегда больше всего поражало то, насколько мало среди покупателей встречалось настоящих книголюбов. Наш магазин располагал интересным книжным фондом, однако я сомневаюсь, что хотя бы десять процентов посетителей могли отличить хорошую книгу от плохой. Снобов – собирателей первых изданий было гораздо больше, нежели истинных любителей литературы, а еще больше приходило студентов из стран Востока, торговавшихся из-за дешевых учебников, но всех численностью затмевали дамы, искавшие подарки племянникам ко дню рождения и очень смутно представлявшие себе, что именно они ищут.

Многие из наших посетителей принадлежали к числу людей, всегда всем докучающих, но в книжном магазине им особенно было где разгуляться. Например, милая пожилая дама, которой «нужна книга для инвалида» (кстати, очень распространенное требование), или другая милая пожилая дама, читавшая «в 1897 году такую прелестную книгу» и просившая найти теперь для нее такой экземпляр. Правда, она не помнит ни названия, ни фамилии автора, ни о чем книга, зато помнит, что она была в красном переплете.

Но помимо этой, существуют еще две хорошо известные разновидности «чумы», являющиеся бедствием любого букинистического магазина. Одна – это дряхлые личности, пропахшие заплесневелыми хлебными корками, которые приходят каждый день, а то и по нескольку раз на день, и пытаются всучить вам совершенно никчемные книги. Другая – это клиент, заказывающий огромное количество изданий, выкупать которые он не имеет ни малейшего намерения. В нашем магазине ничего не продавали в кредит, но могли отложить книги или при необходимости заказать – для тех, кто собирался зайти за ними позднее. Хорошо если половина людей, заказывавших у нас книги, действительно являлась за ними. Поначалу это меня озадачивало. Зачем им это нужно? Они приходят, заказывают какую-нибудь редкую и дорогую книгу, заставляют нас много раз пообещать, что мы подержим ее для них, а потом исчезают и больше никогда не показываются. Многие из них, конечно, были

явными параноиками. Они говорили о себе в выспренних выражениях и рассказывали самые, казалось бы, правдоподобные истории о том, почему случайно вышли из дому без денег, – уверен, многие из них сами верили в свои истории. В таком городе, как Лондон, по улицам всегда разгуливает куча официально не зарегистрированных сумасшедших, которых так и тянет в книжные магазины, потому что книжный магазин – одно из немногих мест, где можно долго слоняться, не истратив ни гроша. В конце концов научаешься распознавать таких людей почти с первого взгляда. При всей высокопарности их речей есть в них что-то убогое и бессмысленное, они словно поедены молью. Очень часто, когда было очевидно, что человек чокнутый, мы откладывали книги, которые он просил, а как только он выходил за порог, ставили их обратно на полки. Ни один из них, по моим наблюдениям, никогда не пытался унести книгу, не заплатив; этим людям оказывалось достаточно того, что они ее заказали, – полагаю, это позволяло им обольщаться иллюзией, будто они действительно потратили деньги.

Как многие букинистические магазины, мы торговали и побочными товарами. Например, подержанными пишущими машинками и марками – использованными, конечно. Филателисты – люди странные, эдакое немое рыбье племя разных возрастов, но одного пола – мужского; женщины, видимо, не способны находить особое удовольствие в том, чтобы вклеивать в альбомы кусочки разноцветной бумаги. Продавали мы также шестипенсовые гороскопы, составленные личностями, утверждавшими, будто они предсказали, например, землетрясение в Японии. Гороскопы хранились в запечатанных конвертах, и я сам ни одного из них ни разу не вскрыл, но люди, покупавшие их, зачастую возвращались и рассказывали, каким правдивым оказался их гороскоп. (А как может не показаться правдивым гороскоп, если он сообщает вам, что вы чрезвычайно привлекательны для особ противоположного пола и что ваш самый большой недостаток – чрезмерная щедрость?)

Хорошо шли у нас детские книги, главным образом из нераспроданных остатков старых тиражей. Современные книжки для детей производят весьма устрашающее впечатление, особенно когда видишь их в массе. Лично я скорее дал бы ребенку Петрония Арбитра[69], чем «Питера Пэна», но даже Барри[70] представляется мужественным и здравомыслящим писателем по сравнению с его подражателями. Декада накануне Рождества была сущим светопреставлением: мы лихорадочно торговали календарями и рождественскими открытками – занятие ужасно утомительное, но в период предпраздничного ажиотажа дает

хорошую прибыль. Я, бывало, с интересом наблюдал, с каким грубым цинизмом эксплуатируются христианские чувства. Коммивояжеры из фирм, производящих рождественские открытки, начинали обхаживать нас со своими каталогами уже с июня. У меня в голове навсегда застряла фраза из одной их накладной, звучала она так: «Две дюжины Иисусов-младенцев с кроликами».

Но главным нашим побочным занятием был книжный абонемент: обычная библиотека, состоявшая из пяти-шести сотен книг, исключительно беллетристических, которые мы выдавали для чтения на дом за «два пенса без депозита». Как же воришки любили эти библиотеки! Самое легкое преступление в мире: взять книгу в одной библиотеке за два пенса, удалить штемпель и продать ее другому книжному магазину за шиллинг. Тем не менее в целом книготорговцы считали, что им выгоднее лишиться нескольких книг (мы теряли приблизительно дюжину за месяц), чем отпугивать клиентов требованием залога.

Наш магазин находился прямо на границе Хемпстеда и Кэмден-тауна, и к нам заходили самые разные посетители – от баронетов до автобусных кондукторов. Наверное, подписчики нашей библиотеки представляли собой показательный срез лондонской читающей публики. Поэтому стоит отметить, что из всех наших авторов лучше всех шел… думаете, Пристли? Хемингуэй? Уолпол? Вудхаус? Нет! Этель М. Делл[71]. На втором месте прочно стоял Уорвик Дипинг[72], на третьем я бы назвал Джеффри Фарнола[73]. Романы Делл читали, разумеется, только женщины, но женщины самых разных типов и возрастов, а не только, как можно было бы предположить, томные старые девы и тучные жены владельцев табачных лавок. То, что мужчины якобы вообще не читают романов, неправда, но правда, что существуют целые разделы беллетристики, которых они чураются. Говоря в общих чертах: то, что можно назвать усредненным романом – обычное чтиво о добре и зле в духе разбавленного Голсуорси, которое является каноном английского романа, – похоже, существует только для женщин. Мужчины читают либо романы, которые можно назвать солидными, либо детективы. Но уж детективы они поглощают в невероятных количествах. Один из наших подписчиков, по моим наблюдениям, прочитывал четыре-пять детективов в неделю в течение более чем года, и это не считая тех, которые он брал в другой библиотеке. Что меня удивляло больше всего – он никогда не читал одну книгу дважды. Весь этот чудовищный поток мусора (как я подсчитал, если бы впритык разложить страницы, прочитанные им за год, они покрыли бы собой почти три четверти акра земли) навсегда

оседал в его памяти. Ему были безразличны названия и фамилии авторов, но, лишь заглянув в текст, он мог безошибочно определить, что уже читал эту книгу.

По формулярам такой библиотеки можно проследить истинные, а не притворные вкусы читателей. Поражает то, насколько не в чести теперь оказались классические английские романисты. Совершенно бесполезно держать в обычной библиотеке книги Диккенса, Теккерея, Джейн Остен, Троллопа и подобных, их никто не востребует. При виде романа XIX века читатель скажет: «Но это же старье!» – и тут же переведет взгляд на что-нибудь другое. При этом продать Диккенса бывает совсем нетрудно, так же как и Шекспира. Диккенс – из тех авторов, которых люди всегда собираются прочесть, его, как и Библию, хорошо знают по пересказам. Понаслышке им известно, что Билл Сайкс – грабитель, а у мистера Микобера лысая голова, и точно так же понаслышке им известно, что Моисея нашли в корзинке в зарослях тростника и что Бога он видел только «сзади».

Другое очень примечательное явление – снижение популярности американской литературы. И еще одно – издатели каждые два-три года впадают в панику по поводу невостребованности рассказов у читателя. Человек, который просит библиотекаря посоветовать ему книгу для чтения, почти всегда прибавляет «только не рассказы», или, как выражался один наш читатель-немец: «Я не желаю маленькие истории». Если спросить их – почему? – они ответят, что слишком утомительно каждый раз привыкать к новому составу персонажей, им нравится с первой главы погрузиться в роман и больше уже ни о чем не думать. Однако мне кажется, что винить здесь следует скорее писателей, чем читателей. По бóльшей части современные рассказы, английские и американские, абсолютно лишены жизненности и пусты, и это им свойственно гораздо больше, чем романам. Рассказы, в которых содержится какая-то история, остаются достаточно популярными, взять, например, Д. Г. Лоуренса, чьи рассказы читают так же охотно, как и романы.

Хотел бы я стать книготорговцем *de métier*[74]? В целом – несмотря на доброту ко мне моего работодателя и счастливые дни, проведенные в магазине, – нет.

Располагая хорошим запасом товара и достаточным капиталом, любой образованный человек в состоянии сделать книжную торговлю небольшим, но надежным источником средств к существованию. Если не заниматься редкими изданиями, этой профессией совсем не трудно овладеть. У вас будет огромное преимущество, если вы хоть что-то знаете о содержании книг. (Большинство книготорговцев не знает ничего, это нетрудно

увидеть, просмотрев профессиональные газеты, в которых они помещают свои объявления. Если вы не обнаружите там «Закат и падение» Босуэлла, будьте уверены, что найдете «Мельницу на Флоссе» Т. С. Элиота.[75]) Кроме всего прочего, это гуманное занятие, которое невозможно вульгаризировать сверх определенной меры. Торговые объединения-гиганты никогда не смогут выдавить мелких независимых книготорговцев, как они выдавили бакалейщиков и молочников. Но рабочий день в этой сфере очень долог – я-то работал не на полную ставку, а мой работодатель вкалывал по семьдесят часов в неделю, не говоря о постоянных сверхурочных поездках за книгами, – и это отнюдь не полезно для здоровья. Как правило, зимой в книжных магазинах чудовищно холодно, потому что, будь там теплее, окна запотевали бы, а витрина для книготорговца – первое условие прибыли. К тому же книги собирают больше, притом самой ядовитой, пыли, чем какие бы то ни было предметы, придуманные человеком, и верхний обрез книги – это место, где предпочитает умереть каждая муха.

Но подлинная причина, по которой я не хотел бы всю жизнь работать в книжной торговле, состоит в том, что во время работы там я разлюбил книги. Продавец книжного магазина вынужден лгать о содержании книг, и это вызывает у него неприязнь к ним; еще хуже то, что он постоянно должен стирать с них пыль и переставлять с места на место. Было время, когда я действительно любил книги – любил их вид, запах, любил прикасаться к переплетам, особенно если изданию больше полувека. Ничто не доставляло мне большего удовольствия, чем за шиллинг купить целую кучу книг на каком-нибудь сельском аукционе. У потрепанных книг, неожиданно обнаруженных среди всякого хлама, – сборников второстепенных поэтов XVIII века, устаревших географических справочников, разрозненных томов давно забытых романов, комплектов женских журналов шестидесятых, – особый аромат. Для случайного чтения – лежа в ванне, например, или поздно ночью, когда не можешь заснуть от усталости, или в те оставшиеся до ланча пятнадцать минут, когда нечем себя занять, – нет ничего лучше, чем взять в руки старый номер «Газеты для девочек». Но, приступив к работе в книжном магазине, я перестал покупать книги. Имея постоянно перед глазами массу книг – пять-шесть тысяч томов одновременно, – начинаешь уставать от них и даже испытывать легкое отвращение. Теперь я время от времени покупаю какую-нибудь книгу, но только если это книга, которую я хочу прочесть и не могу одолжить у знакомых на время. И я никогда не покупаю старья. Сладковатый запах ветхой бумаги больше не волнует

меня. Слишком живо напоминает он о чокнутых покупателях и мертвых мухах.

«Фортнайтли», ноябрь 1936

Кое-что из испанских секретов[76]

Испанская война, вероятно, породила больше лжи, чем любое другое событие со времен мировой войны 1914–1918 годов, но я сомневаюсь, что при всех этих истреблениях монахинь, насилуемых или распинаемых на глазах у репортеров «Дейли мейл», наибольший вред принесли фашистские газеты. Понять истинный характер борьбы помешали британской публике прежде всего левые газеты, «Ньюс кроникл» и «Дейли уоркер», прибегавшие к более тонким методам искажения.

Они старательно затемняли тот факт, что испанское правительство (включая полуавтономное каталонское) гораздо больше боится революции, чем фашистов. Теперь почти ясно, что война закончится каким-то компромиссом, и есть основания сомневаться в том, что правительство, сдавшее Бильбао, не шевельнув пальцем, хочет одержать победу, – и уж совсем нет никаких сомнений в усердии, с каким оно громит своих революционеров. Режим террора – подавление политических партий, удушающая цензура прессы, беспрестанное шпионство и массовые аресты без суда – набирает силу. В июне, когда я покинул Барселону, тюрьмы были переполнены – обычные тюрьмы давно уже переполнились, и заключенных рассовывали по пустым магазинам и любым помещениям, которые можно было превратить во временную тюрьму. Важно отметить, что заключенные – не фашисты, они там не потому, что держатся слишком правых взглядов, а наоборот – слишком левых. И сажают их те самые страшные революционеры, при имени которых Гарвин[77] дрожит мелкой дрожью, – коммунисты.

Между тем война с Франко продолжается, но кроме бедняг в окопах никто в официальной Испании не считает ее настоящей войной. Настоящая борьба идет между революцией и контрреволюцией, между рабочими, тщетно пытающимися удержать то немногое, чего они добились в 1936 году, и блоком либералов и коммунистов, успешно у них это отбирающим. К сожалению, очень немногие в Англии поняли, что коммунизм теперь – контрреволюционная сила, что коммунисты повсюду вступили в союз с буржуазными реформаторами и используют всю свою мощную машинерию, чтобы раздавить или дискредитировать всякую партию, настроенную сколько-нибудь революционно. Отсюда нелепый спектакль: коммунистов поносят как злобных «красных» те самые интеллектуалы, которые, по существу, с ними согласны. Уиндем Льюис[78], например, должен был бы любить коммунистов – пока что. В Испании

коммунистически-либеральный альянс одержал почти полную победу. От того, чего добились для себя в 1936 году рабочие люди, почти ничего не осталось: несколько коллективных аграрных хозяйств и какое-то количество земель, захваченных в прошлом году крестьянами. Вероятно, пожертвуют и крестьянами, чуть погодя, когда не будет нужды их умасливать. Чтобы понять, как возникла нынешняя ситуация, надо вспомнить начало войны.

Франко попытался взять власть, не так, как Гитлер и Муссолини, – был военный мятеж, сравнимый с иностранным вторжением, а потому не имевший массовой поддержки, хотя с тех пор Франко пытается ее получить.

Главными его сторонниками, кроме некоторых представителей крупного капитала, были земельная аристократия и громадная паразитическая церковь. Очевидно, что такой мятеж должен восстановить против себя разнообразные силы, во всем остальном между собой не согласные. Крестьянин и рабочий ненавидят феодалов и клерикалов – так же и «либеральный» буржуа, который нисколько не возражал бы против более современной формы фашизма, по крайней мере, пока он не называется фашизмом. «Либеральный» буржуа действительно либерален – до тех пор пока не затронуты его личные интересы. Он за прогресс, заключенный во фразе «1a carrière ouverte aux talents»[79]. Ибо у него явно нет шансов развить свое дело в феодальном обществе, где рабочие и крестьяне слишком бедны, чтобы покупать товары, где промышленность задавлена громадными налогами, которые идут на наряды епископов, и где всякое доходное место автоматически достается другу любовника внебрачного герцогского сына. Поэтому перед угрозой такого отъявленного реакционера, как Франко, рабочий и буржуа, по природе смертельные враги, какое-то время сражаются бок о бок. Этот неустойчивый союз известен под именем Народного фронта. Жизнеспособности у него и права на существование не больше, чем у двухголовой свиньи или еще какого-нибудь монстра из коллекции Барнума и Бейли.

В критический момент противоречия внутри Народного фронта неизбежно дадут себя знать. Хотя рабочий и буржуа вместе воюют против Франко, воюют они не за одно и то же: буржуа воюет за буржуазную демократию, то есть за капитализм, рабочий же, насколько он понимает суть дела, – за социализм. И в начале революции испанские рабочие отлично понимали эту суть. В областях, где фашисты потерпели поражение, рабочие не довольствовались изгнанием мятежных войск: они захватывали землю и фабрики, устанавливали подобие рабочей власти – в

виде местных комитетов, рабочих добровольческих отрядов, полицейских сил и т. д. Однако они допустили ошибку (может быть, потому, что большинство активных революционеров составляли анархисты, не доверявшие никаким парламентам), оставив номинальную власть республиканскому правительству. Несмотря на разнообразные перемены в составе, все сменявшие друг друга правительства, в общем, сохраняли буржуазно-реформистский характер. Вначале это казалось неважным, потому что правительство, особенно в Каталонии, было почти бессильно, и буржуазии пришлось затаиться или даже (это происходило еще и в декабре, когда я прибыл в Испанию) прикидываться рабочими. Позже, когда власть выскользнула из рук анархистов и перешла к коммунистам и правым социалистам, правительство воспряло, буржуазия перестала скрываться, и восстановилось деление общества на богатых и бедных, почти в прежнем виде. С этих пор все шаги, за исключением тех немногих, которые диктовала военная необходимость, направлены были к уничтожению всего, завоеванного в первые месяцы революции. Приведу лишь один из многих примеров: роспуск рабочих ополчений, которые были организованы на подлинно демократических принципах – офицеры и рядовые получали одинаковое жалованье и общались друг с другом как равные – и замена ополчений Народной армией, организованной, насколько это было возможно, как обычная буржуазная армия – с привилегированной офицерской кастой, колоссальной разницей в жалованье и т. д., и т. п. Излишне говорить, что выдавалось это за военную необходимость, и боеспособность армии, наверное, увеличилась, по крайней мере, на короткое время. Но подлинной целью реорганизации был удар по эгалитаризму. Подобная политика проводилась во всех областях жизни, и в результате всего через год после начала войны и революции фактически сложилось обычное буржуазное государство, с дополнением в виде террора, призванного сохранить статус-кво.

Возможно, этот процесс не зашел бы так далеко, если бы не иностранное вмешательство. Но военная слабость правительства сделала его неизбежным. Столкнувшись с иностранными наемниками Франко, правительство вынуждено было обратиться за помощью к России, и, хотя количество поставленного ею оружия сильно преувеличивалось (за первые три месяца в Испании я увидел всего одно русское изделие – один-единственный пулемет), сам факт этих поставок привел к власти коммунистов. Начать с того, что русские самолеты и пушки и высокие боевые качества интернациональных бригад (не обязательно коммунистических, но контролируемых

коммунистами) сильно подняли престиж коммунистов. И, что еще важнее, поскольку Россия и Мексика были единственными странами, открыто поставлявшими оружие, русские смогли не только получать деньги за свое оружие, но и навязывать свои условия. В самом грубом виде условия выглядели так: «Подавите революцию или больше не получите оружия». Поведение русских принято объяснять тем, что если в действиях России усмотрят подстрекательство к революции, франко-советский пакт (и желанный союз с Великобританией) окажется под угрозой; кроме того, возможно, что зрелище подлинной революции в Испании отозвалось бы нежелательным образом в самой России. Коммунисты, конечно, отрицают, что русское правительство оказывало прямое давление. Но это, даже если оно и так, дела не меняет: коммунистические партии всех стран, можно считать, следуют политике русских, и совершенно очевидно, что испанская коммунистическая партия, совокупно с правыми социалистами, которых она контролирует, и коммунистическая пресса всего мира использовали всё свое громадное и непрерывно возрастающее влияние в интересах контрреволюции.

В первой половине этой статьи я утверждал, что настоящая борьба в республиканской Испании идет между революцией и контрреволюцией; что правительство, хоть и желает избежать поражения в войне с Франко, еще больше озабочено тем, чтобы ликвидировать завоевания революции, сопутствовавшей началу войны.

Всякий коммунист отвергнет это утверждение как ошибку или преднамеренную ложь. Он скажет вам, что разговоры о желании испанского правительства раздавить революцию – нелепость, поскольку никакой революции не было, и что наша задача сегодня – победить фашизм и защитить демократию.

В связи с этим очень важно понять, как именно работает коммунистическая антиреволюционная пропаганда. Ошибочно думать, что это не имеет значения для Англии, где коммунистическая партия мала и сравнительно слаба. Значение этого мы поймем очень быстро, если Англия вступит в союз с СССР, а может быть, и раньше, потому что влияние коммунистической партии будет усиливаться – уже заметно усиливается – по мере того как всё больше и больше капиталистов станут осознавать, что коммунизм наших дней играет им на руку.

Вообще говоря, коммунистическая пропаганда нацелена на то, чтобы запугать людей (вполне реальными) ужасами фашизма. Подразумевается – хотя и не говорится открыто, – что фашизм не

имеет ничего общего с капитализмом. Фашизм – просто бессмысленная злоба, помрачение ума, «массовый садизм», как если бы выпустили на волю целую больницу кровожадных маньяков. Изобразите фашизм в таком виде, и вы мобилизуете против него общественное мнение, по крайней мере, на время, не возбудив при этом революционных настроений. Вы противопоставите фашизму «буржуазную демократию», то есть капитализм. Но при этом вам надо избавиться от надоедливой личности, которая твердит, что фашизм и «буржуазная демократия» – два сапога пара. Для начала вы объявляете его пустым фантазером. Вы говорите ему, что он запутывает вопрос, что он вносит раскол в антифашистские силы, что сейчас не время для революционной фразеологии, сейчас мы должны драться с фашизмом, не слишком вникая в то, за что мы деремся. Потом, если он отказывается замолчать, вы меняете тон и объявляете его изменником. Точнее, вы объявляете его троцкистом.

А что такое троцкист? Это страшное слово – сейчас в Испании тебя могут бросить в тюрьму и держать там сколько угодно без суда на основании одного лишь слуха, что ты троцкист, – и оно только еще начинает гулять по Англии. Мы его еще наслушаемся. Словом «троцкист» (или «троцко-фашист») обозначают обычно переодетого фашиста, который выдает себя за ультрареволюционера, чтобы расколоть левые силы. Особая действенность этого слова объясняется тем, что смысл у него трояк ий. Оно может означать того, кто, подобно Троцкому, желает мировой революции; или же члена организации, возглавляемой Троцким (единственное правильное употребление слова); или же вышеупомянутого переодетого фашиста. Эти три значения можно соединять произвольным образом. Первое значение может включать в себя или не включать значение № 2, а значение № 2 почти неизменно несет в себе значение № 3. Таким образом: «Слышали, что X одобрительно говорил о мировой революции; следовательно, он троцкист; следовательно, он фашист». В Испании, а до некоторой степени и в Англии, всякий, кто открыто говорит о революционном социализме (который еще несколько лет назад исповедовала коммунистическая партия), подозревается в том, что он троцкист на жалованье у Франко или Гитлера.

Обвинение весьма тонкое, потому что в каждом конкретном случае – если достоверно не известно обратное, – оно может оказаться верным. Фашистский шпион, вероятно, *станет* выдавать себя за революционера. В Испании каждый, чьи убеждения левее коммунистических, рано или поздно

разоблачается как троцкист или, по крайней мере, изменник. В начале войны ПОУМ, оппозиционная коммунистическая партия, приблизительно соответствующая английской независимой рабочей партии, была признанной партией и имела своего министра в каталонском правительстве; позже ее вывели из правительства, затем объявили троцкистской; затем запретили и всех ее членов, до кого могла добраться полиция, бросили в тюрьму.

До последних месяцев говорилось, что анархо-синдикалисты «лояльно работают» вместе с коммунистами. Затем анархо-синдикалистов вытеснили из правительства; затем оказалось, что они не работали лояльно; теперь они превращаются в изменников. Потом придет очередь левого крыла социалистов. Кабальеро, левый социалист и бывший премьер, до мая 1937 года идол коммунистической прессы, пребывает в небытии – троцкист и «враг народа». Так игра и идет. Логический исход ее – режим, при котором все оппозиционные партии и газеты запрещены и все сколько-нибудь заметные инакомыслящие – в тюрьме. Такой режим, конечно, будет фашистским. Это будет не тот фашизм, какой пришел бы вместе с Франко, он будет лучше франкистского настолько, что за него стоит сражаться, – но это будет фашизм. Хотя, устроенный коммунистами или либералами, он будет зваться как-то по-другому.

А намерено ли всерьез правительство выиграть войну? Проиграть оно не желает, это точно. С другой стороны, полная победа, с бегством Франко и изгнанием итальянцев и немцев, чревата серьезными проблемами – некоторые из них настолько очевидны, что о них не стоит и говорить. Настоящих доказательств у меня нет, и судить можно только по фактам, но подозреваю, что правительство рассчитывает на компромисс, и в результате его военная ситуация сохранится. Все прорицания ошибочны, ошибочным будет и это, но рискну предположить, что независимо от того, кончится ли война скоро или будет длиться годами, завершится она разделением Испании – либо фактическими границами, либо на экономические зоны. Конечно, объявить такой компромисс своей победой сможет любая из сторон или обе.

Всё, что я здесь написал, в Испании самоочевидно, а может быть, и во Франции. В Англии же, несмотря на острый интерес к испанской войне, очень немногие слышали о напряженной борьбе, происходящей на правительственной территории. И это, разумеется, не случайно. Имеет место вполне продуманный заговор (я мог бы привести в подтверждение конкретные примеры) с целью скрыть от публики испанскую ситуацию.

Неглупые люди втянулись в кампанию лжи, оправдываясь тем, что если скажешь об Испании правду, она будет использована фашистской пропагандой.

Легко понять, к чему ведет подобная трусость. Если бы британской публике дали правдивый отчет об испанской войне, она могла бы понять, что представляет собой фашизм и как с ним можно бороться. Но пока что прочна как никогда версия «Ньюс кроникл»: фашизм как маниакальная жажда убийства, обуревающая тупых вояк, которые жужжат в экономическом вакууме. И мы на шаг ближе к большой войне «против фашизма» (с 1914 года – «против милитаризма»), которая позволит фашизму британской разновидности сесть нам на шею в первую же неделю.

29 июля и 2 сентября 1937

Не считая черных [80]

Лет десять назад всякого, кто предсказал бы нынешний политический расклад, сочли бы сумасшедшим. И, однако, нынешнюю ситуацию – не в деталях, конечно, а в общих чертах – следовало бы предвидеть еще в золотой век до Гитлера. Как только безопасность Британии подверглась серьезной угрозе, нечто подобное должно было произойти.

В благополучной стране, и прежде всего в стране империалистической, левая политика – всегда отчасти надувательство. Не может быть реальной перестройки, которая не привела бы, по крайней мере, на время, к падению уровня жизни в Англии, – иначе говоря, большинство левых политиков и публицистов – это люди, которые зарабатывают на жизнь, требуя того, чего на самом деле не хотят. Пока все идет хорошо, они – пламенные революционеры, но при всяком серьезном осложнении немедленно выясняется, что это – притворство. Малейшая угроза Суэцкому каналу, и «антифашизм» и «защита британских интересов» оказываются синонимами.

Было бы очень легкомысленно и несправедливо утверждать, что в так называемом антифашизме нет ничего, кроме беспокойства за британские дивиденды. Однако же политические непристойности последних двух лет, какая-то чудовищная арлекинада, когда все прыгают по сцене с картонными носами – квакеры требуют большей армии, коммунисты размахивают Юнион Джеком, Уинстон Черчилль изображает демократа, – были бы невозможны, если бы не виноватое чувство, что все мы в одной лодке. Во многом против своей воли британский правящий класс был вынужден занять антигитлеровскую позицию. Не исключено, что он еще найдет возможность ее покинуть, но сейчас он вооружается в ожидании войны и почти наверняка будет драться, когда дело дойдет до того, что ему придется отдать часть собственного имущества, а не имущества чужих народов, как до сих пор. А оппозиция между тем, вместо того чтобы пытаться остановить сползание к войне, рвется вперед, готовит почву, стараясь предотвратить возможную критику. Пока, насколько можно видеть, английский народ все еще крайне враждебен идее войны, но в том, что он постепенно с ней примиряется, повинны не милитаристы, а антимилитаристы пятилетней давности. Лейбористская партия лицемерно ворчит по поводу воинской повинности, и в то же время ее пропаганда делает всякую реальную борьбу против призыва невозможной. С заводов потоком идут пулеметы Брена, из типографий потоком книги

типа «Танки в будущей войне», «Газ в будущей войне» и т. п., а воители из «Нью стейтсмен» прячут это за дымовой завесой фраз вроде «Силы мира», «Фронт мира», «Демократический фронт» и вообще изображают человечество в виде комбинации из овец и козлищ, четко разделенных национальными границами.

В связи с этим стоит присмотреться к наделавшей шума книге Кларенса Стрейта «Союз сегодня». Как и сторонники «мирного блока», мистер Стрейт желает, чтобы демократии объединились против диктатур, но книга его выделяется из ряда подобных по двум причинам. Во-первых, он идет дальше многих других и предлагает план, пусть озадачивающий, но конструктивный. Во-вторых, несмотря на наивность в духе американской наивности 20-х годов, у него мышление порядочного человека. Ему действительно ненавистна мысль о войне, и он не опускается до лицемерных утверждений, будто любая страна, посулами или угрозами втянутая в британскую орбиту, мгновенно становится демократией. Поэтому его книга может послужить своего рода эталоном. Тут теория овец и козлищ представлена в наилучшем виде. Если вы не можете принять ее в такой форме, то подавно не примете в той форме, в какой ее проповедует Книжный клуб левых.

Вкратце, мистер Стрейт предлагает, чтобы демократические страны, начиная с пятнадцати конкретно поименованных, добровольно объединились в союз – не лигу, а именно союз, наподобие Соединенных Штатов, с общим правительством, общими деньгами и полной свободой внутренней торговли. Первые пятнадцать государств – это, разумеется, США, Франция, Британия, самоуправляющиеся доминионы Британской империи и более мелкие европейские демократии, без Чехословакии, которая еще существовала, когда писалась книга. Позже в союз могут быть приняты другие страны, если «покажут себя достойными». Подразумевается, что союз мира и благосостояния столь завиден, что остальные только и мечтают к нему присоединиться.

Надо заметить, что проект этот не так фантастичен, как кажется. Конечно, он не осуществится – ничто, рекомендуемое благонамеренными литераторами, никогда не осуществляется, – и некоторые трудности мистер Стрейт оставляет без внимания; но в принципе нечто подобное *могло бы* осуществиться. Географически США и западноевропейские демократии ближе друг к другу, чем, например, части Британской империи. Торгуют они по большей части друг с другом, на своих территориях располагают всем необходимым, и мистер Стрейт, вероятно, прав, утверждая, что ввиду большого превосходства сил нападение на

них будет делом безнадежным, даже если в союзе с Германией выступит СССР. Так почему же с первого взгляда видно, что в этом проекте что-то не так? Чем от него пахнет? А пахнет от него безусловно.

Пахнет от него, как обычно, лицемерием и самодовольством. Сам мистер Стрейт не лицемер, но кругозор его ограничен. Взглянем еще раз на этот список овец и козлищ. На козлищ пялиться излишне (Германия, Италия и Япония), это козлища несомненные. Но присмотримся к овцам! США, может, и пройдут осмотр, если не слишком приглядываться. Но Франция? Но Англия? Или даже Бельгия и Голландия? Как и все, принадлежавшие к этой школе мыслителей, мистер Стрейт хладнокровно поместил огромную Британскую и Французскую империи – по сути, не что иное, как механизмы для эксплуатации дешевого труда цветных, – в рубрику «демократии»!

Там и сям в книге, хотя не часто, упоминаются страны, «зависимые» от демократических государств. «Зависимые» означает подвластные народы. Объясняется, что они останутся зависимыми, что их ресурсы вольются в ресурсы союза, а их цветное население не будет иметь голоса в делах союза. Пока не заглянешь в статистические таблицы, в голову не придет, о каком *числе* людей идет речь. Индии, например, где обитает больше народу, чем во всех «пятнадцати демократиях», взятых вместе, уделено в книге мистера Стрейта всего полторы страницы, и то – с единственной целью объяснить, что Индия не готова к самоуправлению и статус-кво должен сохраняться. Здесь начинаешь понимать, что произойдет на самом деле, если станет осуществляться проект мистера Стрейта. Британская и Французская империи, с их шестьюстами миллионами бесправных обитателей, просто получат полицейское подкрепление; ограбление Индии и Африки поддержит громадная мощь США. Мистер Стрейт выдает себя, но и все фразы вроде «Блок мира», «Фронт мира» и т. п. наводят на ту же мысль: все подразумевают укрепление существующей структуры. Не произносится вслух каждый раз одно: «не считая черных». Ибо как мы можем «решительно противостоять» Гитлеру, если ослабим себя внутри? Другими словами, можем ли мы «сражаться с фашизмом» иначе, как усугубив несправедливость?

А ее, конечно, станет больше. Мы всегда забываем, что подавляющее большинство британского пролетариата живет не в Британии, а в Азии и в Африке. Гитлер, например, не в силах установить заработную плату рабочему пенс в час; в Индии же это в порядке вещей, и мы очень стараемся сохранить этот порядок. О реальных отношениях Англии с Индией можно судить по тому,

что годовой доход на душу населения в Англии равняется примерно 80 фунтам, а в Индии – примерно 7. Нет ничего необычного в том, что нога индийского кули тоньше руки среднего англичанина. И это не расовое различие, ибо сытые представители тех же рас обладают нормальным сложением; это – попросту результат голода. Это – система, в которой мы продолжаем жить и которую осуждаем, когда не опасаемся, что она будет изменена. Но сегодня первой обязанностью «хорошего антифашиста» стало лгать об этом и способствовать ее сохранению.

Чего же будет стоить урегулирование на этих принципах? Что оно означало бы, даже если бы нам удалось разрушить гитлеровскую систему, дабы стабилизировать нечто гораздо большее и на свой манер не менее скверное? Но, по-видимому, из-за отсутствия реальной оппозиции именно это и будет нашей целью. Остроумные идеи мистера Стрейта не осуществятся, но нечто, напоминающее «Мирный блок», осуществиться может. Британское и русское правительства все еще торгуются, канителят и глухо угрожают перейти на другую сторону, но обстоятельства, вероятно, сведут их вместе. И что тогда? Союз, без сомнения, отсрочит войну на год или два. Затем Гитлер сделает ход: ударит по слабому месту в неожиданный момент; нашим ответным ходом будет – больше вооружений, большая милитаризация, больше пропаганды, больше воинственности и так далее, с возрастающей скоростью. Сомнительно, что длительная подготовка к войне в нравственном отношении лучше самой войны; не исключено, что она даже чуть хуже. Какие-нибудь два-три года, и мы можем почти без сопротивления скатиться до какой-то местной разновидности австро-фашизма. И может случиться так, что еще через год или два в качестве реакции на него возникнет то, чего еще никогда не было у нас в Англии, – настоящее фашистское движение. И поскольку у него хватит смелости говорить открыто, оно соберет под свои знамена тех самых людей, которым полагалось бы с ним бороться.

Дальнейшее предвидеть трудно. Сползание происходит потому, что почти все социалистические лидеры в решающий момент оказываются всего лишь оппозицией его величества, а кроме них, никто не знает, как воззвать к порядочности английского народа, с которой сталкиваешься повсюду, когда разговариваешь с людьми, а не читаешь газеты. Вряд ли что спасет нас, если в ближайший год или два не возникнет действительно массовая партия, которая пообещает помешать войне и исправить имперские несправедливости. Но если такая партия сейчас и существует, то только в качестве возможности –

нескольких крохотных зернышек, лежащих там и сям в неорошаемой почве.

Июль 1939

Во чреве кита [81]

I

Роман Генри Миллера «Тропик Рака», вышедший в свет в 1935 году, знатоки хвалили с некоторой осторожностью, опасаясь, очевидно, прослыть поклонниками порнографии. Среди похваливших были Т. С. Элиот, Герберт Рид, Олдос Хаксли, Джон Дос Пассос, Эзра Паунд – в общем, писатели, которые теперь не очень в моде. Само содержание книги, а в какой-то мере и ее духовный настрой принадлежат скорее 20-м, нежели 30-м годам.

«Тропик Рака» – роман, написанный от первого лица, или автобиография в форме романа, как бы вы к этой книге ни относились. Миллер настаивает, что написал именно автобиографию, но по ритму и способу повествования это роман, это история американского Парижа, но не совсем обычная, потому что изображенные в книге американцы – люди без денег. В разгар бума, когда доллар был всесилен, а франк немощен, Париж заполонила толпа художников, писателей, ученых, дилетантов, любителей достопримечательностей, дебоширов и отъявленных бездельников – ничего подобного свет еще не видел. В некоторых кварталах так называемых художников набиралось больше, чем рабочего люда, – подсчитано, что в конце 20-х годов в Париже проживало едва ли не 30 тысяч живописцев, по большей части самозваных. Парижане до того свыклись с этой публикой, что хриплоголосые лесбиянки в вельветовых бриджах и юноши в древнегреческих и средневековых одеяниях могли разгуливать по улицам, не привлекая ни малейшего внимания, а по набережным Сены у Нотр-Дам было не пройти из-за мольбертов. Это было время «темных лошадок» и непризнанных гениев; все твердили одно и то же: «Quand je serai lance»[82]. Но вышло так, что никто не вкусил этого «lance»: разразился кризис – под стать новому ледниковому периоду, разноязыкая толпа художников схлынула, и просторные кафе на Монпарнасе, где недавно до утренней зари толклись всякие бахвалы и позеры, превратились в сумрачные склепы, покинутые даже привидениями. Этот мир – изображенный многими, например Уиндхэмом Льюисом в его «Тарре», и живописует Миллер, показывая, впрочем, лишь его оборотную сторону, последних люмпенов, выстоявших потому, что они были либо истинными художниками, либо законченными проходимцами. Среди них есть и непризнанные гении, параноики, постоянно твердящие, что «вот завтра» примутся за

роман, который обратит книги Пруста в ничтожные побрякушки, но гениальны они лишь в те редкие минуты, когда нет необходимости выклянчивать у кого-то на обед. Миллер описывает в основном кишащие клопами каморки в пролетарских ночлежках, драки, запои, дешевые бордели, русских беженцев, нищих, аферистов, тех, кто живет на заработки от случая к случаю. Здесь царит атмосфера беднейших парижских кварталов, какими их должен видеть чужестранец, – булыжные мостовые переулков, тошнотворная вонь помоек, засаленные стойки и истертые полы бистро, зеленая вода Сены, голубые плащи республиканских гвардейцев, треснутые чугунные писсуары, сладковатый запах на станциях метро, сигареты, крошащиеся в пальцах, голуби Люксембургского сада – все это есть на его страницах, во всяком случае, есть эта атмосфера.

Вроде бы трудно вообразить более скучную материю. «Тропик Рака» появился в тот момент, когда итальянцы вторглись в Абиссинию и уже росли, как грибы, гитлеровские концлагеря. Повсюду в мире интеллектуалы пристально присматривались к Риму, Москве, Берлину. Уж какой там в эту пору может быть роман, да еще выдающийся, о бездельниках-американцах, выпрашивающих на выпивку в Латинском квартале. Спору нет, романист не обязан писать о важнейших общественных событиях впрямую, но если он попросту игнорирует эти события, значит, он ничтожество, а то и просто идиот. Из пересказа «Тропика Рака» большинство людей было бы вправе заключить, что это, наверное, всего лишь шалость в духе ушедших 20-х годов. Но почти все, кто эту книгу прочел, сразу поняли: ничего подобного, на самом-то деле книга замечательная. Чем она замечательна, почему? На такие вопросы всегда нелегко ответить. Лучше начну с того, какое впечатление «Тропик Рака» произвел на меня самого.

Когда я впервые открыл роман и увидел, что он изобилует непечатными словами, первой реакцией было нежелание этому изумляться. Думаю, большинство читателей отреагировало бы на роман так же. Но прошло время, и атмосфера книги, не говоря уже о бесчисленных выразительных подробностях, на удивление прочно отложилась у меня в памяти. Спустя год вышла вторая книга Миллера, «Черная весна». «Тропик Рака» уже присутствовал в моем сознании куда более непосредственно, чем сразу после того, как я его прочел. Сначала у меня сложилось впечатление, что «Черная весна» удалась меньше, и действительно, второй книге недостает целостности, присущей первой. Но минул еще год, и многие места из «Черной весны» тоже укоренились в памяти. Ясно, это такие книги, которые как бы оставляют свой особенный запах, – что называется, книги, «создающие свой

собственный мир». Такие книги – не обязательно хорошая литература, есть ведь и хорошие плохие книги, как «Хлам» или «Записки о Шерлоке Холмсе», а также извращенные, болезненные книги, вроде «Грозового перевала» или «Дома с зелеными ставнями». Но время от времени появляется роман, открывающий совершенно новый мир не в неведомом, а в хорошо знакомом. Например, в «Улиссе» есть и много другого, ибо Джойс в придачу еще и своего рода поэт, и тяжеловесный педант, но его подлинное достижение – это то, что он сумел передать самое обыденное. Он осмелился – а *смелости* здесь потребовалось не меньше, чем мастерства, – выразить всю глупость, отличающую сокровенные человеческие помыслы, тем самым открыв Америку, хотя она располагалась прямо у нас под носом. Предстал целый мир, состоящий из вещей, которые мы считали непередаваемыми по самой их природе, и вот нашелся человек, сумевший их выразить. Джойс разбивает, пусть на короткое мгновение, скорлупу одиночества, в которую заключено любое человеческое существо. Читая «Улисса», вы местами чувствуете, что ваше сознание слилось с сознанием Джойса и он знает про вас все, хотя никогда о вас не слышал, и есть мир вне времени и пространства, в котором он и вы соединяетесь воедино. Пусть между Генри Миллером и Джойсом мало сходства – в этом они близки. Правда, не всегда – творчество Миллера очень неровно, порой, особенно в «Черной весне», он предается пустословию и вязнет в топком болоте сюрреализма. Но прочтите пять, десять страниц – и вы испытаете особое чувство радости, даруемое не тем, что понимаете прочитанное, а тем, что *вас понимают*. «Он все знает обо мне, – озаряет вас, – он написал это специально для меня». Вам словно слышится голос, обращающийся именно к вам, дружелюбный, чистосердечный голос американца, который не собирается читать вам мораль, но исподволь вселяет в вас ощущение, что все мы очень похожи друг на друга. На какое-то мгновение вы свободны от обмана и упрощений, от вымученности, отличающей розовую беллетристику и даже вполне добротную литературу, которую, однако, населяют марионетки, а не живые люди, и перед вами раскрывается истинный опыт настоящих, неподдельных людей.

Но что это за опыт? И что за люди? Миллер пишет о человеке с улицы, и очень жаль, что на этой улице полно борделей. Это расплата за разлуку с родной землей. Покинув ее, оказываешься там, где корням недостает плодородной почвы. Для романиста разлука с родиной, видимо, опаснее, чем для живописца и даже поэта, потому что он утрачивает связь с нормальной жизнью и горизонт его творчества становится узким – улица, кафе, церковь,

бордель да стены кабинета. В книгах Миллера мы читаем главным образом о людях, влачащих жизнь изгнанников, пьющих, болтающих, созерцающих, совокупляющихся, а не о тех, кто трудится, женится, растит детей; какая жалость – ведь он вполне мог бы писать и о том, и о другом. В «Черной весне» есть чудесная ретроспекция, когда мы переносимся в Нью-Йорк времен О. Генри, по которому слоняются толпы ирландцев, но парижские сцены все равно лучше, и пусть все эти пьяницы да попрошайки вполне никчемны, они выведены с таким проникновением в суть социального типа, с таким пониманием характеров и изощренным мастерством, до которых не дотягивает ни один роман, появившийся в последние годы. Каждый из героев не только достоверен, но и хорошо нам знаком; возникает чувство, что все с ними происходящее пережито лично вами. И ведь ничего удивительного с ними и не приключается. Генри получает работу и знакомится с меланхоличным студентом-индусом, потом подвертывается другая работа – в кошмарной французской школе, где нужники зарастают льдом, когда на улице мороз; пьет запоем в Гавре со своим дружком Коллинзом, капитаном судна, шляется по борделям, общаясь с восхитительными негритянками, ведет беседы с другим дружком, Ван Норденом, писателем, замыслившим роман, который поразит весь мир, но еще не севшим писать. Его друг Карл, только что не умирающий от голода, сходится с состоятельной вдовой, которая помышляет женить его на себе. Опять нескончаемые гамлетовские разговоры – Карл никак не решит, что лучше: голодать или спать со старухой? Он с множеством подробностей описывает посещения вдовы; он надел свой лучший костюм, когда они ходили в ресторан, а однажды, собираясь к ней, забыл наведаться в уборную, промучился весь вечер, и прочее в том же духе. В конце концов все это оказывается сплошной выдумкой, даже никакой вдовы не существует – Карл просто ее выдумал, чтобы прибавить себе значительности. Более или менее в таком вот ключе написана вся книга. Отчего же эти чудовищные банальности столь занимательны? Да оттого, что нам досконально знакома вся атмосфера, и нас ни на минуту не покидает чувство, что все это происходит *с нами.* А чувство это возникает потому, что нашелся человек, отбросивший дипломатические условности обыкновенного романа и обратившийся к реальности человеческой души, которая представлена на всеобщее обозрение. Миллер не столько исследует при этом механизмы сознания, сколько просто изображает обыденные события, обыденные чувства. Ведь и на самом деле многие люди, возможно, даже большинство обыкновенных людей, ведут себя именно так, как

изображает Миллер. Зачерствелая грубость, с которой изъясняются персонажи «Тропика Рака», редка в литературе, но в жизни она заурядна; сколько раз я слышал такие разговоры в компании людей, даже не отдававших себе отчета, что их речь груба. Примечательно, что автор «Тропика Рака» далеко не юноша. Ко времени выхода романа Миллеру было уже за сорок, и хотя потом появились еще четыре его книги, ясно, что первой он жил не один год. Книга эта из тех, что медленно вызревают, пока автор обретается в безвестности и нищете, и вынашивают их люди, знающие, в чем их предназначение, и умеющие терпеливо ждать. Повествование удивительно, а проза «Черной весны» местами еще лучше. Жаль, что нельзя цитировать, то и дело натыкаешься на нецензурные слова. Но найдите «Тропик Рака», найдите «Черную весну» и прочтите, особенно первую сотню страниц. Вы поймете, чего можно достичь в английской прозе даже сегодня. Там тот английский, на котором действительно говорят, причем без *страха,* то есть не боясь ни риторики, ни экзотических или поэтических слов. После десятилетнего изгнания в язык вернулось прилагательное. Это плавная, насыщенная, ритмичная проза, нечто совсем другое, чем модный сегодня жаргон посетителей закусочной или плоская, избегающая всякого риска официальная речь.

Вполне естественно, что при появлении такой книги, как «Тропик Рака», люди в первую очередь замечают, что она непристойна. При наших представлениях о приличии в литературе отнестись беспристрастно к книге, полной нецензурных слов, далеко не просто. Такая книга вызывает либо шок и отвращение, либо смертельный испуг, либо твердое нежелание поддаваться сильным эмоциям. Чаще всего встречается последнее, и в результате книги, которые невозможно публиковать в подцензурных издательствах, зачастую не привлекают того внимания, которого заслуживали бы. Стали даже модными разговоры, что нет ничего проще, чем написать непристойную книгу, и пишут их лишь для того, чтобы добиться известности, заработать, и прочее. О том, что это вовсе не так, говорит сам факт явной незаурядности произведений, которые должны быть названы непристойными в полицейском смысле. Если бы грязными словами легко было наживать деньги, этим занималось бы куда больше людей. Но «непристойные» книги появляются не так уж часто, поэтому наметилась тенденция сваливать их в одну кучу – как правило, без всяких на то оснований. «Тропик Рака» соотносят с «Улиссом» и «Путешествием на край ночи», эти ассоциации смутны и в действительности между ними мало общего. Миллер походит на

Джойса тем, что они одинаково не стыдятся показывать бессмысленность и низость повседневного существования. Если оставить в стороне различия в характере изображения, сцена похорон из «Улисса», например, вполне естественно выглядела бы в «Тропике Рака»; вся эта глава – нечто вроде исповеди, обнаруживающей страшную внутреннюю зачерствелость человека. Но этим сходство исчерпывается. Как роман «Тропик Рака» сильно уступает «Улиссу». Джойс – художник, каким Миллер не является, да, наверное, и не пожелал бы быть, и устремления Джойса простираются гораздо дальше. Он исследует различные формы человеческого сознания – сон, грезы («бронзово-золотая глава»), опьянение и прочие – и сводит их в единый сложный узор, отчего возникает нечто вроде «фабулы» в викторианском смысле слова. Миллер же – просто видавший виды человек, повествующий о жизни, обыкновенный американский бизнесмен, наделенный смелым умом и чувством слова. Характерно, что и *выглядит* он именно так, как мы представляем себе типичного американского бизнесмена. Если же сравнивать роман Миллера с «Путешествием на край ночи», то такое сравнение еще произвольнее. Обе книги изобилуют непристойностями, обе в некоторой мере автобиографичны – но вот и все, что их сближает. «Путешествие на край ночи» написано с определенной целью, и цель эта – протест против ужаса и бессмысленности современной жизни, да и *жизни* вообще. Это вопль крайнего отвращения, голос, доносящийся из клоаки. «Тропик Рака» – нечто едва ли не противоположное. Как это ни необычно, ни противоестественно даже, но это книга, созданная счастливым человеком. Такова и «Черная весна», хотя и в меньшей степени, ибо в ней часто чувствуется ностальгия. Столько лет прожив в люмпенской среде, изведав голод, бродяжничество, грязь, неудачи, ночуя без крыши над головой, вытерпев схватки с эмиграционными чиновниками, закалившись в нескончаемой борьбе за медный грош, Миллер убеждается, что все это доставляет ему наслаждение. Как раз те стороны жизни, которые вызывают у Селина ужас, оказываются для него привлекательными. Он очень далек от того, чтобы протестовать, – напротив, он *приемлет.* И уже само это слово подсказывает нам, с кем его в действительности связывает духовная близость, – это тоже американец, Уолт Уитмен.

Это своеобразно – быть Уитменом в 30-е годы XX века. Вряд ли, живи он в наши дни, Уитмен написал бы что-нибудь даже отдаленно напоминающее «Листья травы». Ведь он и вправду говорит: «Я приемлю», но между «приемлю» тогда и сегодня пролегает пропасть. Уитмен творил во времена невиданного

процветания и, что еще важнее, в стране, где свобода была не просто словом. Демократия, равенство, товарищество, о которых он без устали толкует, – не отдаленный идеал, все это было у него перед глазами. В Америке середины XIX века люди ощущали себя свободными и равными, они *и были* таковыми – насколько это возможно в обществе, где не восторжествовал чистый коммунизм. Существовала бедность, существовали даже классовые различия, но постоянно угнетаемого класса не было, исключая негров. В каждом человеке жило и составляло ядро его личности убеждение, что он в силах добиться достойной жизни, и для этого ему не придется вылизывать чьи-то сапоги. Твеновские плотогоны и лоцманы с Миссисипи, золотоискатели с Дикого Запада Брет Гарта сегодня более далеки от нас, чем каннибалы каменного века. Причина проста: они свободные люди. То же ощущение пронизывает и мирную, обустроенную жизнь восточных штатов Америки, изображенную в таких книгах, как «Маленькие женщины», «Дети Элен», «По дороге из Бендора». До того кипучая, беззаботная жизнь, что, читая эти книги, ловишь себя на чувстве, будто физически ее ощутил. Вот ее и воспевает Уитмен, хотя делает он это очень плохо, потому что он из числа писателей, сообщающих нам, что мы должны чувствовать, вместо того чтобы такие чувства в нас пробудить. Думая о его верованиях, приходишь к мысли: может быть, хорошо, что он умер, не увидев, как ухудшилась жизнь в Америке вместе с ростом индустрии и эксплуатации дешевого труда иммигрантов.

Взгляды Миллера глубоко родственны взглядам Уитмена, и мимо этого не прошел почти никто из его читателей. «Тропик Рака» и заканчивается совершенно по-уитменовски: после всего распутства, махинаций, потасовок, запоев, после всех совершенных им глупостей герой спокойно созерцает бегущие мимо него воды Сены, как бы мистически приемля все как оно есть. Только что же он приемлет? Прежде всего не Америку, а это древнее нагромождение костей – Европу, где каждая крупица земли есть плоть от плоти бесчисленных человеческих тел. Во-вторых, не эпоху расцвета и свободы, а эпоху страха, тирании и запретов. Сказать «я приемлю» в век, подобный нашему, означает приятие концентрационных лагерей, резиновых дубинок, Гитлера, Сталина, бомб, военных самолетов, пищи из концентратов, пулеметов, путчей, чисток, лозунгов, противогазов, страховочных ремней фирмы «Педо», подводных лодок, шпионов, провокаторов, цензуры, тайных тюрем, аспирина, Голливуда, политических убийств. Не *только* этого, конечно, но и этого тоже. Генри Миллер в целом к такому приятию готов. Правда, не всегда, ибо моментами он ощущает ностальгические чувства, которые так

обычны в литературе. В первой части «Черной весны» пространно восхваляется Средневековье, причем эти страницы можно отнести к числу самых замечательных в прозе последних лет, хотя по тональности они мало чем отличаются от написанного Честертоном. В «Максе и белых фагоцитах» (опубликовано в 1935 году) осуждается современная американская цивилизация (готовые завтраки, целлофан и прочее) с точки зрения, обычной для литераторов, ненавидящих индустриализацию. Но в целом он готов «проглотить все целиком». Отсюда и кажущееся чрезмерным увлечение непристойностями и грязью оборотной стороны жизни. Кажущееся, ибо истина заключается в том, что обыденность куда больше изобилует ужасами, чем готовы признать беллетристы. Тот же Уитмен «принимал» многое такое, чего не отваживались назвать вслух его современники. Ведь он пишет не только о прериях, но слоняется по городским улицам, подмечая раздробленный череп самоубийцы, «серые, больные лица онанистов», да только ли это? Но нет сомнений, что наше время, по крайней мере в Западной Европе, более болезненно, более безнадежно, чем то, в которое творил Уитмен. В отличие от Уитмена мы живем в *угасающем* мире. «Демократические дали» увенчались для нас колючей проволокой. Все реже замечаем мы созидание и рост, все реже чувствуем вечное покачивание колыбели – вместо нее нам уготован вечно свистящий чайник. Принять цивилизацию *как она есть* фактически означает примириться с разложением. Мужество сменилось пассивностью, даже «декадентством», если это слово обладает каким-то смыслом.

Но именно благодаря тому, что Миллер в определенном смысле пассивен перед жизнью, ему удается подойти к обыкновенному человеку ближе, чем это получается у писателей, ставящих перед собой некую цель. Ведь обыкновенный человек тоже пассивен. В сфере мелочного (дом, возможно, профсоюз, локальные политические заботы) он чувствует себя хозяином своей судьбы, но перед лицом крупных событий он беззащитен, как под ударами стихии. Он и не помышляет воздействовать на будущее, он безвольно вникает и покоряется ходу вещей. Последние десять лет литература все глубже втягивалась в политику, и в итоге в ней осталось меньше места для обыкновенного человека, чем когда-либо за два истекшие столетия. Эту перемену легко почувствовать, сравнив книги о гражданской войне в Испании с книгами о войне 1914–1918 годов. Сразу бросается в глаза, до чего скучны и попросту плохи книги об испанской войне, по крайней мере, те из них, что написаны по-английски. Но еще существеннее, что почти все они,

будь их автор «правым» или «левым», написаны завзятыми политиками, которые уверены в своей правоте и навязывают вам собственный образ мыслей, тогда как о мировой войне писали простые солдаты или младшие офицеры, даже не делавшие вид, будто постигли происходящее. Такие книги, как «На Западном фронте без перемен», «Огонь», «Прощай, оружие!», «Расставаясь с этим навсегда», «Воспоминания офицера пехоты», «Субалтерн на Сомме», написаны не пропагандистами, а *жертвами.* В сущности, говорят они все об одном: «Да что же это творится? Одному Богу известно. Нам остается лишь терпеть». И Миллеру, хотя он не описывает войну, как в общем-то и тягость жизни, эта позиция куда ближе, чем всеведение тех, кто теперь в моде. «Бустер», быстро прекративший существование журнал, соредактором которого он был, рекламировал себя как орган «не политический, не образовательный, не прогрессивный, не наставляющий, не этический, не литературный, не содержательный, не современный»; творчество самого Миллера можно охарактеризовать почти так же. Это голос из толпы, голос отверженных, голос из вагона третьего класса, голос обыкновенного, далекого от политики, чуждого морализма, пассивного человека.

Я обращаюсь с понятием «обыкновенный человек» несколько вольно, не сомневаясь, что таковой существует, хотя сегодня некоторые отрицают это. Вовсе не хочу сказать, что люди, о которых повествует Миллер, составляют большинство, и тем более – что он пишет о пролетариях. Серьезных попыток такого рода пока не предпринимал ни один английский или американский романист. Персонажи «Тропика Рака» не вполне обыкновенны в том смысле, что ведут праздную жизнь, обладают скверной репутацией и отчасти принадлежат к «артистической» среде. Как я уже говорил, это прискорбный, но неизбежный итог жизни вне родины. «Обыкновенный человек» Миллера – это не работяга, не домовладелец из пригорода, а изгой, деклассированный элемент, авантюрист, лишенный корней американский интеллектуал без гроша в кармане. Но бытие даже такого персонажа имеет много общего с жизнью заурядных людей. Миллеру удалось извлечь максимум из этого довольно скудного материала, так как он нашел в себе смелость с ним слиться. И обыкновенный человек, «средний индивид», подобно валаамовой ослице, обрел дар речи.

Правда, все это устарело или, по крайней мере, вышло из моды. «Средний индивид» уже не в моде. Не в моде и пристальное внимание к сексу, к откровениям внутренней жизни. Не в моде американский Париж. В наше время такая книга, как

«Тропик Рака», должна выглядеть либо скучной претенциозностью, либо чем-то совершенно необычным, и думаю, что большинство из читавших ее не станут относить ее к первой категории. Постараемся же разобраться, что означает знаменуемое ею неприятие сегодняшней литературной моды. Но для этого нужно увидеть книгу Миллера на фоне всего развития английской литературы за двадцать лет после мировой войны.

II

Когда писателя называют модным, почти всегда имеют в виду, что он нравится тем, кому еще не исполнилось тридцати. В начале периода, о котором я говорю, во время войны и после нее, властителем юных умов был, конечно, Хаусмен. Среди тех, чья юность пришлась на 1910–1925 годы, влияние Хаусмена было огромным, и сейчас это уже не так просто объяснить. В 1920 году – мне тогда было семнадцать лет – я знал на память всего «Парня из Шропшира». Интересно, произведет ли теперь «Парень из Шропшира» впечатление на юношу того же возраста и примерно того же склада ума? Он наверняка слыхал об этом цикле, может быть, даже заглядывал в него, и стихи показались ему ловко скроенными, но пустоватыми – вот, думаю, и все. А ведь мои сверстники и я без устали твердили эти стихи наизусть, испытывая своего рода экстаз, сравнимый с тем, который охватывал предыдущие поколения, упивавшиеся «Любовью в долине» Мередита, «Садом Прозерпины» Суинберна и так далее.

> Разлука сердце гложет,
> Со мною нет друзей —
> Красавиц белокожих
> И молодых парней.
>
> Впадает в реку боли
> Ручей пролитых слез;
> Уснули девы в поле
> Среди увядших роз[83].

Вроде позвякивания колокольцев, не больше. Но в 1920 году я бы ни за что такого не сказал. Почему мыльный пузырь обязательно лопается? Чтобы ответить на этот вопрос, надо принять во внимание *внешние* условия, благодаря которым становятся популярными те или иные авторы. Поначалу стихотворения Хаусмена не привлекли к себе внимания. Что же

оказалось в них столь близким именно для поколения, родившегося на рубеже веков?

Прежде всего Хаусмен «сельский» поэт. Его стихи наполнены очарованием заброшенных деревень, ностальгией, вызываемой именами всех этих Клантонов, Кланбери, Найтонов, Ладлоу, Вендлок Эдж, «раз летом на Бредоне», соломенными крышами и кузнечными горнами, цветочными разливами лугов, «голубизной холмов далеких». Вся английская поэзия 1910–1925 годов, если не считать стихов о войне, обращена к деревне. Причина, несомненно, в том, что наемный люд навсегда утрачивал действительно живую связь с землей; но тогда в гораздо большей степени, чем сейчас, были распространены снобистские взгляды, требовавшие похваляться близостью к деревне и презрением к городу. Англия того времени вряд ли была более сельской страной, чем сегодня, но легкая промышленность еще не начала расползаться, и считать страну сельской было легче. Большинство ребят из среднего класса росли неподалеку от фермы, и естественно, им была близка живописная сторона сельской жизни – пашни, страда, молотьба и прочее. Пока сам этим не занимаешься, трудно почувствовать, какая это нудная и тяжелая работа – полоть турнепс или доить в четыре часа утра коров, у которых задубело вымя. Время непосредственно перед войной, сразу после нее да и время войны тоже было золотым веком «певцов Природы», зенитом славы Ричарда Джеффриса и У. Г. Хадсона. «Грентчестер» Руперта Брука, стихотворение, гремевшее в 1913 году, было всего лишь бурным всплеском любви к природе, водопадом названий деревень, словно извергшимся из автора. Как поэтическое произведение «Грентчестер» не просто никчемен – значительно хуже. Но это ценный документ, иллюстрирующий мир *чувств* думающей молодежи тогдашнего среднего класса.

Однако поэзия Хаусмена не исчерпывается сентиментальным воспеванием розочек в духе субботних вдохновений, отличавшем Брука и остальных. Деревенский мотив, постоянно присутствующий в ней, – это только фон. В его стихах чаще всего есть нечто вроде героя, эдакого идеализированного селянина, осовремененного персонажа из Стрефона и Коридона. Уже одно это располагало к его стихам. Опыт свидетельствует, что люди, пропитавшиеся городской цивилизацией, любят почитать о селянах (ключевое понятие – «близкие к земле»), ибо воображают, что те примитивнее и непосредственнее, чем они сами. Отсюда и заземленный роман Шейлы Кейт-Смит, и многое другое. Молодой человек того времени, с его сельскими пристрастиями, охотно отождествлял себя с теми, кто трудится на земле, и никогда – с

обретающимися в городе. Сколько юношей воображали себе лишенного всяких пороков пахаря или кочевника, охотника, лесника, – это непременно дикий, свободный весельчак, непоседа, жизнь которого заполнена ловлей кроликов, петушиными боями, скачками, пивной и любовными приключениями. «Вечная благодать» Мейсфилда, еще одно ценное свидетельство эпохи, пользовавшаяся среди юнцов громадной популярностью во втором десятилетии нашего века, знакомит нас с той же картиной, но выполненной грубыми мазками. Однако Морисов и Теренсов Хаусмена можно было принимать всерьез, чего не скажешь о Соле Кейне Мейсфилда; в этом смысле Хаусмен – тот же Мейсфилд, но с примесью Феокрита. Да и тематика у него юношеская – убийство, самоубийство, несчастная любовь, ранняя смерть. Он описывает обыкновенные, легко понятные невзгоды, создавая чувство, что прикоснулся к коренным явлениям жизни:

Под жарким солнцем на лугу
Густая кровь блестит;
Мой нож у Мориса в боку
По рукоять сидит.

Или:

Теперь мы в Шрусберской тюрьме,
И поезда всю ночь
Гудят, горюя обо мне,
Не в силах мне помочь.

Один и тот же мотив с незначительными вариациями. Все рушится: «В тюрьму отправят Нэда, а Дика – на погост». Обратите внимание на острую жалость к себе («меня никто не любит»):

Под стать алмазам росы
На луговой траве,
Как утренние слезы —
Да только не по мне.

Плохо дело, старина! Можно подумать, что стихи предназначались специально для подростков. Их неизменный пессимизм в том, что касается дел сердечных (девушка либо умирает, либо выходит замуж за другого), казался подлинной мудростью парням, изнывавшим в постылых интернатах и

смотревшим на женщин как на недосягаемые существа. Сомневаюсь, чтобы Хаусмен столь же сильно притягивал девушек. В его стихах чувства женщины полностью игнорируются, она в них не более чем нимфа, сирена, не столько человек, сколько коварный эльф-поводырь, которому доверяешься, не зная, что он исчезнет на полдороге.

Но Хаусмен не оказался бы столь глубоко созвучен мироощущению тех, кто был молод в 1920 году, если бы не еще одно свойство его поэзии – неожиданным образом она предстает кощунственной, антиномийной и не лишенной цинизма. Традиционный антагонизм поколений особенно обострился в конце мировой войны, – отчасти из-за самой войны, отчасти под косвенным воздействием русской революции интеллектуальные баталии сделались напряженными. Благодаря спокойствию и надежности, присущим английской жизни, всерьез не потревоженной даже войной, многие из тех, чье мировоззрение сформировалось в 80-х годах предыдущего века, а то и раньше, сохранили его в неприкосновенности до 20-х годов нашего столетия. В сознании же молодого поколения официальные догмы рушились, как замки на песке. Религиозность, например, убывала на глазах. За несколько лет трения между молодыми и старшими переросли в нескрываемую ненависть. Остатки прошедшего войну поколения, выжившие в бойне, обнаружили, что старшие продолжают верить в лозунги 1914 года, а младших, совсем юнцов, удушают учителя-холостяки, изъеденные пороком. Именно их и захватил Хаусмен, в чьих стихах им виделся сексуальный бунт и личные счеты с Богом. Да, в этих стихах был патриотизм, но безвредный, старомодный, цвета мундиров королевской гвардии, а не стальных касок, на мотив «Боже, храни королеву», а не «Кайзера на виселицу». Они были в должной степени антихристианскими – Хаусмен воспевал некое озлобленное, дерзкое язычество, убежденный в том, что жизнь коротка и боги не на нашей стороне, а это полностью отвечало преобладающему настроению молодежи; к тому же восхитительная хрупкость строк, состоящих почти из одних односложных слов…

Я говорю о Хаусмене так, будто он был заурядным пропагандистом, слагавшим сентенции и строки для последующего цитирования. Конечно, в нем было не только это. Не станем недооценивать его теперь только потому, что его переоценивали несколько лет назад. Пусть сегодня это вызовет возражения, но кое-каким стихам Хаусмена («Вползает в сердце гибель» или «Пашет ли упряжка») не суждено долго пребывать в забвении. Но, в сущности, приязнь или неприязнь к автору всегда

зависит от направленности его творчества, от его «цели», от выраженного им «смысла». Лучшее свидетельство этому – насколько трудно обнаружить литературные достоинства в книге, которая всерьез покушается на ваши убеждения. Да ни одна книга и не бывает вполне нейтральной. Та или иная тенденция всегда различима, будь то в поэзии или в прозе, пусть даже она исчерпывается выбором формы и образности. С поэтами же, добившимися, подобно Хаусмену, широкой популярности, дело обстоит проще простого – ведь они, как правило, отчетливо афористичны.

После войны, после Хаусмена и «певцов Природы», возникла группа писателей совершенно иного направления – Джойс, Элиот, Паунд, Лоуренс, Уиндем Льюис, Олдос Хаксли, Литтон Стречи. В середине и в конце 20-х годов они составили «движение» в той же степени, в какой группа Одена – Спендера является «движением» в последние годы. Правда, не все одаренные писатели этого периода могут быть отнесены к одной и той же категории. Скажем, Э. М. Форстер, написавший свою лучшую книгу в 1923 году или около того, принадлежал довоенной эпохе, ни один из периодов творчества Йейтса также не отмечен характерной печатью 20-х годов. Такие жившие в ту пору писатели, как Мур, Конрад, Беннетт, Уэллс, Норман Дуглас, сказали все, что могли, еще до того, как разразилась война. Кроме того, к этой группе следовало бы отнести и Сомерсета Моэма, хотя в строго литературном смысле он ей не принадлежит. Конечно, даты тут приблизительны; большинство этих писателей публиковали книги и до войны, но к послевоенным их можно причислить с не меньшим основанием, чем к послекризисным – более молодых авторов, пишущих сегодня. Читая литературную прессу того времени, вполне можно было не заметить того обстоятельства, что названные авторы составляют «движение». Более чем когда-либо, тогдашние критики, блиставшие в ту пору на ниве литературных обзоров, изо всех сил делали вид, будто предыдущее поколение еще не сказало последнего слова. Сквайр правил «Лондон меркьюри», в платных библиотеках нарасхват шли Гиббс и Уолпол, царил культ жизнерадостности и мужественности, пива и крикета, трубок из вереска и моногамии, а заработать гинею-другую статейкой, высмеивающей «высоколобых», можно было всегда. Но молодежь покорили именно презренные «высоколобые». Ветер, зародившийся на просторах Европы и долетевший до Англии, задолго до 1930 года сорвал покровы с этой школы крикета и пивной, оставив ей для прикрытия одни дворянские титулы.

Но первое, что обращает на себя внимание, если

присмотреться к группе писателей, которых я назвал, – это то, что они вовсе не походят на группу. Более того, некоторые из них решительно отвергли бы утверждения о своем родстве с другими. Лоуренс и Элиот питали друг к другу антипатию, Хаксли боготворил Лоуренса, но Джойса отвергал, остальные в большинстве своем поглядывали свысока на Хаксли, Стречи и Моэма, а Льюис нападал на всех поочередно, и его писательская репутация во многом определена этими нападками. И все же между ними существует органическое сходство, представляющееся теперь достаточно ясным, хотя лет десять назад его можно было не заметить. Они объединены *пессимистическим* мировоззрением. Следует только уточнить, что имеется в виду под «пессимизмом».

Если лейтмотивом поэзии георгианцев была красота Природы, после войны лейтмотивом стало трагическое жизнеощущение. Стихотворения Хаусмена, например, отнюдь не трагичны, в них только сетования гедониста, испытывающего разочарование. Так же обстоит дело и с Харди, за исключением его «Династов». Группа же Джойса – Элиота появилась позже, и ее главным противником был уже не пуританизм; с самого начала они «постигали суть» всего того, что их предшественники еще только пытались утвердить как норму. Все они с безоговорочной враждебностью относились к понятию «прогресс», будучи убежденными в том, что прогресса не только нет, но и быть *не должно*. Сходясь в этом, названные мной писатели, конечно, отличаются друг от друга и по существу взглядов, и по значительности таланта. Пессимизм Элиота – это отчасти христианский пессимизм, подразумевающий известного рода безразличие к людским горестям, а отчасти питаемый горечью при виде упадка западной цивилизации («Мы полые люди, мы чучела, а не люди» и т. д.) – в своем роде чувство, возникающее в эпоху, когда настали сумерки богов, и оно-то позволило ему в «Суини-борце» совершить почти невозможное, представив современную жизнь еще хуже, чем она есть. У Стречи это просто благопристойный пессимизм XVIII века, наложившийся на пристрастия к разоблачениям. У Моэма – стоическое отречение, твердость высокомерного европейца-сахиба, который где-нибудь восточнее Суэца исполняет – в подражание кому-нибудь из Антониев – свой долг, сам не веря, что это необходимо. Лоуренс на первый взгляд не кажется пессимистом, ибо он, подобно Диккенсу, человек настроения и не устает повторять, что современная жизнь выглядела бы нормальной, если только взглянуть на нее немного не так, как принято. Но он требует отказа от нашей механической цивилизации, а этого никогда не

произойдет. И вот, разочаровавшись в настоящем, он принимается идеализировать прошлое, а именно безопасно мифический бронзовый век. Когда Лоуренс предпочитает нам этрусков (*своих* этрусков), с ним трудно не согласиться, однако в конечном счете это вид пораженчества, поскольку мир движется совершенно в ином направлении. Жизнь, которую он вечно восхваляет, жизнь, сосредоточенная вокруг простых таинств – любви, земли, огня, воды, крови, – всего лишь проигранное дело. И поэтому у него осталось только желание, чтобы все происходило так, как происходить определенно не будет. «Волна великодушия или волна смерти», – заклинает он, но по нашу сторону горизонта волн великодушия явно не наблюдается. И Лоуренс бежит в Мексику, где умирает в возрасте сорока пяти лет – несколькими годами раньше, чем поднялась волна смерти. Я снова толкую об этих людях так, будто они не художники, а заурядные пропагандисты, все подчиняющие своей «проповеди». Скажу еще раз: на самом деле они куда значительнее. Было бы абсурдом, к примеру, сводить «Улисса» *только* к изображению ужасов современной жизни, «грязной эры “Дейли мейл”», по выражению Паунда. Ведь Джойс в гораздо большей степени «чистый художник», чем большинство писателей. Но «Улисса» не мог бы написать человек, лишь смакующий слова и их сочетания. Это выражение особого взгляда на жизнь, взгляда католика, утратившего веру. Джойс словно восклицает: «Вот вам жизнь без Бога. Только посмотрите, как она ужасна!» – и все его технические нововведения, как бы важны они ни были, служат прежде всего этой цели.

Но у всех этих писателей существенно то, что их «главная идея» всегда далека от реально происходящего. Они безразличны к насущным проблемам современности, их совершенно не занимает политика в узком смысле слова. Нашему вниманию предлагаются Рим, Византия, Монпарнас, Мексика, этруски, подсознание, солнечные дали – что угодно, только не те точки, где разворачиваются горячие события. Самое поразительное в 20-х годах то, с какой последовательностью отворачивалась английская интеллигенция от всех действительно важных событий в Европе. Например, история русской революции от смерти Ленина до голода на Украине абсолютно не затронула английское сознание. Все эти годы Россия означала только одно: Толстой, Достоевский и бывшие графы за рулем таксомоторов. Италия – это картинные галереи, развалины, соборы и музеи, как будто в ней нет никаких чернорубашечников. Германия – это фильмы, нудизм и психоанализ, но не Гитлер, о котором до 1931 года никто и не слыхивал. В «культурных кругах» верность

принципу «искусство для искусства» доходила до поклонения бессмыслице. Считалось, что литература – это не более чем манипулирование словами. Оценивать книгу по ее содержанию стало непростительным грехом, и даже касаться ее содержания означало проявить дурной вкус. Году в 28-м в «Панче» появилась одна из трех по-настоящему смешных шуток за все время после мировой войны: охваченный нетерпением молодой человек сообщает своей тетушке, что намеревается «писать». «О чем же ты собираешься писать, милый?» – интересуется та. Следует уничтожающий ответ: «Дорогая тетушка, пишут не *о чем-то, а просто так».* Лучшие писатели 20-х годов под этой декларацией не подписались бы, их «главная идея» чаще всего совершенно ясна, но она, как правило, исчерпывается проблемами морали, религии и культуры. Если же ее перевести на язык политики, выяснится, что в ней нет и следа «левизны». Все писатели этой группы в большей или меньшей степени консерваторы. Льюис, к примеру, годами самозабвенно выслеживал демона «большевизма», умея обнаружить его присутствие в самых неподобающих местах. Недавно он несколько пересмотрел свои взгляды, ужаснувшись, видимо, как обращается с людьми искусства Гитлер, но можно ручаться, что слишком далеко «влево» он не пойдет. Паунд, как видно, решительно отдал свои симпатии фашизму, по крайней мере его итальянской разновидности. Элиот пока остается в стороне, но если под дулом пистолета заставить его выбирать между фашизмом и какой-то более демократичной формой социализма, он скорее всего выберет фашизм. Хаксли сначала переболел традиционным отчаянием, затем, увлекшись лоуренсовским «темным нутром», попробовал «Поклонение жизни» и наконец сделался пацифистом – устойчивая позиция, а в наши дни даже достойная уважения, но в долговременной перспективе, видимо, ведущая все-таки к неприятию социализма. Заметно и то, что большинство писателей этой группы питают нежные чувства к католической религии, хотя правоверному католику эта их нежность пришлась бы не по вкусу.

Духовное родство пессимизма и реакционных воззрений вполне очевидно. Менее очевидно другое – *почему* ведущие писатели 20-х годов оказались пессимистами. Отчего эти упадочнические чувства, ощущение гибели и пустыни, тоска по утраченной вере и несуществующим цивилизациям? В конечном итоге не *оттого* ли, что эти люди творили в эпоху исключительного комфорта? Именно в такие времена и расцветает «вселенская скорбь». На пустой желудок не станешь отчаиваться во Вселенной, потому что просто не до нее. Весь

период, начиная с 1910-х до 1930-х годов, был эпохой процветания, и даже война не принесла особенных физических лишений тем, кому не пришлось сражаться на фронте. Что до 20-х годов, то они и вовсе были золотым веком для интеллектуалов-рантье, временем невиданной доселе беспечности. Кончилась война, еще не появились новые тоталитарные государства, сняты всевозможные моральные и религиозные табу, а кошельки туго набиты. В моду входит «утрата иллюзий». Каждый располагавший годовым доходом в 500 фунтов стерлингов сделался «высоколобым» интеллектуалом, старательно приучавшим себя к taedium vitae[84]. И началась пора надмирности или безумия, дешевого отчаяния, периферийного гамлетизма, билетов со скидкой на обратный путь после странствия по «краю ночи». Некоторые не лучшие, но характерные романы того времени, например «Рассказанная идиотом», до того насыщены разочарованием и жалостью к себе, что ощущение такое, словно находишься в турецкой бане. И даже лучших писателей той поры можно упрекнуть в чрезмерном олимпийском спокойствии, слишком легкой готовности умыть руки, отрешившись от насущных проблем. Они воспринимают жизнь аналитически, намного более аналитически, чем их предшественники, и те, кто шел за ними следом, только рассматривают ее через неисправный телескоп. Не то чтобы это вредило самим их книгам. Любое произведение искусства испытывается его способностью жить во времени; совершенно ясно, что многое из написанного с 1910 по 1930 год выжило и будет, видимо, жить дальше. Достаточно вспомнить «Улисса», «Бремя страстей человеческих», большую часть ранних произведений Лоуренса, особенно рассказы, и почти все стихотворения Элиота вплоть до 1930 года. Окажется ли хоть что-то создаваемое сегодня столь же долговечным?

Но в 1930–1935 годах стряслось нечто неожиданное. Литературный климат меняется. О себе заявляет новая группа писателей – Оден, Спендер и другие, и хотя в технике они кое-что позаимствовали у своих предшественников, у них обозначилось совершенно иное «направление». Мы негаданно вырываемся из состояния, когда ощущали сумерки богов, и попадаем в обстановку лагеря бойскаутов – голые коленки, хоровое пение. Типичной фигурой в литературе перестает быть культурный эмигрант, тяготеющий к церкви, его сменяет пытливый школьник, тяготеющий к коммунизму. Если лейтмотивом произведений 20-х годов было «трагическое видение», то у новых писателей им стало «серьезное намерение».

Различия между этими двумя школами подробно рассматриваются в книге Луиса Макниса «Современная поэзия».

Книга написана, конечно же, с точки зрения молодых авторов, которым в ней безоговорочно отдано предпочтение. Макнис, в частности, пишет: «Поэты «Новых автографов»[85] в отличие от Йейтса и Элиота обладают духовными пристрастиями. Йейтс предлагал отвергнуть желания и неприятия; Элиот со скукой наблюдал чужие чувства, испытывая лишь жалость – из-за того, что не может быть вполне к ним безразличен… Напротив, всей своей поэзией Оден, Спендер и Дей-Льюис заявляют, что у них есть свои желания, своя ненависть и что они убеждены – чего-то *следует* желать, а что-то – ненавидеть». И дальше: «Поэты «Новых автографов» вернулись к идущей от греков жажде знания и определенности. Первое требование – иметь что сказать, второе – сказать это как можно лучше».

Иными словами, вновь заговорили о «назначении», а молодые писатели «обратились к политике». Я уже указывал, что Элиот и К ° вовсе не так безучастны, как, видимо, полагает Макнис. Но он в общем-то прав, утверждая, что литература 20-х годов больше заботилась о стилистике и меньше о содержании, чем теперешняя.

Ведущими фигурами этой новой группы стали Оден, Спендер, Дей-Льюис, Макнис, а кроме них, сюда входят и многие другие писатели примерно той же направленности: Ишервуд, Джон Леманн, Артур Колдер-Маршалл, Эдвард Апуорд, Алек Браун, Филип Хендерсон и т. д. Как и раньше, я всех их объединяю по признаку общности «направления». Конечно, по таланту они очень один от другого отличаются. Но сравнивая этих писателей с поколением Джойса – Элиота, удостоверяешься, что намного легче представить их единой группой. Они близки по стилистике и почти неразличимы по взглядам, а их критические отзывы друг о друге, мягко говоря, всегда снисходительны. Видные писатели 20-х годов прошли разную жизненную школу, лишь немногим из них выпало испытать муку стандартного английского образования (кстати, лучшие из них, за исключением Лоуренса, даже не были англичанами), многим пришлось какое-то время испытывать бедность, безвестность, а то и просто гонения. Молодые же писатели чуть ли не все до одного проделали знакомый путь: частная школа – университет – Блумсбери. Те немногие среди них, кто вышел из пролетарской среды, рано утрачивали связь со своим классом – этому способствовали университеты, дававшие им стипендии, а затем лондонское «культурное общество», умеющее стереть любую индивидуальность. Характерно, что некоторые из входящих в эту группу писателей не только учились, но и учительствовали в частных школах. Несколько лет назад я назвал Одена

«бесхарактерным Киплингом». Это не было определением, даваемым критикой, просто недоброжелательное замечание в пылу полемики; но куда деться от того факта, что у Одена, особенно в ранних вещах, то и дело распознается искусственное воодушевление сродни киплинговскому «Если» или «Играй же, играй. Ну, играй!» в стихах Ньюболта. Взять, к примеру, такое стихотворение, как «Ты уезжаешь, что же, не пожалей». Ну просто напутственная речь командира отряда бойскаутов, минут десять по-мужски разъясняющего опасности мастурбации. Да, конечно, у Одена присутствует пародия, но наряду с ней – и непреднамеренное глубокое сходство. И неизменно отличающая почти всех этих писателей некая чопорность – симптом их самоуверенности. Отбросив «чистое искусство», они избавились от боязни насмешек, тем самым обретая более широкий горизонт. Присутствующее в марксизме провидение будущего стало для них новой поэтической темой, которая сулит многое:

> Мы ничто,
> Мы обретаемся
> Во тьме, где ждет нас гибель.
> Однако вспомни: в этой темноте
> Открылась нам высокая идея, —
> И светом ее будущее манит[86].

Но в то же время, окрасившись в марксистские тона, поэзия не приблизилась к массам. Даже со скидкой на различие эпох Оден и Спендер еще менее популярны, чем Джойс и Элиот, не говоря уже о Лоуренсе. По-прежнему многие современные писатели остаются вне преобладающего течения, зато сомнений, каково это преобладающее течение, не возникает. В середине и в конце 30-х годов Оден, Спендер и К° представляют это движение в той же степени, в какой в 20-х годах его представляли Джойс, Элиот и К°. И движутся они в направлении идеи, смутно определяемой словом «коммунизм». Еще в 1934–1935 годах в литературных кругах считалось бы эксцентрикой отсутствие некоей степени «левизны». Между 1935 и 1939 годами коммунистическая партия обладала для любого писателя моложе сорока лет почти неодолимой притягательностью. То и дело приходилось слышать, что и вот этот «примкнул», как несколько лет назад, когда в моде был католицизм; то и дело становилось известно, что вот этот «обращен». Года три английская литература в основном своем потоке до той или иной степени контролировалась коммунистами. Как это могло случиться? И кстати, что это такое – «коммунизм»? Лучше начнем с ответа на

второй вопрос.

Коммунистическое движение в Западной Европе началось как движение за насильственное свержение капитализма, но всего за несколько лет оно выродилось в инструмент внешней политики России. Вероятно, иначе не могло и быть, когда революционное брожение, последовавшее за мировой войной, стало затихать. Насколько мне известно, единственной толковой книгой об этом, существующей на английском языке, является «Коммунистический Интернационал» Франца Боркенау. Собранные Боркенау факты еще нагляднее, чем его умозаключения, показывают, что коммунистическое движение никогда не пошло бы по этому пути, если бы в индустриальных странах существовали подлинные революционные настроения. Совершенно очевидно, что в Англии, к примеру, их в прошлом не было. Малочисленность всех экстремистских партий – лучшее тому доказательство. Поэтому вполне естественно, что английскому коммунистическому движению было суждено попасть под влияние людей, духовно раболепствующих перед Россией и не имеющих других целей, кроме манипулирования британской внешней политикой в русских интересах. Такую цель нельзя, разумеется, признать открыто, что и придает коммунистической партии ее своеобразие. Заметнее всех остальных те коммунисты, которые, по сути являясь рекламными агентами России, выдают себя за международных социалистов. В спокойные времена можно носить маску без труда, но в периоды кризисов это делать труднее, ибо СССР отличается не большей щепетильностью во внешней политике, чем остальные великие державы. Альянсы, перемены курса и прочие повороты силовой политики приходится объяснять и оправдывать интересами мирового социализма. Стоит Сталину сменить партнеров, как приходится подавать марксизм в новой форме. Тут не обойтись без внезапных резких изменений линии, чисток, разоблачений, систематического истребления книжек, излагающих политику партии, и так далее. Каждый коммунист должен быть постоянно готов пересмотреть свои самые фундаментальные убеждения или расстаться с партией. То, что еще в понедельник было безоговорочной истиной, ко вторнику может превратиться в гнусную ложь, и наоборот. За последние десять лет так случалось, по крайней, мере трижды. Оттого в любой западной стране коммунистическая партия обречена на нестабильность и малочисленность. Ее постоянный костяк представлен узким кругом интеллектуалов, солидаризующихся с русской бюрократией, и ненамного большим числом людей из рабочего класса, чья преданность Советской России не обязательно

подкрепляется пониманием ее политики. Остальные то вступают в партию, то покидают ее при очередной смене линии.

В 1930 году английская компартия была мелкой полулегальной организацией, основная деятельность которой заключалась в поношении лейбористов. Но к 1935 году изменилось лицо Европы, и соответственно изменилась политика левых. Пришел к власти и стал вооружаться Гитлер; в России стали успешно выполняться пятилетние планы, и она вновь заняла место великой военной державы. Поскольку главными мишенями Гитлера явно были Великобритания, Франция и СССР, названным странам пришлось пойти на непростое сближение. Это означало, что английскому и французскому коммунисту надлежало превратиться в добропорядочного патриота и империалиста, то есть защищать все то, против чего он боролся последние пятнадцать лет. Лозунги Коминтерна из красных внезапно стали розовыми. «Мировая революция» и «социал-фашизм» уступили место «защите демократии» и «борьбе с гитлеризмом». 1935–1939 были годами антифашизма и Народного фронта, расцвета «Книжного клуба левых», когда красные герцогини и «прогрессивные» патриархи объезжали окопы на испанских фронтах, а Уинстон Черчилль стал любимцем «Дейли уоркер». С тех пор линия, конечно, уже переменилась. Но для меня сейчас важно то, что именно в антифашистский период молодые английские писатели потянулись к коммунизму.

Схватка между фашизмом и демократией, конечно, сама по себе завораживала, но и без нее их обращению суждено было свершиться именно в это время. Любой понимал, что пришел конец добродушному капитализму и наступила пора определенных перемен; в мире, каким он был в 1935 году, практически не оставалось возможности сохранять политическую нейтральность. Но почему этих молодых людей поманило нечто столь далекое, как российский коммунизм? Что может привлечь *писателя* в таком социализме, при котором интеллектуальная честность исключена? Объясняется все это фактом, ставшим реальностью еще до кризиса, до Гитлера: незанятостью среднего класса.

Незанятость – это не просто безработица. Большинство может найти какую-то работу даже в худшие времена. Беда в том, что на исходе 20-х годов не существовало ничего, кроме разве науки, искусства и левого политического движения, во что смог бы уверовать мыслящий человек. Упадок западной цивилизации достиг апофеоза, и разочарование становилось повсеместным. Кто теперь мог надеяться прожить жизнь так, как это было принято у среднего класса раньше: солдатом, священником,

биржевым маклером, колониальным чиновником и т. п.? Какие ценности из тех, в которые свято верили наши деды, можно было теперь принимать всерьез? Патриотизм, религия, империя, семья, святыня брака, чинная солидарность, продолжение рода, воспитание, честь, дисциплина – теперь каждый в мгновение ока мог поставить все это под сомнение. Но к чему приходишь, отвергнув такие непреложности, как патриотизм и религия? Ведь потребность *верить* во что-то все равно не исчезает. Несколькими годами ранее уже забрезжила ложная заря – тогда многие молодые интеллектуалы, в том числе и очень одаренные писатели (Ивлин Во, Кристофер Холлис и другие), потянулись в лоно католической церкви. Показательно, что именно римско-католической церкви, а не англиканской, православной, не в протестантские секты. Их манила церковь, обладающая во всем мире своими организациями, дисциплиной, властью и авторитетом. Обратите внимание, что единственный из новообращенных, кто наделен поистине крупным талантом, Элиот, избрал не римскую, а англокатолическую церковь, этот религиозный аналог троцкизма. Не думаю, что нужно и дальше отыскивать причину притягательного воздействия коммунистической партии на молодых писателей 30-х годов. Эта идея была из тех, в которые можно верить. Вот оно, все сразу – и церковь, и армия, и ортодоксия, и дисциплина. Вот она, Отчизна, а – года с 35-го – еще и Вождь. Вся преданность, все предубеждения, от которых интеллект как будто отрекся, смогли занять прежнее место, лишь чуточку изменив облик. Патриотизм, религия, империя, боевая слава – все в одном слове: Россия. Отец, властелин, вождь, герой, спаситель – все в одном слове: Сталин. Бог – Сталин, Дьявол – Гитлер. Рай – Москва, Ад – Берлин. Никаких оттенков. «Коммунизм» английского интеллектуала вполне объясним. Это патриотическое чувство личности, лишенной корней.

Но есть кое-что еще, способствовавшее культу России среди английской интеллигенции в последние годы, – спокойствие и надежность самой английской жизни. При всех социальных несправедливостях Англия остается страной, где уважают неприкосновенность личности, и подавляющее большинство англичан не испытало на себе ни насилия, ни беззакония. Выросшему в такой атмосфере совсем не просто представить, что такое деспотический режим. Едва ли не все ведущие писатели 30-х годов принадлежали к мягкотелому, при всей эмансипированности, среднему классу, они были слишком молоды в годы мировой войны, чтобы она их обогатила необходимым опытом. Для людей этого склада такие вещи, как

чистки, тайная полиция, тюрьмы, казни без суда и прочее, слишком невнятны, чтобы ужаснуться им. Они легко примиряются с тоталитаризмом, *потому что* не имеют никакого опыта, кроме либерального. Вот вам, например, отрывок из поэмы Одена «Испания» (кстати, одной из немногих достойных вещей, посвященных испанской войне):

> Назавтра – юношам, как бомба, взрыв стихов,
> Прогулки у озера и единенье душ,
> И гонки велосипедов
> На городских окраинах. Сегодня же борьба.
> Мы добровольно повышаем шансы смерти,
> Принимаем вину в неизбежных убийствах;
> Сегодня – трата сил
> На однодневки брошюр и на выступленья[87].

Вторая строфа содержит краткую формулу поведения преданного члена партии. С утра – пара политических убийств, десятиминутный перерыв, чтобы подавить «буржуазные» угрызения совести, обед на скорую руку, заполненный делами остаток дня, и под вечер – надо писать мелом лозунги на стенах, надо раздавать листовки. Весьма возвышенные занятия. Но обратите внимание на то, что шансы смерти «мы добровольно повышаем». Так мог написать только человек, для которого убийство – фигура речи, и не более. Лично я не мог бы бросаться такими словами с легкостью. Мне довелось во множестве повидать убитых – не погибших в бою, а именно жертв убийства. И у меня есть кое-какое представление о том, что означает убийство, – это ужас, ненависть, рыдания родственников, вскрытие, кровь, зловоние. Для меня убийство – нечто такое, чего допускать нельзя. Как и для любого нормального человека. Гитлеры и сталины считают убийство необходимостью, но и они не похваляются своей задубелостью, не говорят впрямую, что готовы убивать: появляются «ликвидация», «устранение» и прочие успокоительные эвфемизмы. Аморальность, демонстрируемая Оденом, возможна лишь при том условии, что в момент, когда спускается курок, такой аморалист находится в другом месте. Интеллектуальная левизна – своего рода заигрывание с огнем в неведении, что он обжигает. Воинственный пыл английской интеллигенции в 1935–1939 годах распалялся во многом от ощущения личной безопасности. Совсем не так рассуждали французы, которым не столь легко уклониться от военной службы, поскольку даже их литераторам известно, как тяжел солдатский ранец.

Новая книга Сирила Конолли «Враги надежды» заканчивается интересным и характерным рассуждением. Первая часть книги содержит более или менее основательную оценку сегодняшней литературы. Конолли принадлежит как раз к писателям «движения», чьи ценности, за некоторыми вычетами, – и его ценности. Любопытно, что среди прозаиков его восхищение вызывают в основном те, кто специализируется на насилии, – суровость американской школы, Хемингуэй и т. п. Однако дальше книга становится автобиографичной, и в ней с удивительной точностью изображается жизнь частной приготовительной школы. А также Итона в 1910—1920-е годы. В заключение Конолли пишет: «Если обобщить чувства, с которыми я покидал Итон, то их можно назвать «теорией вечной юности». По этой теории опыт, приобретаемый мальчиками в крупных частных школах, настолько насыщен, что он подчиняет себе всю их жизнь, задерживая всякое развитие».

Прочитав эту фразу, испытываешь естественное желание найти опечатку. Тут, наверное, пропущено «не», ведь так? Да нет, решительно нет! Он именно это и хотел сказать! Более того, он говорит правду, хотя и вывернутую наизнанку. Жизнь «культурного» среднего класса до того изнежена, что обучение в частной школе, эти пять лет барахтанья в анемичном снобизме, и впрямь воспринимаются как полное событий время. Что другое выпало испытать писателям, о которых заговорили в 30-е годы, помимо описанного Конолли во «Врагах надежды»? Одно и то же в неизменной последовательности: частная школа, университет, несколько поездок за границу, Лондон. А вот голод, невзгоды, одиночество, изгнание, война, тюрьма, преследование, тяжкий труд – это для них неведомые понятия. Неудивительно, что многочисленное племя, известное как «правильные левые», с такой легкостью принимает все чистки, ОГПУ и кошмары русских пятилеток. Они были фантастически не способны понять, что все это значит.

К 1937 году вся интеллигенция вовлеклась в идейные распри. Левая мысль сузилась до антифашизма, то есть до отрицания, и обрушился поток пропитанной ненавистью литературы, которая обличала Германию и политиков, заподозренных в расположении к ней. В испанской войне меня больше всего ужаснуло не насилие, свидетелем которого я стал, даже не партийные междоусобицы за спиной у сражающихся, а мгновенно возродившаяся среди левых кругов атмосфера, которая господствовала в годы мировой войны. Те самые люди, которые двадцать лет подряд насмехались над военной истерией, демонстрируя, насколько они выше ее, первыми ринулись

возрождать духовное исступление 1915 года. Весь привычный идиотизм военного времени – шпиономания, подозрительность к неблагонадежным (присмотримся, да вправду ли он антифашист), лавина жутких историй про жестокости – все снова вошло в моду, будто и не минуло двадцатилетие. Еще до завершения войны в Испании, даже до Мюнхена, лучшие из «левых» писателей начали терзаться сомнением. Ни Оден, ни даже Спендер не написали об Испании так, как от них ожидалось. С тех пор настроение изменилось, наступило время тревоги и растерянности. Ибо развитие событий сделало левую ортодоксию последних нескольких лет нелепостью. Но разве нужно было обладать большой проницательностью, чтобы разглядеть ее нелепость с самого начала? Поэтому нет никакой уверенности, что новая ортодоксия окажется лучше, чем только что похороненная.

Вся история литературы 30-х годов подтверждает, что писатель, сторонящийся политики, поступает правильно. Ведь всякий писатель, принимающий хоть целиком, хоть частично дисциплину, навязываемую членством в политической партии, рано или поздно оказывается перед альтернативой: нарушить строй или прикусить язык. Можно, конечно, продолжать писать, даже нарушив строй: это в каком-то смысле естественно. Любой марксист сумеет без малейшего труда доказать, что буржуазная свобода мысли – не более чем иллюзия. Но, сколь ни стройны его доводы, останется психологическая *реальность,* заключающаяся в том, что без этой буржуазной свободы творческие силы иссякают. В будущем может появиться тоталитарная литература, но это будет что-то такое, чего мы сейчас не в состоянии даже представить. Литература, которую мы знаем, – явление, в котором важнее всего индивидуальность, она требует честности и минимума цензуры. Для прозы это еще справедливее, чем для поэзии. Думаю, не простая случайность, что лучшие мастера слова в 30-е годы были поэтами. Атмосфера ортодоксальности всегда пагубна для прозы и уж совершенно нетерпима для романа – наиболее анархичной литературной формы. Много ли католиков были хорошими романистами? Даже горсточка тех, кто заслуживает такого названия, хорошими католиками обычно не бывали. Искусство романа – это, по сути дела, протестантское искусство, оно продукт вольного ума, независимой личности. За последние полтора века ни одно десятилетие не оказалось так скудно на художественную прозу, как 30-е годы. Были хорошие поэмы, удачные социологические исследования, блестящие статьи, но только не достойная восхищения художественная проза. Начиная с 1933 года духовный климат все менее благоприятствовал ей. Любой человек, способный распознать

Zeitgeist[88], вовлекался в политику. Не всякий, разумеется, участвовал в политических комбинациях, но практически все были так или иначе к ним причастны, становясь действующими лицами пропагандистских кампаний и втягиваясь в мелочную перепалку. Коммунисты и сочувствующие им обладали непропорционально большим влиянием в литературных журналах. Наступило время ярлыков, лозунгов и тактических демаршей. В худшие моменты приходилось забиваться в угол и лгать без зазрения совести, в лучшие – добровольно подвергать себя самоцензуре. («Надо ли это говорить? Прозвучит ли это профашистски?») Разве можно вообразить, чтобы в такой атмосфере родился хороший роман? Хорошие романы пишутся не ортодоксами, которыми владеет подозрительность, и не теми, кто испытывает угрызения совести по поводу своей неортодоксальности. Хорошие романы пишут люди, над которыми не властвует *страх*. Тут самое время вернуться к Генри Миллеру.

III

Сейчас не до новых литературных школ, иначе от Генри Миллера пошла бы очередная школа. Во всяком случае, от его прикосновения маятник качнулся в неожиданную сторону. Читающий его книги перестает ощущать себя «политическим животным», возвращаясь не только к индивидуалистическим, но и к совершенно пассивным настроениям, присущим тем, кто не видит возможности влиять на мировые процессы и не испытывает особенного желания осуществлять над ними контроль.

Я впервые встретился с Миллером в конце 1936 года, когда проезжал Париж по дороге в Испанию. Более всего меня озадачило в нем то, что он не испытывал никакого интереса к испанской войне. Не стесняясь сильных выражений, он заявил, что ехать сейчас в Испанию – это безумство. Еще понятно, продолжал он, когда туда стремятся из чисто эгоистических побуждений, движимые, например, любопытством, но ввязываться во все это из *чувства долга* – отъявленная глупость. Все мои идеи насчет борьбы с фашизмом, защиты демократии и т. п. – сущий вздор. Наша цивилизация неминуемо будет сметена с лица земли, а на ее место придет что-то абсолютно невообразимое, лежащее за пределами человеческого, – такая перспектива, добавил он, его не тревожит. Это отношение повсюду заметно и в его творчестве. Там то и дело распознается предощущение близости катаклизма и так же сильно чувствуется безразличие автора к этому. Единственное его политическое заявление, о котором мне

известно, носит чисто негативный характер. Примерно год назад американский журнал «Марксист квотерли» разослал ряду американских писателей анкету с вопросом об их отношении к войне. Ответ Миллера пропитан крайним пацифизмом: лично он воевать отказывается, хотя никого не станет убеждать, что прав, – по сути дела, декларация безответственности.

Однако безответственность по-разному проявляется. Как правило, писатели, которым не хочется, чтобы их поглотил развертывающийся у них на глазах исторический процесс, либо просто игнорируют его, либо ему противостоят. Те, которым удается игнорировать, скорее всего из породы слабоумных. Тем, кто в нем достаточно хорошо разбирается, чтобы противостоять, незачем растолковывать неизбежность их поражения. Взять хотя бы стихотворение «Заблудившийся бражник», где вышучивается «странный недуг современной жизни». А в последней строфе блестяще обосновывается благо поражения. Тут выражена укоренившаяся – а в последнее столетие, возможно, доминирующая в литературе – точка зрения. А по другую сторону стоят «прогрессивно настроенные» оптимисты вроде Шоу или Уэллса, всегда готовые отстаивать собственные прожекты, принимаемые ими за вполне осуществимое будущее. В большинстве писатели 20-х годов принадлежали к первой категории, а писатели 30-х – ко второй. Разумеется, в любой период найдется многочисленное племя всяких Барри, Дипингов и Деллов, которые попросту не замечают, что творится вокруг них. Творчество Миллера симптоматично тем, что он отвергает все обозначенные мной позиции. Он не старается ни двигать мир вперед, ни тянуть его вспять и уж никак не довольствуется игнорированием происходящего вокруг. Я бы сказал, что его вера в надвигающийся крах западной цивилизации гораздо тверже, чем у большинства революционных писателей; но призвания предпринять какие-то действия, чтобы этому воспрепятствовать, он не чувствует. Он продолжает наигрывать на скрипке, когда Рим объят пламенем, но в отличие от громадного большинства людей он при этом не отворачивается от пожара.

В «Максе и белых фагоцитах» есть выразительный пассаж, где писатель многое открывает о себе самом, повествуя о других. В книгу включен длинный пассаж о дневниках Анаис Нин, которых я никогда не читал, не считая нескольких фрагментов, и которые, кажется, вообще не публиковались. Миллер утверждает, что это единственный правдивый образец женской литературы, что бы под ней ни подразумевать. Интересен тот отрывок, где он сравнивает Анаис Нин – безусловно, крайне субъективного, погруженного в себя автора – с Ионой, проглоченным китом.

Попутно Миллер ссылается на эссе о картине Эль Греко «Сон Филиппа II», написанное Олдосом Хаксли несколько лет назад. Хаксли замечает, что персонажи эльгрековских полотен всегда выглядят так, будто их проглотил кит; на взгляд Хаксли, сама мысль об этой «переваривающей тюрьме» должна вызывать какое-то особенное содрогание. Миллер пишет, что, напротив, есть вещи намного хуже, чем чрево кита, и дает понять, что ему самому мысль о пребывании в этом чреве представляется довольно-таки привлекательной. За этим стоит весьма распространенное заблуждение. Все, во всяком случае, те, для кого родным языком является английский, в один голос говорят об Ионе и *ките.* На самом деле проглотившее Иону существо было рыбой, ибо именно так его именует Библия, однако детям оно представляется китом, и эта ошибка остается на всю жизнь – признак той зачарованности, которой, видимо, поддается наше воображение, прикоснувшись к мифу об Ионе. Очевидно ведь, что во чреве кита удобно и уютно, как дома. Исторический Иона, если можно о нем говорить, был рад, когда ему удалось выбраться из чрева, однако в воображении несчетного числа людей живет зависть к нему. И очень понятно почему. Брюхо кита – как просторная материнская утроба, в которой может укрыться взрослый человек. Здесь, в темноте, ему мягко и покойно, между ним и действительностью – толстый слой ворвани, и поэтому можно сохранять полнейшее безразличие, *что бы ни происходило* на свете. Пусть снаружи бушует ураган, разбивающий в щепки все линкоры мира, – сюда донесется лишь слабое эхо. Даже движения самого кита для пребывающего внутри останутся едва ощутимыми. Нежится ли он среди волн или устремляется в темную пучину моря (на глубину в целую милю, как утверждает Герман Мелвилл) – разница неощутима. Последняя, непревзойденная степень безответственности, дальше которой – только смерть. Не знаю, как Анаис Нин, но сам Миллер, безусловно, обосновался во чреве кита. Все лучшее, наиболее для него характерное написано с позиции Ионы, добровольно избравшего свою участь. И он вовсе не погружен в себя – как раз наоборот. Проглотивший его кит совершенно прозрачен. Просто обитатель китовой утробы не испытывает желания ни что-то менять в своем положении, ни как-то им управлять. Он совершил главный поступок – став Ионой, он дал проглотить себя, оставаясь безучастным, *приемля.*

Последствия такого выбора ясны. Итогом становится своеобразный квиетизм, подразумевающий либо полное неверие, либо глубокую веру, граничащую с мистицизмом. «Мне на все наплевать» или «Пусть он убьет меня – я все равно верю в него» –

разница невелика, а с практической точки зрения ее и вовсе не существует, поскольку мораль остается той же – «сиди и не высовывайся». Но разве в наше время такую позицию можно оправдать? Красноречив сам факт, что этот вопрос возникает непременно. Мы сейчас считаем само собой разумеющимся, что книги должны быть позитивными, серьезными, конструктивными. Лет двенадцать назад эта мысль вызвала бы одни насмешки: «Дорогая тетушка, пишут не *о чем-то, а просто так».* Потом от легкомысленного представления, что искусство есть чистая стилистика, маятник качнулся в противоположную сторону, но уже слишком резко, и теперь утверждают, что «хороша» лишь книга, основывающаяся на «правильном» восприятии жизни. Естественно, что люди, верящие в это, верят и в то, что сами они обладают истиной. Критики-католики склонны, к примеру, заявлять, что «хороши» только книги с католической направленностью. Критики-марксисты утверждают то же самое, только понапористее, о марксистских книгах. Вот что пишет, например, Эдвард Апуорд (статья «Марксистская интерпретация литературы» в книге «Скованный разум»): «Марксистская критика, намеренная оставаться марксистской, должна… твердо заявить, что ни одна книга, написанная *в настоящее время,* не может быть хорошей, если она не написана с марксистских или близких к марксизму позиций».

Такие же или схожие заявления делают и другие писатели. Апуорд подчеркивает слова «в настоящее время», понимая, что нельзя отвергать, скажем, «Гамлета» на том основании, что Шекспир не был марксистом. Однако в его любопытном эссе эта трудность затрагивается лишь походя. Большая часть литературы, доставшейся нам от прошлого, пронизана верой, зиждется на вере (например, в бессмертие души), которая теперь представляется нам ложной, а иногда и невероятно плоской. И все же это «хорошая» литература, коль скоро она выдержала испытание временем. Апуорд, несомненно, возразил бы, что вера, много веков назад соответствовавшая своей эпохе, может устаревать и превращаться в обременительный анахронизм. Но это не продвинет нас далеко вперед, потому что тогда выходит, что в любую эпоху должен существовать определенный набор представлений, который с сегодняшней точки зрения стоит ближе всего к истине, и что лучшая литература каждой эпохи должна до той или иной степени гармонировать с этими представлениями. На самом же деле такой гармонии не было и нет. Скажем, в Англии XVII века существовал религиозно-политический раскол, весьма и весьма схожий с сегодняшним антагонизмом между левыми и правыми. Наш современник наверняка сочтет, что

буржуазно-пуританская точка зрения была гораздо ближе к правде, чем феодально-католическая. Но не означает же это, что все или по крайней мере большинство лучших писателей того времени были пуританами. Более того, бывают «хорошие» писатели, чье мировоззрение в *любую* эпоху было бы признано ложным и смехотворным. Возьмем Эдгара Аллана По. Доброжелатель назвал его приверженцем безудержного романтизма, противник – безумцем почти в буквальном, клиническом смысле этого слова. Почему же тогда такие рассказы, как «Черный кот», «Сердце-обличитель», «Падение дома Эшеров», автора которых вполне можно было бы заподозрить в ненормальности, не создают впечатления фальши? Дело в том, что они правдивы в рамках своего причудливого мира, подчинены его правилам, подобно тому как правдива, допустим, японская живопись. Но для того, чтобы сделать такой мир убедительным, в него надо верить. Достаточно сравнить рассказы По с «Полночью» Джулиана Грина, где попытка создать такую же атмосферу, по-моему, остается искусственной; все различие обнаруживается незамедлительно. Читая «Полночь», сразу чувствуешь, что происходящее лишено каких бы то ни было причин. Все подчинено произволу автора, но ни о какой эмоциональной обоснованности нет и речи. Но этого как раз *никогда* не скажешь о По. Его маниакальная логика, при всей ее причудливости, весьма убедительна. Когда, например, пьяница хватает черного кота за шиворот и перочинным ножом лишает его глаза, у читателя не возникает сомнений, *отчего* это происходит, причем до такой степени, что, кажется, он и сам сделал бы то же самое. Наверное, для настоящего творца владение истиной не так важно, как искренность чувств. Даже Апуорд не стал бы утверждать, что писателю не нужно ничего, кроме марксистской подготовки. Нужен еще и талант. А талант, несомненно, определяется способностью *переживать,* по-настоящему *верить,* в чем бы ни заключалась вера – истинная или ложная. Отличие Селина от Ивлина Во, например, заключается в разном эмоциональном накале. Так подлинное отчаяние отличается от отчаяния с изрядной долей обыкновенного притворства. Отсюда следует еще один вывод, который может показаться уже не столь очевидным: случается, что «ложные» убеждения по своей искренности превосходят «праведные».

Если обратиться к воспоминаниям о войне 1914–1918 годов, то нетрудно заметить, что почти все, что можно читать и по сей день, проникнуто пассивностью и отрицанием. Запечатлены полнейшая бессмыслица, кошмар, разыгрывающийся в пустоте. Правдой о войне это не назовешь, но это правда личного

впечатления от нее. Солдат, ползущий на пулеметный огонь или сидевший по пояс в воде в затопленной траншее, знал лишь одно: с ним происходит что-то ужасное, чему противиться он бессилен. Из этого чувства беспомощности и непонимания хорошая книга родится скорее, чем из претенциозного убеждения, будто человеку ведомо все происходящее и даже его последствия. Что касается книг, созданных непосредственно в ходе войны, то лучшие из них принадлежат перу тех, кто попросту отвернулся от всего, стараясь не замечать, что идет война. Э. М. Форстер пишет, что, читая в 1917 году «Пруфрока» и другие ранние стихи Элиота, был ободрен тем, что в такое время ему попались стихи, «свободные от всего, поглощавшего внимание общества»: «В них говорилось об отвращении и неуверенности, переживаемых вот этим человеком, о слабых, несовершенных и оттого живых людях… Это был протест, негромогласный, но подлинный именно из-за своей слабости… Тот, кто сумел, как бы позабыв обо всем, сетовать на повадки дам в гостиных, сберег в себе крупицу самоуважения, он сохранил то, что принадлежит всему человечеству».

Хорошо сказано. В своей книге, к которой я уже обращался, Макнис цитирует это место и довольно самоуверенно продолжает: «Спустя десять лет поэты протестовали уже не столь негромогласно, а принадлежащее человечеству охраняли по-другому… Созерцание мира, от которого остались одни обломки, приелось, и преемники Элиота стремились собрать его воедино».

Подобные замечания рассыпаны по всей книге Макниса. Он пытается убедить нас, что «преемники» Элиота (то есть сам Макнис и его друзья) «протестовали» с большей результативностью, чем Элиот в его «Пруфроке», появившемся в тот момент, когда армии союзников штурмовали линию Гинденбурга. Не знаю уж, где искать свидетельства эффекта, который возымели эти «протесты». Но контраст между замечаниями Форстера и Макниса вбирает в себя все различие между человеком, который знает, чем была та война, и тем, кто едва помнит ее. Правда состоит в том, что в 1917 году думающий, чувствующий человек не мог сделать ничего, кроме как оставаться, насколько возможно, человеком. И жесты, свидетельствующие о беспомощности, даже о беспечности, помогали этому всего лучше. Если бы я был солдатом на мировой войне, я предпочел бы «Пруфрока» «Первым ста тысячам» или «Письмам к парням в окопах» Горацио Боттомли. У меня, как и у Форстера, было бы такое чувство, что, именно оставаясь в стороне и не порывая с предвоенной жизнью, Элиот сохраняет принадлежащее человечеству. Каким облегчением было бы в

такое время прочесть о треволнениях стареющего интеллектуала, у которого наметилась плешина на макушке! После муштры с примкнутыми штыками, после бомб, продуктовых очередей, вербовочных плакатов – человеческий голос! Что за облегчение!

Но если на то пошло, война 1914–1918 годов была всего лишь кульминацией практически непрерывного кризиса. Сегодня нам и без войны дано ощутить распад общества и растущую беспомощность тех, кто сохранил человеческое достоинство. Поэтому дух пассивности и неучастия, которым проникнуто творчество Генри Миллера, кажется мне оправданным. Независимо от того, отражает ли он, что людям *следует* чувствовать, он, вероятно, близок к тому, что они чувствуют *в действительности.* Опять человеческий голос, который дошел до нас сквозь разрывы бомб, дружелюбный голос американца, «свободный от всего, поглощающего внимание общества». Никаких назиданий, одна субъективная правда. Скорее всего лишь так и можно даже сейчас написать хороший роман. Такой роман не обязательно будет поучительным, но это будет достойное и запоминающееся чтение.

Пока я писал это эссе, в Европе вновь разразилась война. Либо она растянется на несколько лет и не оставит от западной цивилизации камня на камне, либо прервется, не принеся определенного результата и угрожая новой войной, которая покончит со всеми раз и навсегда. Но война – всего лишь «мир более сильными средствами». Совершенно очевидно, что на наших глазах независимо от войны рушится «снисходительный капитализм» и вся либерально-христианская культура. До последнего времени последствия этого явления трудно было предвидеть, поскольку все воображали, что социализм сохранит и даже упрочит либеральную атмосферу. Теперь же растет осознание того, насколько ошибочны были эти представления. Почти несомненно, что мы вступаем в эру тоталитарных диктатур, в эпоху, когда свободная мысль сначала станет смертельным грехом, а потом – бессмысленной абстракцией. Независимая личность будет насильственно лишена прав на существование. А это означает, что литература в том виде, как мы ее знаем, обречена – по крайней мере, на время. Либеральной литературе приходит конец, а тоталитарная литература еще не возникла, да и вряд ли ее можно себе вообразить. Что до писателя, то он восседает на тающей льдине; он не более чем анахронизм, пережиток буржуазной эпохи, приговоренный, как гиппопотам, к неминуемому вымиранию. Миллер представляется мне незаурядным человеком в том смысле, что он разглядел и провозгласил эту неминуемость задолго до своих современников,

более того – во времена, когда многие трубили о возрождении культуры. Несколькими годами ранее Уиндхэм Льюис сказал, что история английского языка в главных разделах уже написана, но он объяснил это другими, довольно тривиальными причинами. Отныне же фундаментальным обстоятельством для писателя становится тот факт, что этот мир создан не для писателей. Это не значит, что писателю не дано помогать становлению нового общества, только делать это он будет *не как писатель.* Ведь *как писатель* он остается либералом, а происходит не что иное, как крушение либерализма. И вероятно, что в годы, еще оставшиеся для свободной речи, всякий достойный внимания роман так или иначе будет создаваться в духе Миллера, – я подразумеваю не стилистику, не темы, а мироощущение автора. Предстоит возврат к пассивному созерцанию, только пассивность эта будет более осознанной, чем прежде. Прогресс, реакция – то и другое оказалось сплошным надувательством. И не остается, наверное, ничего, кроме квиетизма – способа защититься от кошмарной реальности простым подчинением ей. Забирайтесь во чрево кита – или признайте, что вы и так в нем находитесь (ведь так оно *и есть)*. Отдайтесь на волю процессов, происходящих в мире, откажитесь от борьбы с ними или от притворной уверенности, что они вам подвластны; просто примите их, живите ими и запечатлевайте. Такова, видимо, формула, которой отныне будет следовать всякий чуткий к окружающему миру романист. Очень трудно вообразить сегодня более позитивный, конструктивный роман, при этом создающий ощущение эмоциональной подлинности.

Не хочу ли я этим сказать, что Миллер великий писатель, новая надежда англоязычной прозы? Вовсе нет. Сам Миллер никогда бы не притязал на подобный статус, даже не желал бы его. В том, что он будет писать впредь, сомнений нет: тот, кто начал писать, бросить перо уже бессилен, а кроме того, ему близки немало писателей примерно того же направления: Лоуренс Даррелл, Майкл Френкел и другие – вот-вот можно будет заговорить о «школе». Сам же Миллер представляется мне писателем одной книги. Думаю, рано или поздно он докатится до полной невнятицы или шарлатанства – в последнее время я вижу у него признаки и того и другого. Его последнюю книгу «Тропик Козерога» я даже не прочел. Не потому, что не захотел, а потому, что полиции и таможне пока удается охранить меня от нее. Но я удивлюсь, если она окажется под стать «Тропику Рака» или первым главам «Черной весны». Подобно многим другим романистам, пишущим на автобиографическом материале, ему было предназначено создать одну хорошую книгу, что и сделано.

Памятуя, какой была проза 30-х годов, это что-то да значит.

Книги Миллера печатает издательство «Обелиск Пресс» в Париже. Что станет с издательством теперь, когда идет война и его главы Джека Катейна уже нет в живых, я не знаю, но книги, во всяком случае, раздобыть пока что можно. Я искренне советую тем, кто их еще не знает, прочесть хотя бы «Тропик Рака». Проявив изобретательность или чуть-чуть переплатив, вы сможете им обзавестись; и даже если какие-то места вызовут у вас отвращение, книга останется у вас в памяти. Это значительная книга, но не в том смысле, в каком обычно употребляют это слово. Как правило, романы называют значительными, если они содержат «страшные обвинения» или новые приемы письма. К «Тропику Рака» не применимо ни то ни другое. Его значительность – в том, что этот роман – симптом времени. Миллер, по-моему, единственный сколько-нибудь крупный, наделенный воображением прозаик из всех, кого дали в последние годы миру народы, говорящие по-английски. Даже если мне возразят, что я переоцениваю его, нельзя не признать, что Миллер неординарный писатель, достойный серьезного внимания; вообще же это совершенно негативный, неконструктивный, аморальный писатель, современный Иона, пассивно приемлющий зло, этакий Уитмен, прогуливающийся среди трупов. И одно это куда важнее, чем то обстоятельство, что в Англии выпускается по пять тысяч романов в год, из которых 4900 ровным счетом ничего не стоят. Это свидетельство того, что настоящая литература *не может* существовать, пока корчащийся в муках мир не примет нового обличья.

1940

Моя страна, правая она или левая [89]

Вопреки распространенному мнению, прошлое не богаче событиями, чем настоящее. А впечатление такое создается потому, что когда оглядываешься на события, разделенные годами, они сдвигаются, и потому что очень немногие твои воспоминания приходят к тебе в девственном виде. В основном из-за этого кажется, что книгам, фильмам и мемуарам, вышедшим в период между войной 1914–1918 годов и нынешним днем, свойственна некая грандиозная эпичность, которой лишено настоящее.

Но если вы жили во время той войны и если вы очистите свои подлинные воспоминания от позднейших наростов, окажется, что волновали вас в то время чаще всего не какие-то крупные события. Не верю, например, что битва на Марне воспринималась в таких мелодраматических тонах, которыми окрасилась потом. Насколько помню, саму фразу «битва на Марне» я услышал лишь много лет спустя. Просто немецкие войска стояли в тридцати пяти километрах от Парижа – и это было страшно, особенно после рассказов о зверствах в Бельгии, – а потом почему-то отступили. Когда началась война, мне было одиннадцать лет. Если я честно переберу мои воспоминания и отброшу то, что узнал позже, то должен буду признаться, что ни одно из событий войны не тронуло меня так глубоко, как гибель «Титаника» за несколько лет до этого. Сравнительно мелкая катастрофа потрясла весь мир, и потрясение это до сих пор не совсем забылось. Я помню ужасные, подробные отчеты, читавшиеся за завтраком (в те дни было принято читать газету вслух). И помню, что из всех ужасов больше всего меня поразило то, что под конец «Титаник» вдруг встал торчком и ушел носом вниз, так что люди, собравшиеся на корме, были подняты на тридцать с лишним метров вверх, прежде чем погрузиться в бездну. У меня что-то опускалось в животе, и даже сейчас я это почти ощущаю. В связи с войной такого ощущения я не испытывал.

От начала войны у меня осталось три ярких воспоминания – мелкие и несущественные, они не преображены тем, что я узнал позже. Одно из них – карикатура на германского императора (ненавистное имя «кайзер» еще не приобрело такого хождения), появившаяся в конце июля. Люди были слегка шокированы таким глумлением над августейшей особой («и мужчина интересный!»), хотя мы стояли на пороге войны. Другое – о том, как в нашем городке армия реквизировала всех лошадей, и извозчик плакал на рыночной площади, когда у него уводили лошадь, служившую

ему много лет. И еще одно – о толпе молодых людей на железнодорожной станции, бросившихся за вечерними газетами, которые только что прибыли с лондонским поездом. Помню кипу горохового цвета газет (некоторые тогда еще были зелеными), стоячие воротнички, узкие брюки и котелки – помню гораздо лучше, чем названия грандиозных битв на французской границе.

Из середины войны мне запомнились больше всего квадратные плечи, выпуклые икры и звенящие шпоры артиллеристов, чья форма мне нравилась гораздо больше пехотной. А из заключительного периода – если меня попросят честно сказать о главном воспоминании, – отвечу просто: маргарин. Это пример жуткого детского эгоизма: к 1917 году война почти уже не затрагивала нас, кроме как через желудок. В школьной библиотеке висела огромная карта Западного фронта, и на ней зигзагом на канцелярских кнопках тянулась красная шелковая нить. Иногда нить сдвигалась на сантиметр в ту или другую сторону, каждое перемещение означало гору трупов. Я не обращал внимания. Я учился в школе среди мальчиков, развитых выше среднего, и, однако, не помню, чтобы хоть одно крупное событие того времени было воспринято нами в его истинном значении. Русская революция, например, ни на кого не произвела впечатления, кроме тех немногих, чьи родители вкладывали деньги в России. Среди самых юных пацифистская реакция возникла задолго до конца войны. Расхлябанное поведение на парадах Корпуса офицерской подготовки и отсутствие интереса к войне считались признаком просвещенности. Молодые офицеры, приезжавшие с фронта, закаленные ужасными испытаниями, возмущались таким отношением молодежи, для которой их опыт ничего не значил, и отчитывали нас за мягкотелость. И конечно, ни одного их довода мы не способны были понять. Они могли только рявкать: война – «хорошее дело», она «закаляет», «делает мужчиной» и т. д., и т. п. Мы только хихикали. Пацифизм наш был близорукий, такой распространен в защищенных странах с сильным флотом. Многие годы после войны интересоваться военными вопросами, разбираться в них и даже знать, из какого конца винтовки вылетает пуля, считалось подозрительным в «просвещенных» кругах. Мировую войну списали со счетов как бессмысленную бойню, а погибших в этой бойне вдобавок еще считали виноватыми. Я часто смеялся, вспоминая патриотический плакат вербовщиков: «Что ты сделал на Великой войне, папа?» (спрашивает ребенок у пристыженного отца), и о людях, клюнувших на эту приманку, а впоследствии презираемых собственными детьми за то, что не отказались по «этическим соображениям».

Но мертвые, в конце концов, взяли реванш. Когда война ушла в прошлое, мое поколение, которое было «слишком молодо», стало осознавать, какого колоссального опыта оно лишилось. Пять лет, с 1922 по 1927-й, я провел в основном среди людей чуть старше меня – прошедших войну. Они говорили о ней беспрестанно, с отвращением, конечно, но и с постепенно возраставшей ностальгией. Эту ностальгию ты прекрасно чувствуешь в английских книгах о войне. Кроме того, пацифистская реакция была лишь фазой, и даже «слишком молодых» всех обучали для войны. Большинство среднего класса обучают для войны с колыбели, не технически, а морально. Первый политический лозунг, который я помню, – «Нам нужны восемь (восемь дредноутов), и мы не будем ждать». В семь лет я был членом Морской лиги и носил матросский костюмчик с надписью «Неуязвимый» на фуражке. В моей закрытой школе еще до Корпуса офицерской подготовки я состоял в кадетском корпусе. С десятилетнего возраста я периодически носил винтовку, готовясь не просто к войне, но к войне особого рода, где гром пушек достигает чудовищного оргазма, и в назначенную минуту ты вылезаешь из окопа, обламывая ногти о мешки с песком, и, спотыкаясь, бежишь по грязи, на колючую проволоку, сквозь пулеметный огонь. Убежден, люди приблизительно моих лет были так зачарованы гражданской войной в Испании отчасти потому, что она очень напоминала мировую войну. Франко иногда удавалось наскрести достаточно самолетов, чтобы довести войну до современного уровня, и это были переломные моменты. В остальном она была скверной копией позиционной траншейной войны 1914–1918 годов, с артиллерией, вылазками, снайперами, грязью, колючей проволокой, вшами и гнилью. В начале 1937 года тот отрезок Арагонского фронта, где я находился, был, наверное, очень похож на неподвижный сектор французского в 1915-м. Не хватало только артиллерии. Даже в тех редких случаях, когда все орудия в Уэске и окрестностях палили одновременно, их едва хватало на то, чтобы произвести прерывистый, невыразительный шум, какой бывает в конце грозы. Снаряды 150-миллиметровых пушек Франко рвались достаточно громко, но их никогда не бывало больше десятка за раз. К тому, что я испытывал, когда артиллерия начинала стрелять, как говорится, сгоряча, определенно примешивалось разочарование. Как же это отличалось от оглушительного беспрерывного грохота, которого двадцать лет ожидали мои чувства!

Не могу сказать, в каком году я впервые ясно понял, что надвигается нынешняя война. После 1936 года это было понятно уже всем, кроме идиотов. В течение нескольких лет грядущая

война была для меня кошмаром, и я даже писал брошюры и произносил речи против нее. Но в ночь накануне того, как объявили о заключении русско-германского пакта, мне приснилось, что война началась. Не знаю, как истолковали бы мой сон фрейдисты, но это был один из тех снов, которые иногда открывают тебе подлинное состояние твоих чувств. Он объяснил мне, во-первых, что я просто испытаю облегчение, когда начнется давно и с ужасом ожидаемая война, и, во-вторых, что я в душе патриот, не буду саботировать или действовать против своих, буду поддерживать войну и, если удастся, воевать. Я сошел вниз и прочел в газете сообщение о прилете Риббентропа в Москву[90]. Итак, война приближалась, и правительство, даже правительство Чемберлена, могло быть уверено в моей лояльности. Нечего и говорить, что лояльность эта была и остается всего лишь жестом. Как и почти всех моих знакомых, правительство наотрез отказалось использовать меня в каком бы то ни было качестве, даже в качестве писца или рядового. Но это не меняет моих чувств. К тому же рано или поздно ему придется нас использовать.

Если бы мне пришлось доказывать, что война нужна, думаю, что я смог бы. Реальной альтернативы между сопротивлением Гитлеру и капитуляцией перед ним нет. И как социалист я должен сказать, что лучше сопротивляться; во всяком случае, я не вижу доводов в пользу капитуляции, которые не обессмыслили бы сопротивления республиканцев в Испании, сопротивления китайцев Японии и т. д. Но не буду притворяться, будто этот вывод основан на эмоциях. Я понял тогда во сне, что долгая патриотическая муштровка, которой подвергается средний класс, свое дело сделала, и, если Англия попадет в тяжелое положение, саботаж для меня неприемлем. Только пусть не поймут меня превратно. Патриотизм не имеет ничего общего с консерватизмом. Это преданность чему-то изменяющемуся, но по какой-то таинственной причине ощущаемому как неизменное – подобно преданности бывших белогвардейцев России. Быть верным и чемберленовской Англии, и Англии завтрашнего дня, казалось бы, невозможно, но с этим сталкиваешься каждый день. Англию может спасти только революция, это ясно уже не первый год, а теперь революция началась, и возможно, что будет развиваться быстро, если только мы сможем отбросить Гитлера. За два года, может быть, и за год, если сможем продержаться, мы увидим изменения, которые удивят близоруких идиотов. Могу думать, что на улицах Лондона прольется кровь. Пусть прольется, если иначе нельзя. Но когда красное ополчение разместится в отеле «Ритц», я все равно буду чувствовать, что Англия, которую

меня так давно учили любить – и совсем за другое, – никуда не делась.

Я рос в атмосфере с душком милитаризма, а потом пять скучных лет прожил под звуки горнов. По сей день у меня возникает легкое ощущение святотатства оттого, что не встаю по стойке смирно, услышав: «Боже, храни короля». Это детство, конечно, но по мне лучше быть так воспитанным, чем уподобиться левым интеллектуалам, настолько «просвещенным», что они не могут понять самых обыкновенных чувств. Именно те люди, чье сердце ни разу не забилось при виде британского флага, отшатнутся от революции, когда придет ее пора. Сравните стихотворение Джона Корнфорда, написанное незадолго до гибели («Перед штурмом Уэски»), со стихотворением сэра Генри Ньюболта «Все затихло на площадке»[91]. Если отвлечься от технических различий, обусловленных эпохой, станет ясно, что эмоциональный заряд этих двух стихотворений почти одинаков. Молодой коммунист, который героически погиб, сражаясь в интернациональной бригаде, был чистым продуктом привилегированной закрытой школы. Он присягнул другому делу, но чувства его не изменились. Что это доказывает? Только то, что кости самодовольного консерватора могут обрасти плотью социалиста, что лояльность к одной системе может претвориться в совсем другую, что для душевной потребности в патриотизме и воинских доблестях, сколько бы ни презирали их зайцы из левых, никакой замены еще не придумано.

осень 1940 г.

Мысли в пути [92]

Читая блистательную и гнетущую книгу Малькольма Маггериджа «Тридцатые», я вспомнил, как однажды жестоко обошелся с осой. Она ела джем с блюдечка, а я ножом разрубил ее пополам. Не обратив на это внимания, она продолжала пировать, и сладкая струйка сочилась из ее рассеченного брюшка. Но вот она собралась взлететь, и только тут ей стал понятен весь ужас ее положения. То же самое происходит с современным человеком. Ему отсекли душу, а он долго – пожалуй, лет двадцать – этого просто не замечал.

Отсечь душу было совершенно необходимо. Было необходимо, чтобы человек отказался от религии в той форме, которая ее прежде отличала. Уже к девятнадцатому веку религия, по сути, стала ложью, помогавшей богатым оставаться богатыми, а бедных держать бедными. Пусть бедные довольствуются своей бедностью, ибо им воздастся за гробом, где ждет их райская жизнь, изображавшаяся так, что выходил наполовину ботанический сад Кью-гарденз, наполовину ювелирная лавка. Все мы дети Божии, только я получаю десять тысяч в год, а ты два фунта в неделю. Такой вот или сходной ложью насквозь пронизывалась жизнь в капиталистическом обществе, и ложь эту подобало выкорчевать без остатка.

Оттого и наступил долгий период, когда едва ли не каждый думающий человек становился в каком-то смысле бунтарем, а часто безрассудным бунтарем. Литература преимущественно вдохновлялась протестом и разрушением. Гиббон, Вольтер, Руссо, Шелли, Байрон, Диккенс, Стендаль, Сэмюэл Батлер, Ибсен, Золя, Флобер, Шоу, Джойс – в том или ином отношении все они изничтожают, подрывают, саботируют. Два столетия мы тем одним и занимались, что подпиливали да подпиливали сук, на котором сидим. И вот с внезапностью, мало кем предвиденной, наши старания увенчались успехом – сук рухнул, а с ним и мы сами. К несчастью, вышло маленькое недоразумение. Внизу оказалась не мурава, усыпанная лепестками роз, а выгребная яма, затянутая колючей проволокой.

Впечатление такое, словно за какой-то десяток лет мы откатились ко временам каменного века. Вдруг ожили человеческие типы, казалось бы, вымершие давным-давно: пляшущий дервиш, и разбойничий атаман, и Великий Инквизитор, – причем сегодня они отнюдь не пациенты психиатрической лечебницы, а властители мира. Видимо, нельзя жить, полагаясь исключительно на могущество машин и на

обобществленную экономику. Сами по себе они только помогают воцариться кошмару, в котором мы принуждены существовать, – этим бесконечным войнам и бесконечным лишениям из-за войн, и колючей проволоке, за которой оказались народы, обреченные на рабский труд, и лагерным баракам, куда гонят толпы исходящих криком женщин, и подвалам, где палачи расстреливают выстрелами в затылок, не слышными через обитые пробкой стены. Ампутация души – это, надо полагать, *не просто* хирургическая операция вроде удаления аппендикса. Такие раны имеют свойство гноиться.

Смысл книги Маггериджа поясняют два места из Екклесиаста: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – все суета!»; «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Теперь смысл этот стал очень близок многим, кто всего несколько лет назад высмеивал его. Мы существуем среди кошмара именно *по той причине,* что пытались создать земной рай. Мы верили в «прогресс», в то, что нами под силу руководить простым смертным, воздавали кесарям Богово – примерно так принимаются рассуждать.

Сам Маггеридж, увы, тоже не дает повода допустить, что он верит в Бога. По крайней мере исчезновение этой веры в человеке для него, очевидно, аксиома. Тут он, не приходится сомневаться, прав, а если считать действенными только санкции, исходящие свыше, ясно, что из этого следует. Нет иной мудрости, кроме страха перед Богом, однако никто не страшится Бога, а значит, никакой мудрости не существует. Человеческая история заключается лишь в подъемах и крушениях материальных цивилизаций – одна вавилонская башня вслед другой. А если так, можно с уверенностью представить, что нас ждет. Войны и снова войны, революции и контрреволюции, гитлеры и сверхгитлеры – вниз, вниз, в пропасть, куда страшно заглянуть, хотя, подозреваю, Маггеридж зачарован такой перспективой.

Прошло уж лет тридцать с той поры, как Хиллэр Беллок в своей книге «Государство рабов» на удивление точно предсказал происходящее в наши дни. К сожалению, ему нечего было предложить в качестве противоядия. У него все свелось к тому, что вместо рабства необходимо вернуться к мелкой собственности, хотя ясно, что такого возвращения не будет и что оно невозможно. Сегодня практически нет альтернативы коллективистскому обществу. Вопрос лишь в том, будет ли оно держаться силами добровольного сотрудничества или силой пулеметов. Решительно ничего не вышло из идеи Царства Божьего на земле. Как оно прежде мыслилось, но, впрочем, еще и

до того, как явился Гитлер, стало понятно, насколько далека эта идея от реального будущего, которое нас ожидает. То, к чему мы идем сейчас, имеет более всего сходства с испанской инквизицией; может, будет и еще хуже – ведь в нашем мире плюс ко всему есть радио, есть тайная полиция. Шанс избежать такого будущего ничтожен, если мы не восстановим доверие к идеалу человеческого братства, значимому и без размышлений о «грядущей жизни». Эти размышления и побуждают неискушенных людей вроде настоятеля Кентерберийского собора всерьез верить, будто Советская Россия явила образец истинного христианства. Разумеется, они пали жертвами пропаганды, однако исповедуемый марксистами «реализм» тоже не оправдался, какими бы материальными достижениями он ни располагал. Получается, что нет альтернативы, помимо той, от которой нас так заботливо предостерегают Маггеридж, Ф. А. Фойгт и думающие в сходном духе: эта альтернатива – столько раз осмеянное Царство земное, иными словами, общество, в котором люди, памятуя, что они смертны, стремятся относиться друг к другу как братья.

Значит, у них должен быть общий отец. И поэтому часто говорят, что ощущения братства у людей не будет, пока их не сплотит вера в Бога. На это можно ответить, что большинство из них полуосознанно уже прониклись таким ощущением. Человек – не особь, он лишь клеточка вечносущего организма, и смутно он это осознает. Иначе не объяснить, отчего человек готов погибнуть в бою. Нелепо утверждать, что он так поступает исключительно по принуждению. Если бы принуждать приходилось целые армии, невозможной сделалась бы любая война. Люди погибают, сражаясь из-за абстракций, именуемых честью, долгом, патриотизмом и т. д., – разумеется, не в охотку, но, во всяком случае, по собственному выбору.

Означает это лишь одно: они отдают себе отчет в существовании какой-то живой связи, которая важнее, нежели они сами, и простирается как в будущее, так и в прошлое, давая им чувство бессмертия, коль скоро они ее ощутили. «Погибших нет, коль Англия жива» – звучит высокопарной болтовней, но замените слово «Англия» любым другим по вашему предпочтению, и вы убедитесь, что тут схвачен один из главных стимулов человеческого поведения. Люди жертвуют жизнью во имя тех или иных сообществ – ради нации, народа, единоверцев, класса – и постигают, что перестали быть личностями, лишь в тот самый момент, как засвистят пули. Чувствуй они хоть немного глубже, и эта преданность сообществу стала бы преданностью самому человечеству, которое вовсе не абстракция.

«О дивный новый мир» Олдоса Хаксли был превосходным шаржем, запечатлевшим гедонистическую утопию, которая казалась достижимой, заставляя людей столь охотно обманываться собственной убежденностью, будто Царство Божие тем или иным способом должно сделаться реальностью на Земле. Но нам надлежит оставаться детьми Божиими, даже если Бог из молитвенников более не существует.

Иной раз это постигали даже те, кто старался динамитом взорвать нашу цивилизацию. Знаменитое высказывание Маркса, что «религия есть *опиум* народа», как правило, вырывают из контекста, придавая ему существенно иной, нежели вкладывал в него автор, смысл, хотя подмена едва заметна. Маркс – по крайней мере в той работе, откуда эта фраза цитируется, – не утверждал, что религия есть наркотик, распространяемый свыше; он утверждал, что религию создают сами люди, удовлетворяя свойственную им потребность, насущность которой он не отрицал. «Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира… Религия есть *опиум* народа». Разве тут сказано не о том, что человеку *невозможно* жить хлебом единым, что одной ненавистзи *недостаточно,* что мир, достойный людского рода, не может держаться «реализмом» и силой пулеметов? Если бы Маркс предвидел, как велико окажется его интеллектуальное влияние, возможно, то же самое он сказал бы еще не раз и еще яснее.

1940

Вспоминая войну в Испании [93]

I

Прежде всего о том, что запомнилось физически, – о звуках, запахах, зримом облике вещей.

Странно, что живее всего, что было потом на испанской войне, я помню неделю так называемой подготовки, перед тем как нас отправили на фронт, – громадные кавалерийские казармы в Барселоне, продуваемые ветрами денники и мощенные брусчаткой дворы, ледяная вода из колонки, где мы умывались, мерзкая еда, которую сдабривали фляжечки вина, девушки в брюках – служащие милиции, рубившие дрова под котел, переклички ранним утром и комическое впечатление, производимое моей простецкой английской фамилией рядом со звучными именами Мануэль Гонсалес, Педро Агилар, Рамон Фенелос, Роке Баластер, Хайме Доменен, Себастьян Вильтрон, Рамон Нуво Босх. Называю именно этих людей, потому что помню каждого из них. За исключением двоих, которые были просто подонками и теперь наверняка с рвением служат у фалангистов, все они, вероятно, погибли. О двоих я это знаю точно. Старшему из них было лет двадцать пять, младшему – шестнадцать.

Одно из существенных воспоминаний о войне – повсюду тебя преследующие отвратительные запахи человеческого происхождения. О сортирах слишком много сказано писавшими про войну, и я бы к этому не возвращался, если бы наш казарменный сортир не внес свою лепту в разрушение моих иллюзий насчет гражданской войны в Испании. Принятое в романских странах устройство уборной, когда надо садиться на корточки, отвратительно даже в лучшем своем исполнении, а наше отхожее место сложили из каких-то полированных камней, и было там до того скользко, что приходилось стараться изо всех сил, чтобы устоять на ногах. К тому же оно всегда оказывалось занято. Память сохранила много другого, столь же отталкивающего, но мысль, потом так часто меня изводившая, впервые мелькнула в этом вот сортире: «Мы солдаты революционной армии, мы защищаем демократию от фашизма, мы на войне, на *справедливой* войне, а нас заставляют терпеть такое скотство и унижение, словно мы в тюрьме, уж не говоря про буржуазные армии». Впоследствии было немало такого, что способствовало подобным мыслям, – скажем, тоска окопной жизни, когда нас мучили зверский голод, склоки да интриги из-за

каких-нибудь объедков, затяжные скандалы, которые вспыхивали между людьми, измученными нехваткой сна.

Сам ужас армейского существования (каждый, кто был солдатом, поймет, что я имею в виду, говоря о всегдашнем ужасе этого существования) остается в общем-то одним и тем же, на какую бы войну ты ни угодил. Дисциплина – она одинакова во всех армиях. Приказы надо выполнять, а невыполняющих наказывают; между офицером и солдатом возможны лишь отношения начальника и подчиненного. Картина войны, возникающая в таких книгах, как «На Западном фронте без перемен», в общем-то верна. Визжат пули, воняют трупы, люди, очутившись под огнем, часто пугаются настолько, что мочатся в штаны. Конечно, социальная среда, создающая ту или иную армию, сказывается на методах ее подготовки, на тактике и вообще на эффективности ее действий, а сознание правоты дела, за которое сражается солдат, способно поднять боевой дух, хотя боевитость скорее свойство гражданского населения. (Забывают, что солдат, находящийся где-то поблизости от передовой, обычно слишком голоден и запуган, слишком намерзся, а главное, чересчур изнурен, чтобы думать о политических причинах войны.) Но законы природы неотменимы и для «красной» армии, и для «белой». Вши – это вши, а бомбы – это бомбы, хоть ты и дерешься за самое справедливое дело на свете.

Зачем разъяснять вещи настолько очевидные? А затем, что и английская, и американская интеллигенция в массе своей явно не представляла их себе и не представляет по-прежнему. У людей короткая память, но оглянитесь чуток назад, полистайте старые номера «Нью массез» или «Дейли уоркер» – на вас обрушится лавина воинственной болтовни, до которой были тогда так охочи наши левые. Сколько там бессмысленных, избитых фраз! И какая невообразимая в них тупость! С каким ледяным спокойствием наблюдают из Лондона за бомбежками Мадрида! Я не имею в виду пропагандистов из правого лагеря, всех этих ланнов, гарвинов et hoc genus[94]; о них что и толковать. Но вот люди, которые двадцать лет без передышки твердили, как глупо похваляться воинской «славой», высмеивали россказни об ужасах войны, патриотические чувства, даже просто проявления мужества, – вдруг они начали писать такое, что если переменить несколько упомянутых ими имен, решишь, что это – из «Дейли мейл» образца 1918 года. Английская интеллигенция если во что и верила безоговорочно, так это в бессмысленность войны, в то, что она – только горы трупов да вонючие сортиры и что она никогда не может привести ни к чему хорошему. Но те, кто в 1933 году презрительно фыркал, услышав, что при определенных

обстоятельствах необходимо сражаться за свою страну, в 1937 году начали клеймить троцкистом и фашистом всякого, кто усомнился бы в абсолютной правдивости статей из «Нью массез», описывающих, как раненые, едва их перевязали, рвутся снова в бой. Причем метаморфоза левой интеллигенции, кричавшей, что «война – это ад», а теперь объявившей, что «война – это дело чести», не только не породила чувства несовместимости подобных лозунгов, но и свершилась без промежуточных стадий. Впоследствии левая интеллигенция по большей части столь же резко меняла свою позицию, и не один раз. Видимо, их очень много, и они составляют основной костяк интеллигенции – те, кто в 1935 году поддерживал декларацию «Корона и страна», два года спустя потребовали «твердой линии» в отношениях с Германией, еще через три присоединились к национальной конвенции, а сейчас настаивают на открытии второго фронта.

Что касается широких масс, их мнения, необычайно быстро меняющиеся в наши дни, их чувства, которые можно регулировать, как струю воды из крана, – все это результат гипнотического воздействия радио и телевидения. У интеллигентов подобные метаморфозы, я думаю, скорее вызваны заботами о личном благополучии и просто о физической безопасности. В любую минуту они могут оказаться и «за» войну, и «против» войны, ни в том, ни в другом случае отчетливо не представляя себе, что она такое. С энтузиазмом рассуждая о войне в Испании, они, разумеется, понимали, что на этой войне тоже убивают и что оказаться убитым нерадостно, однако считалось, будто солдат Республиканской армии война почему-то не обрекает на лишения. У республиканцев даже сортиры воняли не так противно, а дисциплина не была настолько суровой. Просмотрите «Нью стейтсмен», чтобы убедиться: именно так и рассуждали; да и теперь о Республиканской армии пишется все тот же вздор. Мы стали слишком цивилизованными, чтобы уразуметь самое очевидное. Меж тем истина совсем проста. Чтобы выжить, надо драться, а когда дерутся, нельзя не перепачкаться грязью. Война – зло, но часто меньшее из зол. Взявшие меч и погибают от меча, а не взявшие меча гибнут от гнусных болезней. Сам факт, что надо напоминать о таких банальностях, красноречиво говорит, до чего мы дошли за годы *паразитического* капитализма.

II

В добавление к сказанному несколько слов о жестокостях.

Я мало видел жестокостей на войне в Испании. Знаю, что они

иной раз чинились республиканцами и намного чаще (да и сегодня это продолжается) фашистами. Что меня поразило и продолжает поражать – так это привычка судить о жестокостях, веря в них или подвергая их сомнению, согласно политическим предпочтениям судящих. Все готовы поверить в жестокости, творимые врагом, и никто – в творимые армией, которой сочувствуют; факты при этом попросту не принимаются во внимание. Недавно я набросал перечень жестокостей, совершенных с 1918 года до сегодняшнего дня; оказалось, каждый год без исключения где-то совершают жестокости, и трудно припомнить, чтобы хоть раз и левые, и правые приняли на веру свидетельства об одних и тех же бесчинствах. Еще удивительнее, что в любой момент ситуация может круто перемениться, и то, что вчера еще считалось бесспорно доказанным бесчинством, превратится в нелепую клевету – лишь оттого, что иным стал политический ландшафт.

Что касается нынешней войны, ситуация необычна, поскольку наша «кампания жестокостей» была проведена еще до первых выстрелов, причем проводили ее главным образом левые, хотя при нормальных условиях они всегда твердили, что не верят в рассказы про всякие бесчинства. Правые же, которые так много шумели о жестокостях, пока шла война 1914–1918 годов, предпочли бесстрастно наблюдать происходившее в нацистской Германии, решительно не замечая в ней никакого зла. Но как только началась война, вчерашние пронацисты вовсю закричали о чудовищных ужасах, тогда как антифашистами вдруг овладели сомнения, вправду ли существует гестапо. Тут не только результат советско-германского пакта. Частично все это вызвано тем, что до войны левые ошибочно полагали, будто никогда Германия не нападет на Англию, а оттого можно высказываться и в антинемецком, и в антибританском духе; частично – тем, что официальная военная пропаганда присущими ей отвратительным лицемерием и самонадеянностью обязательно побудит умного человека проникнуться симпатией к врагу. Цена, которую мы заплатили за систематическую ложь в годы Первой мировой войны, выразилась и в чрезмерном германофильстве по ее окончании. С 1918 по 1933 год вас освистали бы в любом левом кружке, если бы вы высказались в том духе, что Германия тоже несет хотя бы долю ответственности за войну. Наслушавшись в те годы стольких желчных комментариев по поводу Версальского договора, я что-то не вспомню не то что споров, но хотя бы самого вопроса: «А что было бы, если бы победила Германия?» Точно так же обстоит дело с жестокостями. Правда сразу начинает восприниматься как ложь, если исходит от врага. Я заметил, что

люди, готовые принять на веру любой рассказ о бесчинствах, творимых японцами в Нанкине в 1937 году, не верили ни слову о бесчинствах, совершаемых в Гонконге в 1942-м. Стараются даже убедить себя, будто нанкинских жестокостей как бы и не было, просто о них теперь разглагольствует английское правительство, чтобы отвлечь внимание публики.

К сожалению, говоря о бесчинствах, сказать придется и вещи куда более горькие, чем это манипулирование фактами, становящимися материалом для пропаганды. Горько то, что бесчинства действительно имеют место. Скептицизм нередко порождается тем, что одни и те же ужасы приписываются каждой войне, но из этого прежде всего следует подтверждение истинности подобных рассказов. Конечно, в них воплощаются всякие фантазии, но лишь оттого, что война создает возможность превратить эти небылицы в реальность. Кроме того – теперь говорить это немодно, а значит, надо об этом сказать, – трудно сомневаться в том, что те, кого с допущениями можно назвать «белыми», в своих бесчинствах отличаются особой жестокостью, да и бесчинствуют больше, чем «красные». Скажем, относительно того, что творят японцы в Китае, никакие сомнения невозможны. Невозможны они и относительно рассказов о фашистских бесчинствах в Европе, совершаемых вот уже десять лет. Свидетельств накоплено великое множество, причем в значительной части они исходят от немецкой прессы и радио. Все это действительно было – вот о чем надо думать. Это было, пусть то же самое утверждает лорд Галифакс. Грабежи и резня в китайских городах, пытки в подвалах гестапо, трупы старых профессоров-евреев, брошенные в выгребную яму, пулеметы, расстреливающие беженцев на испанских дорогах, – все это было, и не меняет дела то обстоятельство, что о таких фактах вдруг вспомнила «Дейли телеграф» – с опозданием в пять лет.

III

Теперь два запомнившихся мне эпизода; первый из них ни о чем в особенности не говорит, а второй, думаю, до некоторой степени поможет понять атмосферу революционного времени.

Как-то рано утром мы с товарищем отправились в секрет, чтобы вести снайперский огонь по фашистам; дело происходило под Уэской. Их и наши окопы разделяла полоса в триста ярдов – дистанция слишком большая для наших устаревших винтовок; надо было подползти метров на сто к позициям фашистов, чтобы при удаче кого-нибудь из них подстрелить через щели в бруствере. На наше горе, нейтральная полоса проходила через

открытое свекольное поле, где негде было укрыться, кроме двух-трех канав; туда надлежало добраться затемно, а возвращаться с рассветом, пока не взошло солнце. В тот раз ни одного фашистского солдата не появилось – мы просидели слишком долго, и нас застигла заря. Сами мы сидели в канаве, а сзади – двести ярдов ровной земли, где и кролику не затаиться. Мы собрались с духом, чтобы все же попробовать броском вернуться к своим, как вдруг в фашистских окопах поднялся гвалт и загомонили свистки. Появились наши самолеты. И тут из окопа выскочил солдат, видимо, посланный с донесением командиру; он побежал, поддерживая штаны обеими руками, вдоль бруствера. Он не успел одеться и на бегу подтягивал штаны. Я не стал в него стрелять. Правда, стрелок я неважный и вряд ли со ста ярдов попал бы, да и хотелось мне одного – добежать назад, пока фашисты заняты самолетами. Но при всем том не выстрелил я главным образом из-за того, что у него были спущены штаны. Я ведь ехал сюда убивать «фашистов», а этот, натягивающий штаны, – какой он «фашист», просто парень вроде меня, и как в него выстрелить?!

О чем говорит этот случай? Да ни о чем в особенности, потому что такое все время происходит на любой войне. Второй случай – совсем другое дело. Не уверен, что смогу о нем рассказать так, чтобы вы были тронуты, но, поверьте, на меня он произвел глубочайшее впечатление и дал почувствовать моральный дух того времени.

Еще когда я проходил подготовку, как-то появился у нас в казарме жалкий мальчишка из барселонских трущоб. Он был оборван и бос. Да и кожа у него была совсем темная (видимо, примешалась арабская кровь), и жестикулировал он отчаянно, не как европейцы, – особенно запомнилась мне протянутая рука с вертикально поставленной ладонью чисто по-индейски. Как-то у меня стянули пачку дешевеньких сигар, тогда их можно было еще купить. По глупости я доложил об этом офицеру, и один из тех прохвостов, о которых я упоминал, тут же закричал, что у него тоже кое-что пропало – 25 песет. Почему-то офицер сразу решил, что вор – тот темнокожий подросток. В милиции за воровство карали очень сурово, теоретически могли даже расстрелять. Несчастного парнишку повели в караулку и обыскали, он не сопротивлялся. Всего больше меня поразило, что он почти и не пытался доказать свою невиновность. Фатализм его говорил о том, в какой же отчаянной нужде он вырос. Офицер приказал ему раздеться. Со смирением, внушавшим мне ужас, он снял с себя все до последнего лоскутка, тряпки его перетряхнули. Понятно, не нашлось ни сигар, ни монет; он их действительно не крал.

Самое печальное было то, что и потом, когда подозрения отпали, он стоял все с тем же выражением стыда на лице. Вечером я пригласил его в кино, угостил коньяком и шоколадом. Впрочем, сама попытка загладить деньгами мой проступок перед ним – разве это не ужасно? Ведь, пусть на минуту, я решил, что он вор, а такое не искупается.

Прошло несколько недель, я уже был на фронте, и у меня начались неприятности с солдатом моего отделения. Я получил звание «капо», то есть капрал, и под моей командой находилось двенадцать человек. На фронте стояло затишье, было чудовищно холодно, и главная моя забота состояла в том, чтобы часовые не засыпали на посту. И вдруг один солдат отказывается идти в караул, утверждая – вполне справедливо, – что позиция, куда его направили, пристреляна противником. Человек он был хилый, вот я и сгреб его в охапку, насильно заставляя выполнить приказ. Остальные тут же проникли ко мне враждебностью – испанцы, когда их хватают, похоже, взрываются быстрее, чем мы. Меня вмиг окружили с криками: «Фашист! Фашист! Отпусти его! Тут не буржуйская армия, ты, фашист!» и т. д. Насколько позволял мой скверный испанский язык, я отвечал им, тоже крича во всю глотку, что приказы надо выполнять; начавшись с пустяка, вырос один из тех грандиозных скандалов, которые разваливают всякую дисциплину в Республиканской армии. Кто-то был на моей стороне, другие против меня. Рассказываю я об этом к тому, что горячее всех меня поддерживал этот чумазый подросток. Едва разобравшись что к чему, он пробился поближе ко мне и принялся страстно доказывать мою правоту. Он орал, вытягивая руку по-индейски: «Да вы что, он же у нас самый хороший капрал!» (No hay cabo como el!) Позднее он подал просьбу перевести его в мое отделение.

Почему это происшествие так меня растрогало? Потому что в обычных обстоятельствах было бы немыслимо, чтобы между нами снова установилась симпатия. Как бы я ни старался извиняться за то, что подозревал его в краже, это его не смягчило бы, а только еще более ожесточило. Спокойная цивилизованная жизнь имеет еще и ту особенность, что развивает крайнюю, чрезмерную тонкость чувства, при которой любые из главнейших человеческих побуждений начинают выглядеть слишком грубыми. Щедрость ранит так же сильно, как черствость, а проявления благодарности неприятны не меньше, чем свидетельства черствости души. Но в Испании 1936 года мы переживали ненормальное время. Широкие чувства и жесты там казались естественнее, чем бывает обычно. Я мог бы рассказать еще десяток похожих историй, которые ничего примечательного в

себе не содержат, однако врезались мне в память, потому что в них этот особый воздух времени, когда все ходили в потрепанных костюмах, а со стен сверкали яркие краски революционных плакатов, и друг к другу обращались только словом «товарищ», и можно было за пенни купить на любом углу отпечатанные листовками на прозрачной бумаге антифашистские стихи, а выражения вроде «международной солидарности пролетариата» произносились с пафосом, потому что неграмотные люди, любившие их повторять, верили, что такие фразы что-то означают. Разве можно испытывать к человеку дружеское расположение и поддержать его в минуту спора, если, заподозрив, что ты у этого человека что-то украл, тебя в его присутствии бесцеремонно обыскивали? Нельзя, конечно, – и все-таки можно, если вас объединило нечто такое, что придает чувствам широту. А это одно из косвенных следствий революции, хотя в данном случае революция осталась незавершенной и, как все понимали, была обречена.

IV

Борьба за власть между различными группировками Испанской республики – тема больная и слишком сложная; я не хочу ее касаться, – не пришло еще время. Упоминаю об этом с единственной целью предупредить: не верьте ничему или почти ничему из того, что пишется про внутренние дела в правительственном лагере. Из каких бы источников ни исходили подобные сведения, они остаются пропагандой, подчиненной целям той или иной партии, – иначе сказать, ложью. Правда же о войне, если говорить широко, достаточно проста. Испанская буржуазия увидела возможность сокрушить рабочее движение и сокрушила его, прибегнув к помощи нацистов, а также реакционеров всего мира. Сомневаюсь, чтобы когда бы то ни было удалось определить суть случившегося более точно.

Помнится, я как-то сказал Артуру Кёстлеру: «История в 1936 году остановилась», – и он кивнул, сразу поняв, о чем речь. Оба мы подразумевали тоталитаризм – в целом и особенно в тех частностях, которые характерны для гражданской войны в Испании. Еще смолоду я убедился, что нет события, о котором правдиво рассказала бы газета, но лишь в Испании я впервые наблюдал, как газеты умудряются освещать происходящее так, что их описания не имеют к фактам ни малейшего касательства, – было бы даже лучше, если бы они откровенно врали. Я читал о крупных сражениях, хотя на деле не прозвучало ни выстрела, и не находил ни строки о боях, когда погибали сотни людей. Я читал о

трусости полков, которые в действительности проявляли отчаянную храбрость, и о героизме победоносных дивизий, которые находились за километры от передовой, а в Лондоне газеты подхватывали все эти вымыслы, и увлекающиеся интеллектуалы выдумывали глубокомысленные теории, основываясь на событиях, каких никогда не было. В общем, я увидел, как историю пишут, исходя не из того, что происходило, а из того, что должно было происходить согласно различным партийным «доктринам». Это было ужасно, хотя, впрочем, в каком-то смысле не имело ни малейшего значения. Ведь дело касалось вовсе не самого главного – речь, в частности, шла о борьбе за власть между Коминтерном и испанскими левыми партиями, а также о стремлениях русского правительства не допустить настоящей революции в Испании. Общая картина войны, которую рисовали испанские правительственные сообщения, не была лживой. Все главное, что происходило на войне, в этих сообщениях указывалось. Что же касается фашистов с их сторонниками, разве могли они придерживаться такой правды? Разве они бы сказали о своих истинных целях? Их версия событий являлась абсолютным вымыслом и другой при данных обстоятельствах быть не могла.

Единственный пропагандистский трюк, который мог удаться нацистам и фашистам, заключался в том, чтобы изобразить себя христианами и патриотами, спасающими Испанию от диктатуры русских. Чтобы этому поверили, надо было изображать жизнь в контролируемых правительством областях как непрерывную кровавую бойню (взгляните, что пишут «Католик гералд» и «Дейли мейл» – правда, все это кажется детски невинным по сравнению с измышлениями фашистской печати в Европе), а кроме того, до крайности преувеличивать масштабы вмешательства русских. Из всего нагромождения лжи, которая отличала католическую и реакционную прессу, я коснусь лишь одного пункта – присутствия в Испании русских войск. Об этом трубили все преданные приверженцы Франко, причем говорилось, что численность советских частей чуть не полмиллиона. А на самом деле никакой русской армии в Испании не было. Были летчики и другие специалисты-техники, может быть, несколько сот человек, но не было армии. Это могут подтвердить тысячи сражавшихся в Испании иностранцев, не говоря уже о миллионах местных жителей. Но такие свидетельства не значили ровным счетом ничего для франкистских пропагандистов, из которых ни один не побывал на нашей стороне фронта. Зато этим пропагандистам хватало наглости отрицать факт немецкой и итальянской интервенции, хотя итальянские и немецкие газеты

открыто воспевали подвиги своих «легионеров». Упоминаю только об этом, но ведь в таком стиле велась вся фашистская военная пропаганда.

Меня пугают подобные вещи, потому что нередко они заставляют думать, что в современном мире вообще исчезло понятие объективной истины. Кто поручится, что подобного рода или сходная ложь в конце концов не проникнет в историю? И как будет восстановлена подлинная история испанской войны? Если Франко удержится у власти, историю будут писать его ставленники, и – раз уж об этом зашла речь – сделается фактом присутствие несуществовавшей русской армии в Испании, и школьники будут этот факт заучивать, когда сменится не одно поколение. Но допустим, что фашизм потерпит поражение и в сравнительно недалеком будущем власть в Испании перейдет в руки демократического правительства – как восстановить историю войны даже при таких условиях? Какие свидетельства сохранит Франко в достояние потомкам? Допустим, что не погибнут архивы с документами, накопленными республиканцами, – все равно, каким образом восстановить настоящую историю войны? Ведь я уже говорил, что республиканцы тоже часто прибегали ко лжи. Занимая антифашистскую позицию, можно создать в целом правдивую историю войны, однако это окажется пристрастная история, которой нельзя доверять в любой из не самых важных подробностей. Во всяком случае, *какую-то* историю напишут, а когда уйдут все воевавшие, эта история станет общепринятой. И значит, если смотреть на вещи реально, ложь с неизбежностью приобретает статус правды.

Знаю, распространен взгляд, что всякая принятая история непременно лжет. Готов согласиться, что история большей частью неточна и необъективна, но особая мета нашей эпохи – отказ от самой идеи, что *возможна* история, которая правдива. В прошлом врали с намерением или подсознательно, пропускали события через призму своих пристрастий или стремились установить истину, хорошо понимая, что при этом не обойтись без многочисленных ошибок, но, во всяком случае, верили, что есть факты, которые более или менее возможно отыскать. И действительно, всегда накапливалось достаточно фактов, не оспариваемых почти никем. Откройте Британскую энциклопедию и прочтите в ней о последней войне – вы увидите, что немало материалов позаимствовано из немецких источников. Историк-немец основательно разойдется с английским историком по многим пунктам, и все же останется массив, так сказать, нейтральных фактов, насчет которых никто и не будет

полемизировать всерьез. Тоталитаризм уничтожает эту возможность согласия, основывающегося на том, что все люди принадлежат к одному и тому же биологическому виду. Нацистская доктрина особенно упорно отрицает существование этого вида единства. Скажем, нет просто науки. Есть «немецкая наука», «еврейская наука» и т. д. Все такие рассуждения конечной целью имеют оправдание кошмарного порядка, при котором Вождь или правящая клика определяет не только будущее, но и *прошлое.* Если Вождь заявляет, что такого-то события «никогда не было», значит, его не было. Если он думает, что дважды два пять, значит, так и есть. Реальность этой перспективы страшит меня больше, чем бомбы, а ведь перспектива не выдумана, коли вспомнить, что нам довелось наблюдать в последние несколько лет.

Не детский ли это страх, не самоистязание ли – мучить себя видениями тоталитарного будущего? Но, прежде чем объявить тоталитарный мир наваждением, которое не может сделаться реальностью, задумайтесь о том, что в 1925 году сегодняшняя жизнь показалась бы наваждением, которое реальностью стать не может. Есть лишь два действенных средства предотвратить фантасмагорию, когда черное завтра объявляют белым, а вчерашнюю погоду изменяют соответствующим распоряжением. Первое из них – признание, что истина, как бы ее ни отрицали, тем не менее существует, следит за всеми вашими поступками, поэтому нельзя ее уродовать способами, призванными ослабить ее воздействие. Второе – либеральная традиция, которую можно сохранить, пока на Земле остаются места, не завоеванные ее противниками. Представьте себе, что фашизм или некий гибрид из нескольких разновидностей фашизма воцарился повсюду в мире, – тогда оба эти средства исчезнут. Мы в Англии недооцениваем такую опасность, поскольку своими традициями и былым сознанием защищенности приучены к сентиментальной вере, что в конце концов все устраивается лучшим образом и того, чего более всего страшишься, не происходит. Сотни лет воспитывавшиеся на книгах, где в последней главе непременно торжествует Добро, мы полуинстинктивно верим, что злые силы с ходом времени покарают сами себя. Главным образом на этой вере, в частности, основывается пацифизм. Не противьтесь злу, оно каким-то образом само себя изживет. Но, собственно, почему, какие доказательства, что так и должно произойти? Есть хоть один пример, когда современное промышленно развитое государство рушилось, если по нему не наносился удар военной мощью противника?

Задумайтесь хотя бы о возрождении рабства. Кто мог

представить себе двадцать лет назад, что рабство вновь станет реальностью в Европе? А к нему вернулись прямо у нас на глазах. Разбросанные по всей Европе и Северной Африке трудовые лагеря, где поляки, русские, евреи и политические узники других национальностей строят дороги или осушают болота, получая за это ровно столько хлеба, чтобы не умереть с голоду, – это ведь самое типичное рабство. Ну, разве что пока еще отдельным лицам не разрешено покупать и продавать рабов. Во всем прочем – скажем, в том, что касается разъединения семей, – условия наверняка хуже, чем были на американских хлопковых плантациях. Нет никаких оснований полагать, что это положение вещей изменится, пока сохраняется тоталитарный гнет. Мы не постигаем всего, что он означает, ибо в силу какой-то мистики проникнуты чувством, что режим, который держится на рабстве, *должен* рухнуть. Но стоило бы сравнить сроки существования рабовладельческих империй древности и всех современных государств. Цивилизации, построенные на рабстве, иной раз существовали по четыре тысячи лет.

Вспоминая древность, я со страхом думаю о том, что те миллионы рабов, которые веками поддерживали благоденствие античных цивилизаций, не оставили по себе никакой памяти. Мы даже не знаем их имен. Сколько имен рабов можно назвать, перебирая события греческой и римской истории? Я сумел бы привести два, максимум три. Спартак и Эпиктет. Кроме того, в Британском музее, в кабинете римской истории, хранится стеклянный сосуд, на дне которого выгравировано имя сделавшего его мастера: «Felix fecit». Я живо представляю себе этого бедного Феликса (рыжеволосый галл с металлическим ободом на шее), но на самом деле он, возможно, и не был рабом, так что достоверно мне известно только два имени, и, может быть, лишь немногие другие сумеют назвать больше. Все остальные рабы исчезли бесследно.

V

Главное сопротивление Франко оказывал испанский рабочий класс, особенно городские профсоюзы. Потенциально – важно помнить, что только потенциально, – рабочий класс остается самым последовательным противником фашизма просто по той причине, что переустройство общества на началах разумности дает рабочему классу всего больше. В отличие от других классов и прослоек пролетариат невозможно все время подкупать.

Сказав это, я не хочу идеализировать рабочих. В той длительной борьбе, которая развернулась после русской

революции, поражение понесли именно они, и нельзя не видеть, что повинны в этом они сами. Постоянно то в одной стране, то в другой организованное рабочее движение подавлялось открытым беззаконным насилием, а пролетарии других стран, которые по теории должны были испытывать чувство солидарности, наблюдали за этим со стороны, не ударив пальцем о палец; причина – она-то и объясняет многие втайне совершенные предательства – та, что между белыми и цветными рабочими о солидарности никогда и речи не заходило. Кто же поверит в международную классовую сознательность пролетариата после событий последних десяти лет? Английских рабочих куда больше интересовал и будоражил результат вчерашнего футбольного матча, чем расправы над их товарищами в Вене, Берлине, Мадриде и еще где угодно. Но это не изменит моего убеждения, что рабочий класс будет бороться с фашизмом даже после того, как все другие капитулируют. Во Франции немцы победили с такой легкостью еще и оттого, что поразительную нестойкость выказали интеллигенты, включая тех, кто держался левых политических взглядов. Интеллигенты громче всех протестуют против фашизма, но очень многие из них впадают в пораженческие настроения, как только фашизм наносит свой удар. Они слишком хорошо все предвидят, чтобы недооценить нависшую над ними угрозу, а главное, они поддаются подкупу; нацисты же, совершенно очевидно, считают нужным не скупиться на подачки, чтобы купить интеллигенцию. С рабочим классом все наоборот. Не умея распознать обмана, рабочие легко поддаются на приманки фашизма, но рано или поздно обязательно становятся его противниками. По-иному быть не может, оттого что они на собственной шкуре убеждаются в ложности всех фашистских посулов. Чтобы обеспечить себе стойкую поддержку рабочих, фашизм должен был бы повысить общий уровень жизни, а этого он не может, да, видимо, и не добивается. Борьба пролетариата напоминает рост растения. Оно слепо и неразумно, но достаточно инстинкта, чтобы оно тянулось к свету, и, какие бы нескончаемые препятствия ни возникали, оно все равно к нему тянется. За что борются рабочие? Просто за сносную жизнь, которая – это они понимают все лучше – теперь вполне для них возможна. Они осознают это то более отчетливо, то инстинктивно. В Испании было время, когда люди к этому стремились совершенно осознанно, видя перед собой конкретную задачу, которую надо решить, и веря, что они ее решат. Вот откуда свойственный республиканской Испании первых месяцев войны необыкновенный подъем духа. Простой народ безошибочно чувствовал, что Республика ему нужна, а Франко враждебен.

Люди сознавали свою правоту, потому что сражались, отстаивая то, что мир обязан был и мог им дать.

Об этом надо помнить, чтобы правильно понять испанскую войну. Замечая одни только жестокости, гнусность, бессмысленность войны – а в данном случае еще и казни, интриги, ложь, неразбериху, – трудно удержаться от вывода, что «одни ничуть не хуже других. Я сохраню нейтралитет». Однако на деле нейтральным быть нельзя, и вообще трудно представить себе войну, когда было бы безразлично, кто победит. Почти всегда одна сторона более или менее ясно знаменует прогресс, а другая – реакцию. Ненависть, вызываемая Республикой у миллионеров, аристократов, кардиналов, прожигателей жизни, полковников блимпов и прочей публики такого рода, сама по себе достаточна, чтобы ощутить расстановку сил. По сути, это была классовая война. Если бы в ней победила Республика, выиграло бы дело простого народа повсюду на Земле. Но победил Франко, и повсюду на Земле держатели прибыльных акций потирали руки. Вот в чем главное, а все прочее – только накипь.

VI

Исход испанской войны решался в Лондоне, Париже, Риме, Берлине – где угодно, только не в Испании. После лета 1937 года все, кто был способен видеть вперед, поняли, что Республике не победить, если не произойдет глубоких перемен в международной расстановке сил, и, решив продолжить борьбу, Негрин со своим правительством, видимо, отчасти рассчитывали, что мировая война, разразившаяся в 1939 году, начнется годом раньше. Раздоры в лагере Республики, о которых так много писали, не были главной причиной поражения. Созданная правительством милиция собиралась наспех, ее плохо вооружили, тактика была примитивной, но ничего бы не переменилось и при условии изначально полного политического единства. Когда вспыхнула война, простой испанский рабочий с фабрики не умел стрелять из винтовки (в Испании никогда не было всеобщей воинской повинности), сильно мешал наладить противодействие традиционный пацифизм левых. Тысячи иностранцев, сражавшихся в Испании, были хороши в окопах, но людей, владеющих какой-нибудь военной специальностью, среди них нашлось очень мало. Утверждения троцкистов, что войну можно было выиграть, если бы не саботировали революцию, вероятно, неверны. Оттого, что были бы национализированы заводы, разрушены церкви и написаны революционные манифесты, армии не прибавилось бы умения. Фашисты победили, поскольку были

сильнее; у них было современное оружие, а у Республики – нет. Политическая стратегия изменить тут ничего не могла.

Самое непостижимое в испанской войне – это позиция великих держав. Фактически войну выиграли для Франко немцы и итальянцы, чьи мотивы были совершенно ясны. Труднее осознать мотивы, которыми руководствовались Франция и Англия. Кто в 1936 году не понимал, что, достаточно было Англии оказать испанскому правительству помощь, хотя бы поставив оружия на несколько миллионов фунтов, Франко был бы разгромлен, а по немцам нанесен мощный удар. Не требовалось в то время быть ясновидящим, чтобы предсказать близящуюся войну Англии с Германией; можно было даже с определенностью назвать дату ее начала – через год или два.

И тем не менее самым подлым, трусливым и лицемерным способом английские правящие классы отдали Испанию Франко и нацистам. Почему? Самый простой ответ: потому что были профашистски настроены. Это, вне сомнения, так, и все же, когда дело дошло до решительного выбора, они оказались против Германии. По сей день остается очень неясным, какие у них были планы, когда они поддерживали Франко; возможно, никаких конкретных не было. Злонамеренны или просто глупы английские правители – вопрос, на который в наше время ответить крайне сложно, а бывает, что этот вопрос становится чрезвычайно важным. Что же до русских, цели, которые они преследовали в испанской войне, совершенно непостижимы. Может, правы наивные либералы, полагающие, что русские участвовали в войне для того, чтобы, защищая демократию, обуздать нацизм? Но если так, отчего их участие было столь ничтожным по масштабам и зачем они бросили Испанию, когда ее положение стало критическим? Или согласиться с католиками, которые уверяли, что русское вмешательство должно было раздуть в Испании революционный пожар? Но зачем же они сделали все от них зависящее, чтобы подавить испанское революционное движение, защитить частную собственность и предоставить власть не рабочим, а среднему классу? А может быть, правы троцкисты, заявившие, что целью вмешательства было *предотвратить* революцию в Испании? Тогда проще было вступить в союз с Франко. Понятнее всего их действия становятся, если видеть за этой линией несколько мотивов, противоречащих один другому. Уверен, со временем выяснится, что внешняя политика Сталина, претендующая выглядеть дьявольски умной, на самом деле представляет собой примитивный оппортунизм. Как бы то ни было, испанская война продемонстрировала, что нацисты имели четкий план действий, а их противники – нет. С

профессиональной точки зрения война велась на очень низком уровне, а основная стратегия была предельно простой. Побеждали те, кто был лучше вооружен. Нацисты вместе с итальянцами поставляли оружие своим друзьям-фашистам в Испании, а западные демократы и Россия отказывали в оружии тем, в ком следовало им видеть своих друзей. И поэтому Республика погибла, «изведав все, что ни одну республику не минет».

Трудный вопрос, правильно ли было побуждать испанцев, хотя победить они не могли, драться до последнего, к чему их дружно призывали левые в других странах. Лично я думаю, что правильно, потому что, на мой взгляд, даже чтобы выжить, лучше сражаться и потерпеть поражение, чем капитулировать без борьбы. Пока еще рано говорить об уроках, которыми важна эта война, для того чтобы найти правильную тактику в битве с фашизмом. Оборванные, плохо вооруженные армии Республики продержались два с половиной года – несомненно, гораздо дольше, чем ожидал противник. Но и сегодня никто не знает, помешала ли фашистам эта затяжка держаться составленного ими графика или, наоборот, отсрочила большую войну, предоставив нацизму лишнее время, когда они доводили до совершенства свою военную машину.

VII

Думая об испанской войне, я всегда вспоминаю два эпизода. Вот первый: госпиталь в Лериде, печальные голоса солдат из милиции, поющих песню с припевом, который кончался так:

Una resolucion
Luchar hast' al fin![95]

Что же, они и боролись до самого конца. Последние полтора года солдаты Республики сидели на самом скудном рационе и обходились почти без сигарет. Даже в середине 1937 года, когда я покинул Испанию, мясо и хлеб исчезли, табак стал редкостью, а кофе и сахар были недостижимой мечтой.

А вот и второе, что запомнилось: итальянец из милиции, который приветствовал меня в тот день, когда я в нее вступил. Я писал о нем на первых страницах своей книги про испанскую войну и здесь не хочу повторяться. Стоит мне мысленно увидеть перед собой – совсем живым! – этого итальянца в засаленном мундире, стоит вглядеться в это суровое, одухотворенное, непорочное лицо, и все сложные выкладки, касающиеся войны,

утрачивают значение, потому что я точно знаю одно: не могло тогда быть сомнения, на чьей стороне правда. Какие бы ни плели политические интриги, какую бы ложь ни писали в газетах, главным в этой войне было стремление людей вроде моего итальянца обрести достойную жизнь, которую – они это понимали – от рождения заслуживает каждый. Думать о том, какая судьба ждала этого итальянца, горько, и сразу по нескольким причинам. Поскольку мы встретились в военном городке имени Ленина, он, видимо, принадлежал либо к троцкистам, либо к анархистам, а в наше необыкновенное время таких людей непременно убивают – не гестапо, так ГПУ. Это, конечно, вписывается в общую ситуацию со всеми ее непреходящими проблемами. Лицо этого итальянца, которого я и видел-то мимолетно, осталось для меня зримым напоминанием о том, из-за чего шла война. Я его воспринимаю как символ европейского рабочего класса, который травит полиция всех стран, как воплощение народа – того, который лег в братские могилы на полях испанских сражений, того, который теперь согнан в трудовые лагеря, где уже несколько миллионов заключенных.

Называя имена людей, которые поддерживают фашизм или оказали ему свои услуги, поражаешься, как они несхожи. Что за конгломерат! Назовите мне иную политическую платформу, которая сплотила бы таких приверженцев, как Гитлер, Петен, Монтегю Норман, Павелич, Уильям Рэндолф Херст, Стрейчер, Бухман, Эзра Паунд, Хуан Марч, Кокто, Тиссен, отец Кафлин, муфтий Иерусалимский, Арнольд Ланн, Антонеску, Шпенглер, Беверли Николс, леди Хаустон и Маринетти, побудив всех их сесть в одну лодку! Но на самом деле это несложно объяснить. Все они из тех, кому есть что терять, или мечтатели об иерархическом обществе, которые страшатся самой мысли о мире, где люди станут свободны и равны. За всем крикливым пустословием насчет «безбожной» России и вульгарного «материализма», отличающего пролетариат, скрывается очень простое желание людей с деньгами и привилегиями удержать им принадлежащее. То же самое относится и к разговорам о бессмыслице социальных преобразований, пока им не сопутствует «совершенствование души», которое, на их взгляд, внушает куда больше надежд, чем изменение экономической системы. Петен объясняет крушение Франции тем, что народ «желает наслаждений». Чтобы оттенить это высказывание, надо всего лишь сопоставить наслаждения, доступные обычному французскому крестьянину или рабочему, с теми, которым волен предаваться сам Петен. А наглость, с какой все эти политики,

священнослужители, литераторы и прочие поучают рабочего-социалиста, коря его за «материализм»! А ведь рабочий требует для себя не более того, что эти проповедники считают жизненно необходимым минимумом. Чтобы в доме была еда, чтобы избавиться от гнетущего страха безработицы, чтобы не сомневаться в будущем детей, чтобы раз в день принять ванну и чтобы постельное белье менялось как полагается, а крыша не протекала и работа не отнимала все время, оставляя хотя бы немного сил, когда прозвучит гудок на ее окончание. Никто из обличающих «материализм» не мыслит без всего этого нормальной жизни. А как легко было бы достичь такого минимума, стремись мы к этой цели хотя бы лет двадцать! Чтобы весь мир добился уровня жизни Англии – для этого не потребовалось бы затрат больше, чем те, каких требует нынешняя война. Я не утверждаю – да и никто не утверждает, – что сама по себе подобная цель достаточна, а остальное решится само собой. Я говорю лишь о том, что с лишениями, с животным трудом должно быть покончено, прежде чем подступиться к большим проблемам, стоящим перед человечеством. Самая сложная из них в наше время создана утратой веры в личное бессмертие, и сделать тут нельзя ничего, пока обычный человек вынужден работать, как скот, и дрожать от страха перед тайной полицией. Как правы рабочие в своем «материализме»! Как они правы, считая, что сначала надо наесться, а потом хлопотать о душе, подразумевая просто порядок действий, а не ценностей! Уразумеем это, и тогда переживаемый нами кошмар хотя бы сделается объяснимым. Все наблюдения, способные сбить с толку, все эти сладкие речи какого-нибудь Петена или Ганди, и необходимость пятнать себя низостью, сражаясь на войне, и двусмысленная роль Англии с ее демократическими лозунгами, а также империей, где трудятся кули, и зловещий ход жизни в Советской России, и жалкий фарс левой политики – все это оказывается несущественным, если видишь главное: борьбу постепенно обретающего сознание народа с собственниками, с их оплачиваемыми лжецами, с их прихлебалами. Вопрос стоит просто. Узнают ли такие люди, как тот солдат-итальянец, достойную, истинно человеческую жизнь, которая сегодня может быть обеспечена, или этого им не дано? Загонят ли простых людей обратно в трущобы, или это не удастся? Сам я, может быть, без достаточных оснований верю, что рано или поздно обычный человек победит в своей борьбе, и я хочу, чтобы это произошло не позже, а раньше – скажем, в ближайшие сто лет, а не в следующие десять тысячелетий. Вот что было настоящей целью войны в Испании, вот что является настоящей целью нынешней войны и

возможных войн будущего.

Больше я не встречал моего итальянца, и мне не удалось узнать его имя. Можно считать несомненным, что он погиб. Через два года после нашей встречи, когда война была явно проиграна, я написал в память о нем стихи.

Солдат-итальянец мне руку пожал
В караулке, где встретились мы.
Мои тонкие пальцы в ладони он смял,
Красной, как слой сурьмы.

Нам бы свидеться с ним никогда не пришлось,
Если б пушки молчали вокруг.
Но теперь то, о чем я мечтал, сбылось,
Потому что нашелся друг.

Для тебя те слова, от которых тошнит,
Святые – ты смысл их постиг.
И знанье людей тебя не тяготит,
Ты усвоил его не из книг.

Нас битва влекла и пьянила борьба,
Мы оба ринулись в бой.
И вот оказалось, что это судьба,
Но лишь после встречи с тобой.

Что ж, удачи тебе, итальянец-солдат!
Но удачи для храбрых нет.
И не думай, чем люди тебя наградят,
Пусть душа свой оставит след.

А где скитаться ей суждено?
Между призраков и теней,
Между пулей и ложью – они заодно,
Между белых и красных огней.

Ибо где он, Гонсалес Мануэль,
Агилар где, скажи скорей?
И где Рамон Фенеллоса теперь?
Об этом спроси у червей.

И имя, и дело твое зачеркнут
До того, как костям истлеть.
А ложь, что убила тебя, погребут

Под ложью, чтоб ей не взлететь.

Но то, что в тебе увидел я,
Насилием не сломить,
Чист твой дух, и безгрешна совесть твоя —
Их бомбами не убить.

1942

Антисемитизм в Британии [96]

В Британии живут примерно 400 тысяч евреев, и несколько тысяч или, самое большее, десятков тысяч еврейских беженцев прибыло в страну с 1934 года. Еврейское население почти целиком сосредоточено в пяти-шести больших городах и занято в основном производством и продажей пищевых продуктов, одежды и мебели. Евреям принадлежит или частично принадлежит несколько больших монополий, таких как «Империал кемикл индастриз», одна или две крупные газеты и по крайней мере одна большая сеть универсальных магазинов, но было бы большой неправдой сказать, что евреи доминируют в британской деловой жизни. Наоборот, они, кажется, не поспевают за современными процессами слияния и задержались в тех областях, где дела по необходимости ведутся в малом масштабе и старомодными методами.

С этих фактов, известных всякому информированному человеку, я начал для того, чтобы подчеркнуть: в Англии нет никакой реальной еврейской «проблемы». Евреи не настолько многочисленны и могущественны и сколько-нибудь заметным влиянием пользуются лишь в так называемых интеллектуальных кругах. Однако, по общему признанию, антисемитизм усиливается, он обострился из-за войны, и заражены им даже гуманные и просвещенные люди. Он не принимает буйных форм (англичане в подавляющем большинстве спокойны и законопослушны), но идеология эта злокачественная и при благоприятных обстоятельствах может дать политические результаты. Вот примеры антисемитских замечаний, которые мне довелось услышать за последний год или два.

Конторский служащий средних лет: «На работу я езжу обычно на автобусе. Это дольше, но теперь мне не хочется ездить с Голдерс Грин. На этой линии слишком много избранного народа».

Торговка в табачной лавке: «Нет, у меня нет спичек. Спросите там, у дамы, чуть подальше. У нее всегда есть спички. Она, видите ли, из избранного народа».

Молодой интеллигент, коммунист или почти коммунист: «Нет, я не люблю евреев. Никогда не делал из этого секрета. Не выношу их. Притом что я, конечно, не антисемит».

Женщина из среднего класса: «Ну, антисемиткой меня никто не назовет, но я действительно думаю, что эти евреи ведут себя совершенно отвратительно. Всегда лезут без очереди и так далее. Они отвратительные эгоисты. По-моему, они сами виноваты в

том, что с ними делают».

Молочник: «Еврей работы не делает, такой, как англичане. Он чересчур умный. Мы работаем вот чем (показывает бицепсы). Они работают вот чем (стучит себя по лбу)».

Аудитор, разумный, по образу мыслей скорее левый: «Эти жиды – прогерманская публика. Завтра же перебегут к нацистам, если те сюда войдут. Я по службе много их вижу. В глубине души восхищаются Гитлером. Всегда подлизываются к тому, кто их пнет».

Разумная женщина, которой предложили книгу об антисемитизме и немецких зверствах: «Не показывайте это мне, пожалуйста, не показывайте. Я только еще больше возненавижу евреев».

Подобными замечаниями я мог бы заполнить не одну страницу, но этих пока достаточно. Из них вытекают два вывода: один – очень важный, и я вернусь к нему чуть позже, – что люди с определенным уровнем умственного развития стыдятся быть антисемитами и стараются провести различие между «антисемитизмом» и «нелюбовью к евреям». Второй – что антисемитизм иррационален. Евреев обвиняют в конкретных прегрешениях (например, в том, что они плохо себя ведут в продовольственных очередях), которые обвиняющему представляются очень неприятными; но очевидно, что эти обвинения – просто-напросто попытка оправдать какой-то глубинный предрассудок. Опровергать их с помощью фактов и статистики бесполезно, а иногда и хуже, чем бесполезно. Как показывает последнее из приведенных замечаний, люди способны оставаться антисемитами или, по крайней мере, не любить евреев, понимая при этом, что чувства их обосновать невозможно. Если вы кого-то не любите, вы его не любите, – и всё тут: сколько ни тверди о его добродетелях, вашего отношения это не улучшит.

Получилось так, что война способствовала росту антисемитизма и в глазах многих рядовых людей отчасти его как-то оправдала. Начать с того, что евреи – единственный народ, о котором можно с полной уверенностью сказать, что он выиграет от победы союзников. Следовательно, теория, что «это – еврейская война», выглядит отчасти правдоподобно, тем более что роли евреев в военных усилиях редко отдается должное. Британская империя – громадная, разнородная структура, скрепленная, в первую очередь, взаимным согласием, и зачастую бывает необходимо преувеличить достоинства менее надежных элементов за счет более лояльных. Освещая подвиги солдат-евреев или даже признавая существование значительной еврейской армии на Ближнем Востоке, мы рискуем вызвать

враждебность в Южной Африке, арабских странах и в других местах. Проще молчать об этом, и пусть обыватель думает, что евреи особенно ловко отделываются от военной службы. Затем, евреи заняты именно в тех областях, которые во время войны становятся непопулярны у гражданского населения. Евреи торгуют по большей части продовольствием, одеждой, мебелью и табаком – именно теми товарами, которых хронически не хватает, что ведет к завышению цен, черному рынку и блату. Опять-таки, распространенное обвинение, будто евреи показали себя трусами под бомбежкой, выглядело обоснованным во время больших налетов в 1940 году. Тогда особенно сильно пострадал еврейский квартал Уайтчепела, и масса оставшихся без жилья евреев распространилась по всему Лондону. Если судить только по явлениям военного времени, то нетрудно будет вообразить, будто антисемитизм – это квазирациональная идея, основанная на ошибочных посылках. И, естественно, антисемит считает себя существом разумным. Всякий раз, когда я касался этой темы в газетной статье, в ответ приходила обширная почта, и всякий раз были письма от уравновешенных, среднего достатка людей – врачей, например, – не имеющих экономических оснований для жалоб. Эти люди всегда говорят (как и Гитлер в «Mein Kampf»), что первоначально не были предубеждены против евреев, а к теперешним взглядам пришли просто путем наблюдений. Но одна из характерных черт антисемита – способность верить в истории, которые наверняка не могли быть правдой. Хороший пример такой истории – несчастье, случившееся в Лондоне в 1942 году, когда толпа, напуганная близким разрывом бомбы, кинулась в метро, причем больше ста человек было раздавлено насмерть. В тот же день по Лондону пошли слухи, что «виноваты евреи». Понятно, что если люди верят в такое, спорить с ними бесполезно. Единственное, что имеет смысл, – выяснить, почему они верят нелепостям одного определенного рода, в других отношениях оставаясь здравомыслящими людьми.

А теперь позвольте мне вернуться к упомянутому выше выводу о распространенности антисемитизма и о нежелании людей сознаться в нем. Среди образованной публики антисемитизм считается непростительным грехом, причем совершенно другого рода, чем прочие расовые предрассудки. Люди будут всеми силами доказывать, что они не антисемиты. Так, в 1943 году в синагоге Сент-Джонс-Вуда состоялось молебствие о польских евреях. Местные власти объявили, что жаждут принять в нем участие, и на службе присутствовали мэр района в своей мантии с цепью, представители всех церквей, подразделения ВВС, войск местной обороны, сестры милосердия,

бойскауты и бог знает кто еще. Внешне это была трогательная демонстрация солидарности со страдающими евреями. А по существу – *сознательное* усилие людей вести себя прилично, хотя истинные чувства у многих были совсем иными. Этот район Лондона – отчасти еврейский, антисемитизм здесь распространен, и я отлично понимал, что кое-кому из сидящих рядом в синагоге он не чужд. Между прочим, командир моего взвода местной обороны, особенно настаивавший, что мы должны «хорошо себя показать» на молебствии, в прошлом был чернорубашечником Мосли. Пока такая раздвоенность чувств существует, с массовым насилием над евреями Англия не примирится, и, что еще важнее, антисемитское законодательство у нас невозможно. Сегодня антисемитизм не может стать *респектабельным.* Но это не такое большое достижение, как может показаться.

Преследования в Германии, кроме всего прочего, помешали серьезному исследованию антисемитизма. Группа по изучению общественного мнения «Масс обзервейшн» год или два назад произвела короткое и неудовлетворительное обследование; дальнейших попыток не было, а если и были, то результаты их держатся под секретом. В то же время сознательные люди всячески избегали любой темы, могущей задеть чувства евреев. После 1934 года «еврейский анекдот» исчез как по волшебству с открыток, из периодики, из мюзик-холла, а появление несимпатичного еврейского персонажа в романе или рассказе стало считаться антисемитизмом. В палестинском вопросе стало требованием этикета среди просвещенных людей безоговорочно принимать аргументацию евреев и не учитывать арабских требований – отношение само по себе, может быть, и правильное, но определявшееся в первую очередь тем, что евреи были пострадавшей стороной и критиковать их не следовало. Таким образом, из-за Гитлера сложилась ситуация, когда пресса фактически подвергалась цензуре в интересах евреев, а неофициальный антисемитизм усиливался даже среди чувствительных и разумных людей. Особенно заметно это стало в 1940 году, когда интернировали беженцев. Всякий мыслящий человек, конечно, понимал, что обязан протестовать против массового заключения в лагеря несчастных иностранцев, которые и в Англии-то оказались чаще всего потому, что были противниками Гитлера. Но в частном порядке приходилось слышать выражения совсем других чувств. Незначительное меньшинство беженцев вели себя крайне бестактно, и отношение к ним неизбежно было окрашено антисемитизмом, поскольку в основном это были евреи. Один выдающийся деятель

лейбористской партии – я не назову его, но это один из наиболее почитаемых людей в Англии, – сказал мне с большим раздражением: «Мы не просили этих людей приезжать к нам. Сами приехали – сами отвечают за последствия». Разумеется, он подписывал все петиции и манифесты против интернирования иностранцев. Это ощущение, что антисемитизм есть нечто позорное и грешное, нечто чуждое цивилизованному человеку, не способствует научному подходу, и многие люди признаются в том, что им страшно вдаваться в этот предмет. Иначе говоря, они боятся обнаружить не только то, что антисемитизм распространяется, но и то, что в них самих он сидит.

Чтобы осмыслить это в перспективе, надо вернуться на несколько десятилетий назад, к тем дням, когда Гитлер был безработным маляром и о нем никто не слышал. Тогда выяснится, что хотя антисемитизм сейчас достаточно заметен, его, вероятно, *меньше* в Англии, чем тридцать лет назад. Антисемитизм как продуманная расовая и религиозная доктрина в Англии никогда не пользовался популярностью. Не вызывали особого недовольства межнациональные браки и евреи, занимавшие видное положение в обществе. Тем не менее тридцать лет назад считалось чуть не законом природы, что еврей – фигура смешная, у него сильный ум, но некоторые изъяны в «характере». Теоретически он никак не был ограничен в правах, но на деле не имел доступа к определенным профессиям. Его не взяли бы, например, офицером во флот или в отборный полк. В закрытой школе еврейскому мальчику всегда доставалось. Конечно, о его еврействе могли забыть, если он был особенно обаятелен или спортивен, но, в общем, это был врожденный дефект наподобие заикания или родимого пятна. Богатые евреи предпочитали брать себе аристократические английские или шотландские фамилии, и обывателю казалось это вполне естественным, так же, как естественно для преступника менять свою. Лет двадцать назад в Рангуне, когда я садился с приятелем в такси, к нам подбежал оборванный светлокожий мальчик и стал рассказывать запутанную историю о том, как он приехал из Коломбо на пароходе, и ему нужны деньги, чтобы вернуться назад. По внешнему виду и манерам его было трудно «определить», и я сказал ему: «Ты очень хорошо говоришь по-английски. Ты какой национальности?» Он с готовностью, старательно подражая чисто английскому произношению, ответил: «Я еврей, сэр!» И, помню, я повернулся к моему спутнику и сказал полушутливо: «Открыто это признает».

Все евреи, которых я знал прежде, стыдились того, что они евреи, или, во всяком случае, старались не говорить о своем

происхождении, а, будучи вынуждены к этому, предпочитали пользоваться словом «Hebrew, а не «Jew».

Отношение рабочего класса к ним было не лучше. Еврей, выросший в Уайтчепеле, знал, что подвергнется нападению или оскорблению, если забредет в христианские трущобы по соседству, а «еврейские анекдоты» на эстраде и в комиксах почти всегда были обидными[97]. Происходила и литературная травля евреев, под пером Беллока, Честертона и их последователей достигшая почти континентального уровня грубости. В более умеренных формах этим грешили и некатолические писатели. Антисемитские мотивы слышатся в английской литературе со времен Чосера, и, не вставая из-за стола, чтобы заглянуть в книги, я могу припомнить у Шекспира, Смоллетта, Теккерея, Бернарда Шоу, Г. Дж. Уэллса, Т. С. Элиота, Одоса Хаксли и многих других такие пассажи, что, будь они написаны сейчас, их заклеймили бы как антисемитские. С ходу могу припомнить всего лишь двух английских писателей, которые определенно старались держать сторону евреев, – Диккенса и Чарльза Рида. И даже если рядовой интеллигент не соглашался с мнением Беллока и Честертона, он их не осуждал. Бесконечные тирады Честертона против евреев, которые он вставлял в свои эссе и рассказы к месту и не к месту, ни разу не причинили ему неприятностей – напротив, Честертон был одной из самых уважаемых фигур на английской литературной сцене. Всякий, кто стал бы писать в таком духе сейчас, вызвал бы бурю негодования или, что более вероятно, не смог бы печататься.

Если, как я полагаю, предубеждение против евреев в Англии всегда было распространено, то вряд ли оно уменьшилось из-за Гитлера. Из-за него возникло лишь четкое разделение между политически сознательными людьми, понимающими, что сейчас не время забрасывать евреев камнями, и несознательными людьми, чей природный антисемитизм обострился в связи с нервным напряжением войны. Следовательно, можно предположить, что многие люди, которые скорее умрут, чем признаются в антисемитских чувствах, втайне их разделяют. Я говорил где-то, что антисемитизм, по моему мнению, – невроз, но доводы в пользу него, конечно, находятся, в них искренне верят, и отчасти они верны. У простого человека довод тот, что еврей – эксплуататор. Этому есть частичное подтверждение: еврей в Англии – обычно мелкий предприниматель, то есть человек, чье хищничество более очевидно и понятно, чем, скажем, хищничество банка или страховой компании. На более высоком умственном уровне антисемитизм объясняют тем, что еврей распространяет недовольство и ослабляет национальный дух.

Внешне и для этого есть какие-то основания. За последние двадцать пять лет деятельность тех, кого зовут «интеллектуалами», принесла много вреда. Думаю, не будет преувеличением сказать, что если бы «интеллектуалы» проделали свою работу чуть более основательно, Британия в 1940 году капитулировала бы. Но среди недовольной интеллигенции, разумеется, много евреев. Поэтому утверждения, будто евреи – враги нашей культуры и подрывают моральный дух, не лишены правдоподобия. При ближайшем рассмотрении, это – вздор, но всегда найдется несколько выдающихся людей, на которых можно сослаться в доказательство. В последние несколько лет возникла сильная реакция против весьма поверхностного левачества, модного в предыдущие десятилетия и представленного такими организациями, как Клуб левой книги. Эта реакция (смотри, например, такие книги, как «Добрая горилла» Арнольда Ланна или «Не жалейте флагов» Ивлина Во) окрашена антисемитизмом, и он, вероятно, проявился бы сильнее, не будь эта тема столь щекотливой.

Вот уже несколько десятилетий в Британии не было националистической интеллигенции, из-за которой стоило бы поднимать тревогу. Но британский национализм, то есть национализм интеллектуального пошиба, может возродиться и, вероятно, возродится, если Британия выйдет из войны очень ослабленной. Молодые интеллектуалы 1950-х годов могут оказаться такими же наивными патриотами, как в 1914-м. В этом случае антисемитизм того рода, который процветал среди антидрейфусаров во Франции и который пытались импортировать сюда Честертон и Беллок, может найти опору. У меня нет законченной теории относительно происхождения антисемитизма. Оба имеющихся объяснения – что он обусловлен экономическими причинами или же, что это наследие Средних веков, – кажутся мне неудовлетворительными, хотя признаю, что если их объединить, то они объясняют многие факты. С уверенностью могу сказать одно: антисемитизм – часть более общей проблемы национализма, которую всерьез еще не изучали, а еврей – очевидно, козел отпущения, хотя какие грехи на него переложены, мы пока не знаем. В этой статье я основываюсь преимущественно на собственном ограниченном опыте, и, возможно, любой мой вывод будет оспорен другими наблюдателями. Данных об этом предмете почти нет. Поэтому, ни на чем не настаивая, я изложу свои мнения. Сводятся они к следующему:

Антисемитизма в Англии больше, чем мы хотели бы признать, и война обострила его; но если мерить десятилетиями,

а не годами, то нельзя утверждать, что он усилился.

Сегодня он не ведет к открытым преследованиям, но делает людей равнодушными к страданиям евреев в других странах.

В основе своей он иррационален и к аргументам глух.

Преследования в Германии заставили людей скрывать антисемитские чувства и таким образом затемнили всю картину.

Этот предмет требует серьезного исследования.

Разъяснения заслуживает только последний пункт. Чтобы изучить предмет научно, требуется отстраненное отношение, а оно дается трудно, когда затронуты ваши интересы или эмоции. Многие люди, вполне способные рассуждать объективно о морских ежах или, скажем, о квадратном корне из двух, превращаются в шизофреников, когда их вынудят задуматься об источниках своего дохода. Почти все, написанное об антисемитизме, обесценивается предположением автора, что сам он ему не подвержен. «Поскольку я знаю, что антисемитизм иррационален, – полагает он, – во мне его быть не может». Таким образом, он не способен начать свое исследование с того единственного места, где мог бы получить какие-то надежные данные, – то есть с собственного сознания.

Без особого риска, мне кажется, можно предположить, что болезнь, расплывчато именуемая национализмом, теперь почти повсеместна. Антисемитизм – лишь одно из проявлений национализма, и не все страдают этой болезнью именно в такой форме. Еврей, например, не будет антисемитом; но многие евреи-сионисты кажутся мне просто антисемитами навыворот, так же, как многие индийцы и негры демонстрируют обычные расовые предрассудки в перевернутом виде. Суть в том, что в современной цивилизации чего-то, какого-то психологического витамина не хватает, и в результате все мы более или менее заражены безумной идеей, что целые расы или нации непонятным образом воплощают добро или зло. Пусть попробует любой современный интеллектуал внимательно и честно заглянуть себе в душу и не найти там националистических симпатий или ненависти того или иного рода. Именно то, что он может испытывать подобные эмоциональные толчки, но при этом бесстрастно оценивать их, осознавая их природу, и придает ему статус интеллектуала. Нетрудно понять поэтому, что исходным пунктом в любом исследовании антисемитизма должно быть не: «почему к этому явно иррациональному убеждению склоняются другие люди?», но: «почему антисемитизм привлекает *меня?* Что в нем есть такого, из-за чего я чувствую в нем какую-то правду?» Если задать себе этот вопрос, то обнаружишь, по крайней мере, свои основания, а может быть, и то, что под ними лежит.

Антисемитизм надо исследовать – я не скажу, что антисемитам, но, во всяком случае, людям, которые сознают, что не свободны от такого рода чувств. Когда Гитлер исчезнет, станет возможно настоящее исследование этого предмета, и начать, наверное, лучше не с развенчания антисемитизма, а с систематизации всех доводов в его пользу, какие можно найти у себя в голове и у всех прочих. Таким образом, можно будет добраться до его психологических корней. Но что от антисемитизма можно радикально излечиться, не излечившись от более общей болезни – национализма, я не верю.

апрель 1945

Размышления о Ганди [98]

Святых всегда надо считать виновными, пока не доказана их невиновность, но критерии, применяемые к ним, конечно, не могут быть во всех случаях одинаковыми. В случае Ганди хочется задать такой вопрос: в какой степени Ганди был движим тщеславием – представлением о себе как о смиренном голом старике, который сидит на молитвенном коврике и потрясает империю чисто духовной силой, – и до какой степени он компрометирует свои принципы, занимаясь политикой, которая по природе своей неотделима от принуждения и обмана? Чтобы дать исчерпывающий ответ, надо исследовать дела и писания Ганди в подробностях, ибо вся его жизнь была своего рода паломничеством, в которой каждый поступок значим. Но эта частичная автобиография, заканчивающаяся 1920-ми годами[99], – веское свидетельство в его пользу, тем более что она охватывает часть жизни, которую он назвал бы нераскаянной, и напоминает нам, что в этом святом или почти святом сидел очень проницательный практичный человек, который мог бы при желании блестяще преуспеть на юридическом, административном, а то и на коммерческом поприще.

Когда автобиография только появилась, я, помню, читал ее первые главы на скверно напечатанных страницах какой-то индийской газеты. Они произвели на меня хорошее впечатление, которого сам Ганди тогда не производил. То, что ассоциировалось с ним – домотканая одежда, «силы души» и вегетарианство, – было непривлекательно, а его средневековая программа явно непригодна для отсталой, голодающей, перенаселенной страны. Ясно было также, что британцы его используют или думают, что используют. Строго говоря, как националист он был врагом. Но поскольку при каждом кризисе он всячески старался предотвратить насилие – а с британской точки зрения это означало предотвратить какие бы то ни было эффективные действия, – его можно было считать «нашим человеком». В частном порядке это цинично признавали иногда. Так же относились к нему и миллионеры-индийцы. Ганди призывал их покаяться, и, естественно, они предпочитали его социалистам и коммунистам, которые, будь у них возможность, на самом деле отобрали бы деньги. Насколько оправданны такие расчеты в долгой перспективе – сомнительно; как говорит сам Ганди, «в итоге обманщики обманывают только себя»; но, во всяком случае, почти неизменная мягкость в обращении с ним отчасти объяснялась тем, что его считали полезным. Британские

консерваторы всерьез рассердились на него только в 1942 году, когда он фактически противопоставил свое «ненасилие» другому завоевателю.

Но я уже тогда видел, что британские чиновники, в чьих разговорах о нем веселая насмешка мешалась с неодобрением, на самом деле любят его и на свой лад им восхищаются. Никому не пришло бы в голову сказать, что он продажен или честолюбив в вульгарном смысле слова или что его поступки продиктованы страхом или злобой. Оценивая такого человека, как Ганди, инстинктивно применяешь высокие мерки, так что некоторые его достоинства остались почти незамеченными. Даже из его автобиографии явствует, например, что он от природы был наделен выдающейся физической храбростью – и сама его смерть подтверждает это: общественный деятель, сколько-нибудь ценящий свою жизнь, имел бы более чем достаточную охрану. Опять же, он, по-видимому, был совершенно свободен от маниакальной подозрительности, которую Э. М. Форстер справедливо называет в «Путешествии в Индию» извечным индийским пороком, подобно тому, как лицемерие – британский порок. Ему, без сомнения, хватало проницательности, чтобы распознать нечестность, и, однако, всегда, когда можно, он был склонен верить, что люди действуют из добрых побуждений и у каждого есть хорошая сторона, с которой к нему можно подступиться. Хотя происходил он из небогатого среднего сословия, жизнь его начиналась не слишком благополучно и внешне он, вероятно, не производил большого впечатления. Его не мучила зависть и чувство неполноценности. Хотя Ганди фактически вел расовую войну, о людях он не думал в категориях расы или статуса. Губернатор провинции, миллионер-текстильщик, полуголодный дравид-кули, британский рядовой – все в равной степени люди, и подходить к ним надо одинаково. Характерно, что даже в самых худших обстоятельствах, как в Южной Африке, где он боролся за права индийцев и вызывал большое недовольство, у него не было недостатка в друзьях-европейцах.

Писавшаяся короткими кусками для публикации в газете, эта автобиография – не литературный шедевр, но впечатление от нее усиливается именно благодаря обыденности большей части материала. Стоит напомнить, что вначале устремления Ганди были вполне обычными для молодого индийского студента, и радикализм его убеждений нарастал постепенно, иногда даже против его желания. С интересом узнаешь, что было время, когда он носил цилиндр, брал уроки танцев, изучал французский язык и латынь, поднимался на Эйфелеву башню и даже пытался

учиться игре на скрипке – всё это с целью как можно полнее усвоить европейскую культуру. Он не из тех святых, которые с детства отличались необыкновенной набожностью, и не из тех, кто отрекался от мира после юношеских беспутств. Он исповедуется во всех проступках своей молодости, но исповедоваться там почти не в чем. На фронтисписе книги есть фотография имущества Ганди перед смертью. Добра там наберется фунтов на пять, и грехов у Ганди, по крайней мере, плотских грехов, если сложить их в одну кучу, будет примерно столько же. Несколько сигарет, несколько кусочков мяса, несколько монет, в детстве украденных у служанки, два посещения борделя (в обоих случаях он ушел, «ничего не сделав»), одна едва не случившаяся интрижка с домовладелицей в Плимуте, одна вспышка раздражения – вот примерно и весь список. Чуть ли не с детства он был глубоко серьезен, причем в этическом отношении, а не религиозном, но лет до тридцати какой-то особой цели жизнь свою не подчинял. Впервые он заявил о себе на публичном поприще – если это можно так назвать, – вегетарианством. Из-под его необыкновенных качеств все время проглядывает основательный бизнесмен среднего достатка – то, что он унаследовал от предков. Чувствуется, что если бы он оставил избранную стезю, то стал бы, наверно, находчивым, энергичным адвокатом и расчетливым политическим организатором, экономным в расходах, ловко управляющимся с разными комиссиями, неутомимым в сборе пожертвований. В характере его смешалось исключительно много разнородных черт, но вряд ли какую-нибудь можно было определенно назвать плохой, и, думаю, что даже злейшие враги Ганди признали бы, что он интересный и необыкновенный человек, обогативший мир одним тем, что он жил на свете. Вызывал ли он в людях любовь и высоко ли ценили его учение те, кто не разделял религиозных взглядов, лежавших в его основании, – в этом я никогда не был вполне уверен.

В последние годы стало модно говорить о Ганди так, как будто он не только симпатизировал западному левому движению, но и прямо принадлежал к нему. Анархисты и пацифисты, в частности, считали его своим, замечая только, что он был противником централизма и государственного насилия, но игнорируя то, что было антигуманистическим, не от мира сего в его доктринах. Учение Ганди – важно иметь это в виду – несовместимо с убеждением, что человек есть мера всех вещей и что наша задача – сделать жизнь достойной на этой земле, поскольку другой у нас нет. Оно имеет смысл только в предположении, что Бог существует, а мир вещей – иллюзия, от

которой надо избавиться. Стоит вспомнить о лишениях, которым подвергал себя Ганди (хотя, может быть, и не требовал, чтобы все его последователи поступали в точности так же), считая их обязательными, если ты хочешь служить Богу или человечеству. Прежде всего, не есть мяса и, если возможно, вообще никакой животной пищи. (Сам Ганди из соображений здоровья вынужден был позволить себе молоко, но, кажется, считал это отступничеством.) Никакого алкоголя и табака, никаких специй и приправ, даже растительных, ибо пищу надо принимать не ради нее самой, а только чтобы сохранить силы. Во-вторых, по возможности, никаких половых сношений. Если же в них приходится вступать, – то только с целью зачатия и как можно реже. Сам Ганди на четвертом десятке принял обет *брахма-чарьи,* который предполагает не только целомудрие, но и подавление половых импульсов. Такого состояния, по-видимому, трудно достичь без особой диеты и частых постов. Употребление молока опасно, в частности, тем, что возбуждает половое желание. И наконец, – это кардинальный вопрос, – ищущий добродетели не должен иметь близких друзей и любить кого-то в особенности.

Близкая дружба, говорит Ганди, опасна, потому что «друзья реагируют друг на друга», а преданность другу может довести до прегрешения. Это, безусловно, так. Больше того, если ты должен любить Бога или любить человечество в целом, то не можешь отдавать предпочтение отдельным людям. Это тоже верно, и как раз тут гуманистическая и религиозная позиции становятся несовместимыми. Для обыкновенного человека любовь ничего не означает, если не означает, что одних людей он любит больше, чем других. Из автобиографии нельзя понять, относился ли Ганди невнимательно к жене и детям, но, по крайней мере, ясно, что в трех случаях он предпочел бы, чтобы жена или ребенок умерли, но не приняли животной пищи, прописанной врачом. Правда, никто тогда все-таки не умер, и правда, что Ганди, хотя и оказывал, судя по всему, сильное моральное давление, всегда предоставлял пациенту право решать, согласен ли он остаться в живых ценой греха; однако, если бы право решать оставалось исключительно за ним, он запретил бы животную пищу, с каким бы риском это ни было сопряжено. Должен быть предел, говорит он, тому, на что мы пойдем ради сохранения своей жизни, и предел этот – по сю сторону куриного бульона. Позиция его, возможно, и благородна, но бесчеловечна, если понимать это слово так, как, наверное, понимает большинство людей. Суть человечности не в том, чтобы искать совершенства, а в том, что человек иногда желает совершить грех ради верности, что он не доводит аскетизм до такой степени, когда невозможны дружеские

отношения, что он, в конце концов, готов потерпеть жизненный крах, который есть неизбежная плата за то, что ты сосредоточил свою любовь на других людях. Без сомнения, алкоголь, табак и тому подобное – вещи, которых должен избегать святой, но и святость – то, чего должен избегать человек. На это есть очевидное возражение, но прежде, чем выдвинуть его, надо лишний раз подумать. В наш зараженный йогой век слишком легко склоняются к мнению, что «неучастие» лучше полного приятия земной жизни и что избегает этого пути обыкновенный человек только из-за его трудности; другими словами, что рядовой человек – это несостоявшийся святой. Вывод сомнительный. Многие люди искренне не хотят быть святыми, и, возможно, некоторые из тех, кто достиг святости или стремится к ней, никогда не испытывали сильного искушения быть людьми. Если можно было бы добраться до психологических корней, то обнаружилось бы, полагаю, что главный мотив «неучастия» – желание уберечься от страданий жизни, и прежде всего от любви, ибо любовь – тяжелый труд, не важно, половая она или не половая. Но нет надобности рассуждать здесь, какой идеал «выше» – неотмирный или гуманистический. Важно то, что они несовместимы. Приходится выбирать между Богом и человеком, и все «радикалы» и «прогрессисты», от умереннейшего либерала до крайнего анархиста, на самом деле выбрали Человека.

Однако пацифизм Ганди можно до некоторой степени отделить от других его учений. Побудительной силой его пацифизма была религиозность, но Ганди утверждал также, что это – определенный метод, позволяющий добиваться желательных политических результатов. Позиция Ганди была не такая, как у большинства западных пацифистов. Движение *Сатьяграха,* вызревшее в Южной Африке, было своего рода ненасильственной войной, способом победить врага, не причинив ему вреда, не испытывая и не вызывая ненависти. Инструментами его были гражданское неповиновение и забастовки; люди ложились на рельсы перед поездами, выдерживали атаки полиции, не убегая, но и не оказывая сопротивления, и т. д. Ганди возражал против того, чтобы *Сатьяграха* переводилось как «пассивное сопротивление»: на гуджарати это слово означает что-то вроде «твердости в правде». В молодые годы на англо-бурской войне Ганди был санитаром-носильщиком в британских войсках и готов был делать то же самое на войне 1914–1918 годов. Даже после того, как он полностью отказался от насилия, у него доставало честности понять, что во время войны обычно приходится быть на той или другой стороне. Он не принял – да и не мог принять, поскольку вся его политическая жизнь сосредоточилась на борьбе

за национальную независимость, – бесплодную и нечестную тактику притворства: не делал вид, будто в каждой войне обе стороны одинаково плохи, и не важно, кто победит. Не увиливал он и от неудобных вопросов, не в пример большинству западных пацифистов. В последней войне каждый пацифист обязан был ясно ответить на такой вопрос: «Как быть с евреями? Ты готов примириться с их истреблением? А если нет, то как предполагаешь спасти их, не прибегая к войне?» Должен сказать, я никогда не слышал от западных пацифистов честного ответа на этот вопрос, хотя слышал множество уклончивых, чаще всего – типа «и вы о том же». Но вот Ганди задали похожий вопрос в 1938 году, и ответ его зафиксирован в книге мистера Луиса Фишера «Ганди и Сталин». Согласно мистеру Фишеру, Ганди считал, что немецким евреям следовало совершить коллективное самоубийство, которое «открыло бы миру и немецкому народу глаза на жестокость Гитлера». После войны он оправдался: евреев все равно убили, а так они могли хотя бы умереть со смыслом. Создается впечатление, что эта позиция ошеломила даже такого горячего поклонника, как мистер Фишер, но Ганди всего лишь ответил честно. Если ты не готов отнять чужую жизнь, то зачастую должен быть готов к тому, что жизни будут отняты как-то иначе. В 1942 году, когда Ганди призывал к ненасильственному сопротивлению японским захватчикам, он был готов признать, что это может стоить нескольких миллионов жизней.

В то же время есть основания думать, что Ганди, родившийся как-никак в 1869 году, не понимал природы тоталитаризма и смотрел на все с точки зрения своей борьбы против британского правительства. Важно здесь не столько то, что британцы обращались с ним терпеливо, сколько то, что он всегда мог донести до людей свои взгляды. Как видно из процитированной фразы, он верил в то, что можно «открыть миру глаза», – а это возможно только тогда, когда мир имеет возможность услышать, что ты делаешь. Трудно представить себе, каким образом методы Ганди можно использовать в стране, где противники режима исчезают среди ночи и уходят в небытие. Без свободы прессы и свободы собраний не только нельзя обратиться к мировому мнению – нельзя вызвать к жизни массовое движение и даже объяснить свои намерения противнику. Есть ли сейчас в России свой Ганди? И если есть, то чего он достиг? Русские люди могут прибегнуть к гражданскому неповиновению, если только эта идея придет им в голову всем одновременно, и даже тогда – судя по истории украинского голода – это ничего не изменит. Но допустим, ненасильственное сопротивление может

воздействовать на собственное правительство или на оккупантов, – но как осуществить его на практике в международном масштабе? Противоречивые заявления Ганди по поводу последней войны показывают, что этот вопрос представлял для него трудность. В применении к внешней политике пацифизм либо перестает быть миролюбием, либо превращается в умиротворение. Кроме того, предположение Ганди, так помогавшее ему в общении с отдельными людьми, – что к каждому можно найти подход, и человек откликнется на великодушный жест, – предположение это весьма сомнительно. Оно, например, не обязательно оправдывается, когда имеешь дело с сумасшедшими. И тут возникает вопрос: кто нормален? Гитлер был нормален? И не может ли целая культура быть безумной по меркам другой культуры? И, судя по чувствам целых народов, есть ли очевидная связь между благородным деянием и дружественным откликом? Является ли благодарность фактором в международной политике?

Эти и подобные вопросы нуждаются в обсуждении, и обсудить их надо срочно, в ближайшие годы, пока кто-то не нажал на кнопку и не полетели ракеты. Сомнительно, чтобы цивилизация выдержала еще одну большую войну. И уж совсем трудно представить себе, чтобы выход можно было найти через ненасилие. Достоинство Ганди в том, что он готов был бы честно рассмотреть подобные вопросы, и, полагаю, он, так или иначе, обсуждал их в своих бесчисленных газетных статьях. Чувствуется, что многого он не понимал, но не было такого, о чем он побоялся бы говорить или думать. Я никогда не мог вполне расположиться к Ганди, но не могу сказать с уверенностью, что он был не прав в главном как политический мыслитель – и не верю, что он потерпел неудачу. Любопытно: когда его убили, многие его поклонники восклицали с грустью, что он успел еще при жизни увидеть крушение всех своих трудов, поскольку в Индии шла гражданская война – вполне ожидаемый побочный результат смены власти. Но Ганди положил жизнь не на то, чтобы погасить соперничество между индуистами и мусульманами. Его главная политическая цель – мирное окончание британского владычества – в конце концов была достигнута. Как всегда, сопутствующие факторы переплетаются самым сложным образом. С одной стороны, британцы действительно ушли из Индии без боя – событие, которое еще за год до этого мало кто из наблюдателей мог предвидеть. С другой стороны, это случилось при лейбористском правительстве, а консервативное правительство, в особенности возглавляемое Черчиллем, наверняка повело бы себя иначе. Но если к 1945 году значительная часть британского

общества доброжелательно относилась к независимости Индии, какова в этом личная заслуга Ганди? И если, что вполне возможно, между Индией и Британией наконец установятся вполне приличные и дружественные отношения, не будет ли это отчасти следствием того, что Ганди, борясь упрямо и без ненависти, дезинфицировал политическую атмосферу? Одно то, что в голову приходят такие вопросы, говорит о калибре этого человека. Можно ощущать, как я ощущаю, некую эстетическую неприязнь к Ганди, можно не соглашаться с теми, кто пытается записать его в святые (сам он, между прочим, никогда на это не претендовал), можно отвергать и сам идеал святости и потому считать исходные пункты его учения антигуманными и реакционными; но если рассматривать его просто как политика и сравнивать с другими ведущими политическими фигурами нашего времени, какой чистый запах оставил он после себя!

январь 1949

notes

Примечания

1

– Итальянец?

– Нет, англичанин. А ты? *(исп.) – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. пер.*

2

Сеньор, господин *(исп.)*.

З

Дон, господин *(исп.)*.

4

Вы *(исп.)* – вежливое обращение.

5

Привет *(исп.)*.

6

Добрый день *(исп.)*.

7

Partido Obrero de Unificación Marxista – Рабочая партия марксистского единства, образована 29 сентября 1935 г. в Барселоне. Политическая программа ПОУМ во многом основывалась на теории Льва Троцкого о перманентной революции.

8

Я умею обращаться с оружием. Но не умею обращаться с пулеметом. Я хочу научиться. Когда нам дадут пулемет? *(исп.)*.

9

Завтра *(исп.)*.

10

Даже храбрее нас *(исп.)*.

11

В испанской армии это звание равнозначно званию майора.

12

Да здравствует ПОУМ! Фашисты – педики!

13

Partit Socialista Unificat de Catalunya – Объединенная социалистическая партия Каталонии.

14

Federación Anarquista Ibéria – Федерация Анархистов Иберии.

15

Культура – прогресс; вперед – непобедимый *(исп.)*.

16

Каталония – героический *(исп.)*.

17

Смелый *(исп.)*.

18

Independent Labour Party – Независимая лейбористская партия.

19

Да здравствует Испания! Да здравствует Франко! *(исп.)*

20

Британский анимационный персонаж в 1930-е гг., символ глупости.

21

Confederación Nacional del Trabajo – Национальная конфедерация труда. – *Примеч. ред.*

22

Union General de Trabajadores – Всеобщий союз трудящихся. – *Примеч. ред.*

23

Это случилось 19 июля 1936 г. (три премьера: Кисарес Кирога, Диего Мартинес Баррио и Хосе Хираль). Первые два отказались раздать оружие профсоюзам. – *Примеч. авт.*

24

Comité Central de Milicias Antifascistas. Количество делегатов от каждой партии было пропорционально ее численности. Девять делегатов представляли профсоюзы, три – либеральные партии Каталонии и два – разные марксистские партии (ПОУМ, коммунистов и пр.). – *Примеч. авт.*

25

Вот почему на Арагонском фронте было так мало русского оружия, ведь там ополчение было преимущественно из анархистов. До апреля 1937 года я видел только одно русское оружие – за исключением самолетов, которые могли быть и не русскими, – один-единственный автомат. – *Примеч. авт.*

26

Речь в Палате депутатов, март 1935-го. – *Примеч. авт.*

27

Более полно борьба между партиями, поддерживающими правительство, освещена в книге Франца Боркенау «Испанская арена» *(Franz Borkenau. The Spanish Cockpit)*. Пока это лучшая книга об испанской войне. – *Примеч. авт.*

28

Приводится численность ПОУМ за разные месяцы: июль 1936-го – 10 000; декабрь 1936-го – 70 000; июнь 1937-го – 40 000. Эти цифры приводит ПОУМ, недоброжелатели разделили бы их на четыре. Единственное, что можно утверждать с уверенностью: все испанские политические партии склонны преувеличивать число своих членов. – *Примеч. авт.*

29

La Batalla – бой *(исп.)*.

30

Adelante – вперед *(исп.)*.

31

До тошноты *(лат.)*.

32

Приятным исключением явилась «Манчестер гардиан». При написании этой книги мне пришлось просмотреть кипы английских газет. Из всех наших крупных газет «Манчестер гардиан» – единственная, которая вызвала у меня большое уважение своей честностью. – *Примеч. авт.*

33

Артур Брайант (1899–1985) – британский историк и обозреватель еженедельника «Иллюстрированные лондонские новости».

34

Битва при Флоддене (9 сент. 1513 г.) – сражение между войсками Англии и Шотландии, в результате шотландская армия была разбита.

35

Место, где произошла битва при Гастингсе (1066 г.) между англосаксонской армией и войсками норманнов.

36

Битва при Дарданеллах между англичанами и турками состоялась в 1915 г.

37

Назад! *(исп.)*

38

Добрый день *(исп.)*.

39

Привет *(исп.)*.

Рабочие патрули закрыли 75 % борделей. – *Примеч. авт.*

41

Английские карательные отряды в Ирландии (1920–1923). Название – по цвету одежды солдат.

42

Объединенное государственное политическое управление при СНК СССР. – *Примеч. ред.*

43

Чарли Чен – вымышленный полицейский детектив китайского происхождения, персонаж романов Э. Д. Биггерса.

Симпатичные *(исп.)*.

Государственный переворот *(фр.)*.

46

Буэнавентура Дуррути-и-Доминго (1896–1936) – ключевая фигура анархистского движения в Испании. Погиб при обороне Мадрида.

47

А последний номер «Инпрекор» заявляет обратное: «“Ла Баталла”» приказывает войскам ПОУМ покинуть фронт!» До истины легко докопаться, перелистав «Ла Баталла» за указанное число. – *Примеч. авт.*

«Нью стейтсмен», 14 мая. – *Примеч. авт.*

49

С самого начала войны гражданская гвардия всегда брала сторону сильной партии. В более поздний период войны, например в битве при Сантандере, местная гражданская гвардия целиком перешла на сторону фашистов. – *Примеч. авт.*

50

Отчет о поездках двух делегаций можно увидеть в «Ле Популэр», 7 сент.; «Лалех», 18 сент.; статья о делегации Макстона – в «Индепендент Ньюс». См. также собственный памфлет Макговерна «Террор в Испании». – *Примеч. авт.*

51

Внук известного политического деятеля Лейбористской партии Роберта Смилли (1857–1940), лидера шахтерского профсоюза.

52

Судебный приказ о доставлении в суд лица, содержащегося под стражей, для выяснения правомерности его ареста.

53

Низшее офицерское звание.

Вот повезло! *(исп.)*

55

В одиночной камере *(исп.)*.

Tibi dabo – дам тебе *(лат.)*.

Международная организация помощи революционерам (МОПР) – коммунистический аналог Красного Креста. – *Примеч. ред.*

58

Смотри выводы делегации Макстона, о которых я сообщал в главе 11. – *Примеч. авт.*

59

Честные намерения *(лат.)*.

60

Полковник – глава инженерных частей – восточный фронт! *(исп.)*

61

Письмо, приписываемое председателю исполкома Коминтерна Григорию Зиновьеву, с призывом к подготовке к вооруженному восстанию против буржуазии. Серьезно пошатнуло советско-английские отношения; впоследствии было признано фальшивкой.

62

Скорее всего, имеется в виду храм Святого Семейства, проект знаменитого архитектора Антонио Гауди.

Табака нет *(исп.)*.

© Перевод. А. Файнгар, наследники, 2010.

Британское колониальное правление *(англ. – хинди)*.

На веки вечные *(лат.)*.

Для устрашения *(лат.)*.

68

Погонщик слонов *(хинди)*.

69

Гай Петроний Арбитр (27–66) – древнеримский писатель, считающийся автором «Сатирикона» – сатирического романа, состоящего из множества сцен, в которых описаны забавные и весьма фривольные похождения персонажей.

70

Джеймс Мэтью Барри (1860–1937) – шотландский драматург и романист, автор известной детской сказки «Питер Пэн».

71

Этель М. Делл (1881–1939) – английская писательница, автор более чем тридцати популярных любовных романов и ряда рассказов.

72

Джордж Уорвик Дипинг (1877–1950) – плодовитый английский автор романов и рассказов; самый известный его роман «Соррел и сын» (1925).

73

Джеффри Фарнол (1878–1952) – британский писатель, автор более чем сорока любовных романов.

По профессии *(фр.)*.

75

Оруэлл иронизирует по поводу невежества книготорговцев: на самом деле автором фундаментального исторического труда «Закат и падение Римской империи» является Эдвард Гиббон (1737–1794), а автором романа «Мельница на Флоссе» – английская писательница Джордж Элиот (1819–1880).

© Перевод. В. Голышев, 2010.

77

Дж. Л. Гарвин – редактор газеты «Обсервер» с 1908 по 1942 г.

78

Уиндем Льюис (1884–1957) – английский художник и писатель. Основатель вортицизма.

Карьера открыта талантам *(фр.)*.

© Перевод. В. Голышев, 2010.

© Перевод. А. Кабалкин, 2010.

Вот когда у меня пойдут дела (*фр.*).

83

Перевод этого стихотворения Хаусмена и других стихотворных произведений, за исключением особо оговоренных случаев, принадлежит А. Кабалкину.

Отвращение к жизни *(лат.)*.

Опубликованы в 1932 году. – *Примеч. авт.*

Спендер. «Суд над судьями».

87

Перевод М. Зенкевича.

Дух времени *(нем.)*.

© Перевод. В. Голышев, 2010.

90

Риббентроп был приглашен в Москву 21 августа 1939 года, а 23-го подписал с Молотовым пакт.

91

Руперт Джон Корнфорд (1915–1936) – английский поэт и эссеист. Генри Ньюболт (1862–1938) – английский прозаик, поэт. Здесь речь идет о его стихотворении «Vitai Lampada».

© Перевод. А. Зверев, наследники, 2010.

© Перевод. А. Зверев, наследники, 2010.

И прочих в том же роде *(лат.)*.

И наша решимость бороться до конца! *(исп.)*

© Перевод. В. Голышев, 2010.

97

Интересно сравнить «еврейский анекдот» с другим стандартным номером в мюзик-холле, с «шотландским анекдотом», внешне его напоминающим. Иногда история (например, еврей и шотландец пришли в пивную и оба умерли от жажды) рассказывается таким образом, что обе национальности выглядят одинаково, но часто еврею приписывают только хитрость и скупость, тогда как шотландец наделяется еще и физической крепостью. Например, анекдот о том, как еврей и шотландец пришли на собрание, предполагавшееся бесплатным. Неожиданно начинается сбор средств, и, чтобы избежать расходов, еврей падает в обморок, а шотландец его выносит. То есть демонстрирует атлетические способности. Если бы было наоборот, история выглядела бы как-то неправильно. – *Примеч. авт.*

© Перевод. В. Голышев, 2010.

99

M. K. Gandhi. The Story of my Experiments with Truth. Translated from the Gujarati by Mahadev Desai. – *Примеч. авт.*